

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА · ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ ПО ОБЩЕМУ
И СРАВНИТЕЛЬНОМУ ЯЗЫКОЗНАНИЮ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ — ОКТЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА — 1988

Главный редактор: Т. В. ГАМКРЕЛИДЗЕ

Заместители главного редактора:

Ю. С. СТЕПАНОВ, Н. И. ТОЛСТОЙ

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

АБАЕВ В. И.
БЕРНШТЕЙН С. Б.
БОГОЛЮБОВ М. Н.
БУДАГОВ Р. А.
ДЕСНИЦКАЯ А. В.
ДЖАУКЯН Г. Б.
ДОМАШНЕВ А. И.
МАЖЮЛИС В. П.
МЕЛЬНИЧУК А. С.

РАСТОРГУЕВА В. С.
СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А.
СЛЮСАРЕВА Н. А.
ТЕНИШЕВ Э. Р.
ТРУБАЧЕВ О. Н.
ШВЕДОВА Н. Ю.
ШМЕЛЕВ Д. Н.
ЯРЦЕВА В. Н.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

АПРЕСЯН Ю. Д.
АЛПАТОВ В. М.
БАСКАКОВ А. Н.
БОНДАРКО А. В.
ВАРБОТ Ж. Ж.
ВИНОГРАДОВ В. А.
ГАДЖИЕВА Н. З.
ГАК В. Г.
ДЫВО В. А.
ЗАЛИЗНЯК А. А.
ЗЕМСКАЯ Е. А.
ИВАНОВ Вяч. Вс.
КАРАУЛОВ Ю. Н.
КИБРИК А. Е.
КЛИМОВ Г. А. (отв. секретарь)

ЛЕОНТЬЕВ А. А.
МАКОВСКИЙ М. М.
НИКОЛАЕВА Т. М.
ОТКУПЩИКОВ Ю. В.
СОВОЛЕВА И. В. (зав. редакцией)
СОЛНЦЕВ В. М.
СТАРОСТИН С. А.
ТОПОРОВ В. Н.
УСПЕНСКИЙ Б. А.
ХЕЛИМСКИЙ Е. А.
ХРАКОВСКИЙ В. С.
ШАРВАТОВ Г. Ш.
ШВЕЙЦЕР А. Д.
ЩЕРБАК А. М.

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка,
редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Т а м к р е л и д з е Т. В. (Тбилиси). Происхождение и типология алфавитной системы письма (Письменные системы раннехристианской эпохи)	5	V
Б и р н б а у м Х. (Лос-Анджелес). Славянская прародина: новые гипотезы (с заметками по поводу происхождения индоевропейцев)	35	
Б о м х а р д А. Р. (Бостон). Реконструкция прасемитской системы согласных	50	
О р е л В. Э., С т о л б о в а О. В. (Москва). К реконструкции праафразийского вокализма	66	
В е р н е р Г. К. (Таганрог). Опыт реконструкции общенисейской деклинационной модели	84	
Д о м а ш н е в А. И. (Ленинград). К истории создания концепции национального варианта языка	96	
У л у х а н о в И. С. (Москва). Грамматический род и словообразование	107	
Д ь я ч к о в М. В. (Москва). Специфика процессов пиджинизации и креолизации языков	122	

К Р И Т И К А И Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

О б з о р ы

Ш л у н г я н В. А. (Москва). О работах группы формальной лингвистики Парижского университета -VII	133
--	-----

Р е ц е н з и и

М а к о в с к и й М. М. (Москва). <i>Lehmann W. P. Gothic etymological dictionary</i>	140
К л ы ч к о в Г. С. Журавлев В. К. Диакроническая фонология	146
А л и с о в а Т. Б. (Москва). <i>Гак В. Г.</i> Введение во французскую филологию	147
П е т р о в а З. М. (Ленинград). <i>Волперский В. П.</i> Словари XVIII века	150
К у б р я к о в а Е. С., Ш а х н а р о в и ч А. М. (Москва). <i>Караулов Ю. Н.</i> Русский язык и языковая личность	152
З а в и р о в В. М. (Махачкала). Тюркско-дагестанские языковые контакты; Тюркско-дагестанские языковые взаимоотношения	155

Н А У Ч Н А Я Ж И З Н Ъ

Х р о н и к а л ь н ы е з а м е т к и	157	V
---	-----	---

CONTENTS

G a m k r e l i d z e Th. V. (Tbilisi). Origin and typology of the alphabetic system of writing; B i r n b a u m H. (Los Angeles). Recent Theories Concerning the Location of the Slavic Protohome; B o m h a r d A. R. (Boston). The reconstruction of the Proto-Semitic consonant system; O r e l V. E., S t o l b o v a O. V. (Moscow). On the reconstruction of the Proto-Afrasian vocalic system; V e r n e r G. K. (Taganrog). Contribution to the reconstruction of the Common Yenissei case system; D o m a š n e v A. I. (Leningrad). On the history of the concept «national language variant»; U l u x a n o v I. S. (Moscow). Grammatical gender and word-formation; D j a š k o v M. V. (Moscow). Phenomena involved in the pidginization and creolization of languages; **Surveys:** P l u n g j a n V. A. (Moscow). Works of the Group of formal linguistics of the Paris University-VII; **Reviews:** M a k o v s k i j M. M. (Moscow). *W. P. Lehmann*. A Gothic etymological dictionary; K l y č k o v G. S. | *Zuravlev V. K.* Diachronic phonology; A l i s o v a T. B. (Moscow). *Gak V. G.* Introduction to French philology; P e t r o v a Z. M. (Leningrad). *Vomperskij V. P.* Dictionaries of the XIX century; K u b r i a k o v a E. S., Š a x n a r o v i č A. M. (Moscow). *Karaulov Ju. N.* The Russian language and the individual speaker; Z a g i r o v V. M. (Makhachkala). Turkic-Daghestanian language contacts; **Scientific life.**

ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ТИПОЛОГИЯ АЛФАВИТНОЙ СИСТЕМЫ ПИСЬМА

(Письменные системы раннехристианской эпохи)

I

1. Проблему происхождения алфавитных письменных систем раннехристианской эпохи, в частности, таких, как коптское и готское письмо, древнеармянская, иберийская (древнегрузинская) и старославянская письменности, которые составляют единую типологическую группу алфавитных письменностей, характеризующихся целым рядом общих структурно-типологических черт, следует рассматривать на широком фоне филогенетического развития письма и образования собственно алфавитной системы письменности (древнейший пример которой представляет греческая письменность) из предшествовавшей ей старосемитской «консонантно-силлабической» системы письма.

2.1. Письменность, письменная система вообще рассматривается нами как набор или множество знаков особой природы, находящихся в определенных взаимоотношениях друг с другом и составляющих единую цельную структуру.

Рассмотрение письма как знаковой, семиотической системы ставит письменность в ряд других семиотических систем человека и определяет «теорию письма», которую в современной науке предлагают именовать «грамматологией» [1—3], как раздел общей теории знаковых систем — семиотики или семиологии¹. Представляется возможность применять по отношению к письменной системе целый ряд операционных понятий, разработанных в других семиотических дисциплинах, и в первую очередь в науке о языке. Этому содействует не только та тесная историческая связь, какая существует между языком и письменностью, которая в определенном смысле «надстраивается над языком», но и сама природа письма, обнаруживающая много общих структурных черт с языковой системой.

Рассмотрение письма как знаковой системы позволяет лучше уяснить его онтологическую природу, создать общую типологию письма и определить его место в развитии человеческой культуры.

2.2. Письменность как семиотическая система состоит из визуальных символов знаковой структуры. Это значит, что каждый письменный символ-знак представляет собой двустороннюю реальность, системную единицу, характеризующуюся двумя сторонами — «выражением» и «содержанием». «Выражение» письменного знака, или его «означающее» (signans), — это та физическая субстанция, с помощью которой осуществляют

¹ Ср. [4]. Такой подход к письму как знаковой, семиотической системе намечается уже у Ф. де Соссюра, что явствует из опубликованных заметок из его записей [5].

ется визуальная репрезентация знака, будь то рисунок, геометрический знак или фигура; «содержание» письменного знака, или его «означаемое» (*signatum*), — это все то, что такой письменный символ выражает, с чем он соотносится, будь то определенное понятие, идея, число, слово, слог или отдельный звук. Соответственно, письменная система в целом как знаковая система характеризуется двумя планами — «планом выражения» и «планом содержания», с которыми и соотносятся благодаря своей двусторонней природе знаки конкретной письменной системы.

Такая двусторонняя природа письменной системы дает основание для типологической классификации письма по характеру его «плана содержания» и «плана выражения», что в свою очередь делает возможным осуществить сопоставительный анализ различных видов письма и выработать критерии их оценки, необходимые для уяснения вопроса о происхождении письма и определения основных этапов его филогенетического развития².

2.3. По характеру «плана содержания» письма можно выделить два основных типологических класса: (а) с е м а с и о г р а ф и я, или идеография, и (б) ф о н о г р а ф и я.

Семасиография, или идеография, характеризует класс письменных систем, в которых знаки выражают не звуковую сторону конкретного языка, обозначая отдельные слова, слоги или звуки данного языка, а конкретные понятия или даже целые ситуации, соотносясь непосредственно с «планом содержания» языка. Иными словами, в таких письменных системах «план содержания», выражаемый словами и словосочетаниями конкретного языка, отражается непосредственно в письменных знаках, выступающих тем самым в роли единиц, обозначающих наряду со словами и словосочетаниями конкретного языка универсальные понятийные категории различных уровней абстракции. Подобные письменные знаки в идеографических (семасиографических) системах, связанные с определенными понятиями, минуя звуковую оболочку слов конкретных языков, понимаются и соответственно читаются адекватно представителями самых различных языков, обладающими знанием таких письменных знаков, т. е. знанием того, с какими понятиями эти знаки соотносятся. Такое знание «содержания» письменных знаков идеографической системы основывается либо на отождествлении их «означающих» с объектами реального мира, иконическим отображением которых они являются, либо на условно принятой связи конкретных «означающих» знаков письменной системы с соответствующими семантическими, понятийными «означающими»³.

В данной связи возникает вопрос о «плане выражения» письменной системы. Письменные знаки идеографической системы могут походить графически своими означающими на объекты реального мира, с которыми они соотносятся в силу их связи с соответствующими понятиями. Такое

² Филогенетическое развитие (или филогенез) письма — это эволюция письма вообще с учетом последовательных этапов его развития, начиная с семеографии и вплоть до алфавитного этапа фонографии. Онтогенетическое развитие (или онтогенез) письма — это происхождение и развитие последовательных этапов отдельной письменной системы, начиная с ее создания вплоть до момента ее рассмотрения.

³ Элементы идеографии присутствуют во многих древних и современных письменных системах (ср., например, цифровые обозначения в большинстве письменных систем, письменные знаки типа *&*, *e. g.*, *cf.* в английском, систему математических знаков и т. д.). Сплошные идеографические системы письменности характерны для древнейших этапов филогенетического развития письма.

иконическое сходство означающих письменных знаков системы с отображаемыми ими объектами характеризует письменную систему как «пиктографическую», т. е. «рисуночную» или «иконическую» систему письма.

В случае условности связи означающих знаков идеографической системы с соответствующими понятийными категориями [т. е. при отсутствии внешнего сходства между письменными знаками-символами идеографической системы и объектами реального мира, с которыми они соотносятся в силу связи с соответствующими понятийными категориями (ср., например, цифровые обозначения)] и письменную систему можно охарактеризовать как «условную», или «конвенциональную».

Ф о н о г р а ф и я характеризует класс письменных систем, в которых означающие знаков соотносятся не с универсальными понятийными категориями языка, доступными в принципе всем языковым коллективам на определенном уровне культурного развития, а с конкретной звуковой стороной одного определенного языка; «означаемыми» письменных знаков в таких системах выступают уже не понятия, а конкретные слова, характеризующие конкретным звуковым оформлением, или языковые единицы более низкого уровня — отдельные слоги и/или звуки. В случае **ф о н о г р а ф и ч е с к и х** систем знание письменной системы предполагает уже предварительное знание связи (зачастую «конвенциональной») между письменным знаком и конкретным звуковым словом данного языка или звуковым сегментом более низкого уровня (слогом, звуком).

Считается (очевидно, без достаточных на то оснований), что собственно письменность представлена именно фонографическими системами, тогда как «идеография» являет собой некоторую предтечу письма в его филогенетическом развитии.

Таким образом, в **ф о н о г р а ф и ч е с к и х** системах письменность уже соотносится с речью, и «планом содержания» таких систем выступает звуковая форма языка, определенные звуковые сегменты (фонетическое слово, слоги или отдельные звуки) становятся «означаемыми» графических знаков письменной системы.

Письменная система, относящаяся к фонографии, с письменными знаками, выражающими отдельные лексемы конкретного языка, определяется как «логографическая», а отдельный знак такой системы как «логограмма». Фонографическая система с письменными знаками, выражающими отдельные слоги, определяется как «силлабография», а письменные знаки такой системы — как «силлабограммы».

Фонографическая система с письменными знаками, выражающими отдельные звуки (звуковые единицы), характеризуется как **а л ф а в и т н а я** система, или **а л ф а в и т**.

Алфавитная система занимает в типологии письма наивысшее место, поскольку она наиболее экономична в отношении количества письменных знаков, необходимых для полной фиксации звуковой речи и передачи информации на расстоянии. Изобретение алфавитного письма знаменовало собой тем самым выдающееся достижение в культурном развитии человечества, приобретшего в виде алфавитной письменности простое и эффективное средство графической фиксации речи и ее передачи в пространстве и времени (ср. [6, 2, 3, 7])⁴.

⁴ В любой алфавитной письменности могут наличествовать и элементы идеографии, и поэтому можно только условно говорить о большем совершенстве алфавитной системы письма по сравнению с идеографией (ср. [8]). «Совершенство» алфавитной письменности следует понимать в том смысле, что она является хронологически последующим этапом в филогенетическом развитии письма, проходящего последовательно этапы идеографии,

Алфавитная система подразделяется в свою очередь на фонологическую и фонетическую.

Фонологическая система письма фиксирует графически лишь фонемные единицы языка, не принимая во внимание звуковые варианты фонем, как бы они фонетически ни различались. Фонологическое письмо — это искусственная запись звуковой формы языка в терминах фонологических (фонемных) единиц языка, применяемая в специальных лингвистических исследованиях.

Фонетическая система письма фиксирует (выражает) отдельные звуковые единицы (звуки) языка, безотносительно к их фонемному статусу в языковой системе.

Исторически созданные алфавитные системы письма относятся именно к этому последнему типу, хотя в них зачастую наблюдается и имплицитное осуществление фонологического принципа и фиксация на письме только тех звуковых различий, которые имеют функциональное, смысло-различительное значение.

В отношении «плана выражения» фонографические системы могут характеризоваться как пиктографией, так и конвенциональностью отношения между «означаемым» и «означающим» письменного знака. Это имеет смысл в отношении логографии, знаки которой могут быть либо пиктограммами, либо конвенциональными графическими символами. В отношении силлабографии и алфавита следует говорить о полной конвенциональности письма, поскольку «означаемые» письменных знаков в таких системах сами не являются «знаками» и лишены всякого «содержания». Поэтому «означающие» таких письменных знаков никак не могут графически походить на своих «означаемых». В таком случае можно говорить о «пиктографичности» письменных знаков лишь в историческом плане, в плане их вероятного графического сходства (если таковое имеется) с определенными объектами реального мира, отражающего первоначальное происхождение таких знаков и употребление в семасиографической или логографической функции в письменности неалфавитной по происхождению типологии (ср. [7]).

Таким образом, «план содержания» письменности как семиотической системы — это единство единиц различного уровня языка (звуковых, слоговых, словесных, числовых и т. п.), обозначаемых в различных письменных системах соответствующими графическими символами, конкретная совокупность которых и составляет «план выражения» определенной письменной системы⁵.

К «плану выражения» системы относятся и специфические наименования графических символов конкретной системы, а также вопросы направления письма и др.

Логографии и силлабографии до возникновения собственно алфавитной системы, хотя в самой алфавитной письменности при ее развитии могут наблюдаться случаи возврата к принципам идеографии и возникновения отдельных идеографических написаний (ср., к примеру, элементы идеографии в современном английском письме).

⁵ В таком понимании традиционная палеография представляется как частная дисциплина грамматики, изучающая преимущественно план выражения письменной системы, т. е. специфику графического выражения особых значимостей с помощью определенных знаков письма, и вопросы графического преобразования этих знаков во времени. Не случайно, что традиционная палеография, занимаясь в основном планом выражения письменной системы, при решении таких вопросов, как исторические соотношения между различными письменностями, свои выводы основывала главным образом на внешних сторонах графического сходства между письменными знаками этих систем, без должного учета их внутренних структурных особенностей, определяемых взаимоотношением плана содержания и плана выражения системы.

2.4. Наряду с понятиями «плана выражения» и «плана содержания» письменной системы из лингвистики в грамматику как семиотическую дисциплину следует ввести и понятия «парадигматики» и «синтагматики» письма.

Парадигматика письма предполагает соотношения элементов письменности (графических символов) в системе, их последовательное (линейное) расположение в отношении друг друга. Парадигматика письма — это структура, определяемая правилами упорядочения множества графических символов системы и их представления в определенной линейной последовательности. Каждая письменность имеет свою особую парадигматическую структуру, т. е. свой специфический порядок элементов в системе, свою особую линейную последовательность письменных символов⁶.

Синтагматика письма предполагает соотношения элементов письменности (графических символов), представленных в определенной последовательности в тексте, в пределах отдельных слов, объединений слов или более крупных единиц синтагматического плана.

Эксплицитное разграничение парадигматического и синтагматического планов системы, введенное в лингвистику Ф. де Соссюром, должно стать обязательным принципом и при анализе письменной системы в общей теории письма, или граматики. В этом отношении исключительный интерес представляет так называемая «старосемитская письменность».

3.1. Старосемитское или, точнее, «протосемитское» письмо, из которого возникают позднее три основных разновидности семитской письменности — финикийское, ханаанейское и арамейское письмо, — следует характеризовать как консонантно-силлабическую систему письма (а не как собственно консонантную, т. е. в принципе алфавитную систему, ср. [9, с. 130], или собственно силлабическую [6, с. 148 и сл.], ср., однако [11]), поскольку старосемитская письменность представляется одновременно как консонантная (парадигматически, т. е. в системе) и как силлабическая письменность (синтагматически, т. е. в тексте). Это — своего рода двойственная система, выступающая в типологии письма в качестве некоторого промежуточного звена между последовательно силлабической [т. е. силлабической как в парадигматике, так и синтагматике (ср., например, греческое линейное письмо В)] и собственно алфавитной системами письма (типа классического греческого).

3.2. Старосемитское консонантно-силлабическое письмо, состоящее из двадцати двух графических знаков линейного характера, имеет определенную парадигматическую структуру и характеризуется строгим порядком графических элементов в системе. Именно в парадигматике и проявляется консонантный характер старосемитского письма, определяемый взаи-

⁶ Такой линейный порядок графических знаков в системе, определяющий ее парадигматическую структуру, может быть мотивирован различными факторами. Особое место среди них занимает фактор графического сходства знаков письма и фонетического сходства звуков, выражаемых этими знаками. Парадигматика старосемитской системы письма в значительной степени определяется именно этими факторами (ср. [9, 10]). Во многих производных письменных системах, заимствованных из определенных письменных источников и созданных по образцу этих последних, парадигматика знаков, немотивированная с точки зрения данных систем, может отражать порядок знаков системы-прототипа (ср. парадигматику греческой системы по отношению к старосемитской).

моднозначным соответствием между графическими символами и консонантными фонемами языка⁷.

В синтагматике письма эти же графические символы выступают уже в функции слоговых знаков, которые характеризуются структурой *согласная плюс любая гласная* языка или отсутствием гласной в зависимости от морфологической структуры и характера слова или объединения слов (геср. морфем), выражаемых конкретной синтагматической последовательностью графических символов. В отличие от собственно слоговой системы письма с графическими символами структуры «согласная плюс определенная гласная», присущей такой системе письма как в парадигматике, так и синтагматике, «консонантно-слоговая» система характеризуется графическими знаками структуры «согласная плюс любая гласная языка (или отсутствием гласной)» в синтагматике при структуре «чистая согласная» в парадигматике⁸.

Так, например, знаки старосемитской письменности, выражающие консонантные значения *'* и *b* парадигматически и именуемые соответственно *'ālep^h* и *bēl^h*⁹, в синтагматическом сочетании друг с другом для

⁷ В финикийской консонантно-силлабической письменности вопрос о взаимоднозначном соответствии между графемами и консонантными фонемами языка осложняется характером графического символа [š]: передает этот знак глухую шипящую фонему š или используется также и для обозначения свистяще-шипящей š, как и в древнееврейском, где эти фонемы графически дифференцированы с помощью диакритических знаков на основном символе. В таком случае в финикийском, как и в древнееврейском, следовало бы предположить сохранение фонемной дифференциации š~ś в классе сибилантных фонем, унаследованной из общесемитского. Но как объяснить в таком случае то, что в финикийской письменности, как и в остальных системах старосемитской письменности, для передачи двух фонем š и ś применялся единственный графический символ, тогда как все другие консонантные фонемы выражались специальными графическими знаками? Такое несоответствие в передаче консонантных фонем языка графическими символами дает основание предположить, что в финикийском (как и во всех остальных языках западносемитской группы) произошло слияние общесемитских сибилантных фонем *š и *ś в общую фонему š еще до письменной фиксации языка [12, с. 38 п сл.]. Противопоставление š~ś могло сохраниться лишь в перусалимском диалекте древнееврейского языка и уже отсюда перейти в поздний еврейский [13, § 4]. Но след подобной фонемной дифференциации можно было бы видеть и в самом финикийском на примере написания типа 'sr «десять», отражающего скорее свистяще-шипящую фонему ś, а не шипящую š [14, с. 20].

⁸ Эта особенность консонантно-силлабической письменности и представляет основную сложность при чтении текста. Элемент дешифровки, сопутствующий чтению текста, записанного консонантно-силлабическим письмом (ср. [15]), заключается именно в установлении по консонантному остоу слова конкретной словоформы и в определении тем самым конкретной гласной, с которой выступает согласная в данном синтагматическом сочетании. Такие сложности полностью отсутствуют в собственно силлабических системах письма со стабильным характером гласных при соответствующих согласных как в синтагматике, так и парадигматике письменной системы.

⁹ Вопрос о возникновении наименований знаков старосемитской письменности нельзя считать в настоящее время окончательно решенным [16]. Названия знаков старосемитского письма, составляющие план выражения системы, могут отражать слова, предметные денотаты которых выражены соответствующими знаками. Так, например, знак, называемый *'ālep^h*, что по-семитски значит «бык», представлял первоначально рисунок головы быка. Знак *bēl^h* «дом» является рисунком дома, знак *dālet^h* «дверь» — рисунком двери и т. д. Не исключено, однако (и это представляется более правдоподобным), что такие названия знаков старосемитской письменности возникли как условные слова, начальные согласные которых совпадают с согласными, выражаемыми соответствующими графическими символами: знак, обозначавший согласную, стали называться *'ālep^h*, поскольку слово *'ālep^h* характеризуется начальной согласной, знак, выражавший согласную *b*, стали называть *bēl^h* (но могли назвать и любым другим словом с начальным /b/) в связи с наличием начального *b* в этом семитском слове и т. д. (ср. аналогичный акрофонический принцип при названиях букв старославянского алфавита: *a*≈*az* «я», *b*≈*buki* «буква», *v*≈*vedī* «знание», *g*≈*glagol* «слово» и т. д.).

обозначения определенного слова выражают уже не отдельные гласные, а конкретные слоги структуры $C(V)$: такое синтагматическое сочетание знаков читается в старофиникийском в зависимости от контекста как $'ab$ «отец» или $'abī$ «мой отец» (знак $'ālep^h$ обозначает здесь слог /'a/), а знак $bēt^h$ выражает слог /bī/ или /bθ/ (согласный с отсутствующим гласным, что в более поздних консонантно-силлабических системах обозначается специальным диакритическим знаком типа др.-евр. $š^ewā$, сир. $mark^e-ṭānā$, араб. $suk^hūn$). Аналогично этому, знаки старосемитской письменности $p^hē$, $'ajin$ и $lāmed$, занимающие определенные места в системной последовательности знаков старосемитского письма и выражающие парадигматически консонантные значения p^h , ' и l , в синтагматической последовательности, которая читается в финикийском как $p^ha'ala$ «сделал» или $p^ha'alī$ «сделали», выражают конкретные слоги структуры $-CV$. В этом и следует видеть специфику консонантно-силлабической письменности, отличающую ее от собственно силлабической и последовательно алфавитной систем письма¹⁰.

3.3. Изобретение старосемитского «консонантно-силлабического» письма рассматривается рядом исследователей как результат независимого индивидуального творчества гениальной личности (ср. [6, с. 139—146]). Следует учитывать при решении вопроса о создании старосемитской письменности и возможность некоторых внешних влияний, в частности со стороны египетской иероглифики, которая, будучи письменностью смешанного типа, содержала в себе и графические символы с единичным консонантным значением типа s , r , d и др.

3.4. Консонантно-силлабическая письменность представляется в типологии письма более совершенной письменной системой, чем силлабическая или, тем более, силлабо-логографическая письменность, поскольку она более экономна парадигматически и позволяет с помощью небольшого числа графических символов (соответствующего примерно числу консонантных фонем) адекватно выразить графически звуковую сторону языка. Понятно поэтому, каким огромным достижением было изобретение консонантно-силлабического письма, положившее начало новому этапу в развитии письма и подготовившее почву для формирования качественно новой письменности — алфавитной системы письма.

4.1. Возникновение древнегреческой письменной системы на базе старосемитской (финикийской) «консонантно-силлабической» знаменовало собой появление письменности нового структурного типа — алфавитной системы письма.

Переход от старосемитской консонантно-силлабической письменности

¹⁰ Позднее в старосемитской системе письма возникает особый графический прием обозначения долгих гласных $ī$ и $ā$ соответственно знаками j и w , которые первоначально выражали только консонантные фонемы /j/ и /w/ (или синтагматически-силлабические последовательности с начальными j или w): ср. в финикийском написание $'bj$, которое наряду с древнейшим чтением $'abija$ «моего отца» предполагает и чтение $'abī$ «мой отец»; ср. также написание $'šwr$ в моавитской надписи царя Меша наряду с обычным $'šr$ для обозначения имени $'Ašūr$ «Ассирия» (ср. [14, с. 39 и сл.]). Такое полное написание слов (*scriptio plena*), с обозначением долгих гласных с помощью определенных консонантных знаков, которое распространилось в поздних разновидностях старосемитского письма, противопоставит неполному написанию (*scriptio defectiva*), которое отражает древнейшее состояние консонантно-силлабического семитского письма, характеризующегося отсутствием специальных знаков для гласных фонем. Гласные фонемы имплицитно предполагаются в такой системе при каждой согласной, обозначаемой графически конкретным знаком и выступающей в синтагматическом сочетании с другими согласными для образования определенных словоформ.

на последовательно алфавитную систему письма осуществляется в результате создания специальных знаков для выражения собственно гласных звуков языка, независимо от их сочетаний с согласными. Иными словами, образование алфавитной письменной системы становится возможным с появлением в парадигматике письма особых знаков для гласных фонем наряду со знаками для собственно согласных. Такое преобразование парадигматики вызывает коренные изменения и в синтагматике письма. Парадигматически консонантные знаки выражают в синтагматике такой системы уже не слоги структуры $C(V)$, как в случае консонантно-силлабического письма, а собственно согласные фонемы при передаче гласных фонем введенными в парадигматику письма специальными письменными знаками. Тем самым содержание графических знаков в алфавитной письменности представляется тождественным в парадигматике и синтагматике системы (выражение отдельно гласных или согласных звуков — фонем), в отличие от «консонантно-силлабической» системы письма с выражением одними и теми же знаками согласных в парадигматике и слогов на синтагматической оси системы.

4.2. Такой переход от семитской консонантно-силлабической письменности к собственно алфавитной системе, приведшей к качественному скачку в типологии письма, осуществился впервые в древнегреческой письменности в результате замены консонантных значений ряда знаков на вокалические при заимствовании старосемитской (финикийской) письменности и приспособлении ее к греческому языку. В частности, семитские знаки с консонантными значениями $'$, h , j , $'$, w были преобразованы в греческой системе в графические символы со значениями, соответственно a , e , i , o , u , характерными для этих знаков как в парадигматике, так и синтагматике. Сохранение остальных знаков старосемитского письма в качестве консонантных символов в греческом создало новый вид письма — алфавитную письменность, которая положила начало всем известным в настоящее время последовательно алфавитным системам письма.

При создании греческой алфавитной письменности путем приспособления финикийского письма к греческому языку полностью сохраняется парадигматика старосемитской письменности. Это достигается заменой семитских консонантных значений отдельных знаков соответствующими вокалическими значениями в греческом и преобразованием определенных консонантных значений некоторых знаков семитской системы. Сохраняется также план выражения старосемитской системы: начертание знаков, их наименования и направление письма справа налево (чередующееся с направлением слева направо в каждой последующей строке в архаической греческой письменности — письме бустрофедон). Однако в греческом существенно преобразуется синтагматика письма по сравнению со старосемитской системой, поскольку введение специальных знаков для гласных превращает консонантно-силлабическую старосемитскую систему в алфавитную, в которой каждый графический символ выражает отдельную фонему, консонантную или вокалическую, как в парадигматике, так и синтагматике системы.

4.3. В архаической греческой системе письма, которая и представляет древнейшую разновидность греческой алфавитной письменности в том виде, в каком она вышла из рук ее создателя, старосемитские консонантные знаки $'alep^h$, $h\bar{e}$, $j\bar{o}d$, $'ajin$ и $w\bar{a}w$ приобретают функции вокалических знаков для обозначения соответственно греческих гласных a , e , i , o , u , причем как кратких, так и соответствующих долгих их коррелятов \bar{a} ,

ē, ī, ō, ū (ср. таблицу греческого письма в сравнении со старосемитской)¹¹.

Финикийское письмо		Греческое алфавитное письмо		Архаические		Восточно-греческое		Западно-греческое		Классич. алфавит		Числовые знач.		Печатный шрифт	
		Фонетич. значения	Числовые значения												
Α	1	ΑΑ	α	ΑΑ	ΑΑ	ΑΑ	ΑΑ	ΑΑ	ΑΑ	Α	α	1	Α	Α	1
Β	2	ΒΒ	β	ΒΒ	ΒΒ	ΒΒ	ΒΒ	ΒΒ	ΒΒ	Β	β	2	Β	Β	2
Γ	3	ΓΓ	γ	ΓΓ	ΓΓ	ΓΓ	ΓΓ	ΓΓ	ΓΓ	Γ	γ	3	Γ	Γ	3
Δ	4	ΔΔ	δ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	ΔΔ	Δ	δ	4	Δ	Δ	4
Ε	5	ΕΕ	ε	ΕΕ	ΕΕ	ΕΕ	ΕΕ	ΕΕ	ΕΕ	Ε	ε	5	Ε	Ε	5
Ζ	6	ΖΖ	ζ	ΖΖ	ΖΖ	ΖΖ	ΖΖ	ΖΖ	ΖΖ	Ζ	ζ	6	Ζ	Ζ	6
Η	7	ΗΗ	η	ΗΗ	ΗΗ	ΗΗ	ΗΗ	ΗΗ	ΗΗ	Η	η	7	Η	Η	7
Θ	8	ΘΘ	θ	ΘΘ	ΘΘ	ΘΘ	ΘΘ	ΘΘ	ΘΘ	Θ	θ	8	Θ	Θ	8
Ι	9	ΙΙ	ι	ΙΙ	ΙΙ	ΙΙ	ΙΙ	ΙΙ	ΙΙ	Ι	ι	9	Ι	Ι	9
Κ	10	ΚΚ	κ	ΚΚ	ΚΚ	ΚΚ	ΚΚ	ΚΚ	ΚΚ	Κ	κ	10	Κ	Κ	10
Λ	20	ΛΛ	λ	ΛΛ	ΛΛ	ΛΛ	ΛΛ	ΛΛ	ΛΛ	Λ	λ	20	Λ	Λ	20
Μ	30	ΜΜ	μ	ΜΜ	ΜΜ	ΜΜ	ΜΜ	ΜΜ	ΜΜ	Μ	μ	30	Μ	Μ	30
Ν	40	ΝΝ	ν	ΝΝ	ΝΝ	ΝΝ	ΝΝ	ΝΝ	ΝΝ	Ν	ν	40	Ν	Ν	40
Ξ	50	ΞΞ	ξ	ΞΞ	ΞΞ	ΞΞ	ΞΞ	ΞΞ	ΞΞ	Ξ	ξ	50	Ξ	Ξ	50
Ο	60	ΟΟ	ο	ΟΟ	ΟΟ	ΟΟ	ΟΟ	ΟΟ	ΟΟ	Ο	ο	60	Ο	Ο	60
Π	70	ΠΠ	π	ΠΠ	ΠΠ	ΠΠ	ΠΠ	ΠΠ	ΠΠ	Π	π	70	Π	Π	70
Ρ	80	ΡΡ	ρ	ΡΡ	ΡΡ	ΡΡ	ΡΡ	ΡΡ	ΡΡ	Ρ	ρ	80	Ρ	Ρ	80
Σ	90	ΣΣ	σ	ΣΣ	ΣΣ	ΣΣ	ΣΣ	ΣΣ	ΣΣ	Σ	σ	90	Σ	Σ	90
Φ	100	ΦΦ	φ	ΦΦ	ΦΦ	ΦΦ	ΦΦ	ΦΦ	ΦΦ	Φ	φ	100	Φ	Φ	100
Χ	200	ΧΧ	χ	ΧΧ	ΧΧ	ΧΧ	ΧΧ	ΧΧ	ΧΧ	Χ	χ	200	Χ	Χ	200
Ψ	300	ΨΨ	ψ	ΨΨ	ΨΨ	ΨΨ	ΨΨ	ΨΨ	ΨΨ	Ψ	ψ	300	Ψ	Ψ	300
Ω	400	ΩΩ	ω	ΩΩ	ΩΩ	ΩΩ	ΩΩ	ΩΩ	ΩΩ	Ω	ω	400	Ω	Ω	400
Χ+	500	Χ+	χ+	Χ+	Χ+	Χ+	Χ+	Χ+	Χ+	Χ+	χ+	500	Χ+	Χ+	500
Υ	600	ΥΥ	υ	ΥΥ	ΥΥ	ΥΥ	ΥΥ	ΥΥ	ΥΥ	Υ	υ	600	Υ	Υ	600
Ω	700	Ω	ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	ω	700	Ω	Ω	700
Ω	800	Ω	ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	ω	800	Ω	Ω	800

В архаической греческой системе письма знаки $\iota\omicron\tau\alpha$ и δ $\phi\iota\lambda\omicron\nu$ являются синтагматически бифункциональными, поскольку они могут выражать как вокалические значения [i] и [u], так и значения неслого-

¹¹ Только позднее, уже в отдельных локальных разновидностях греческого письма, появляются специальные знаки для долгих гласных в противовес кратким гласным. В частности, архаическое греч. Η (*hēta*, сем. $\dot{h}ēi^h$), выражавшее первоначально придыхание *h* (*spiritus asper*), становится позднее в диалектах, утерявших придыхание (например, ионийском), выразителем долгого ē; в результате графической модификации символа, выражавшего в архаической системе гласные *o* и δ , возникают в отдельных разновидностях восточногреческой письменности знаки для обозначения специально долгой гласной \bar{o} (\bar{o} $\mu\acute{\epsilon}\gamma\alpha$), в противовес архаичному символу *o*, который стал употребляться в таких системах специально для выражения краткого \acute{o} (\acute{o} $\mu\iota\chi\rho\nu$).

вых элементов [i] и [u] (при синтагматическом сочетании с собственно гласными *e, a, o*). Строго говоря, знаки $\iota\omega\alpha$ и $\upsilon\phi\iota\lambda\omicron\nu$ в архаической греческой системе обозначают не собственно гласные *i* и *u*, а сонантические фонемы /i/ и /u/ с двумя позиционными вариантами: слоговыми [i] и [u] и соответствующими неслоговыми [i] и [u], выступавшими в дифтонгах типа [ei, ai, oi] и [eu, au, ou] ¹².

Третьим позиционным вариантом той же фонемы /u/ в архаическом греческом выступает губно-зубной элемент [v], проявившийся в интервокальной позиции *V — V*, в анлауте перед гласной $\# — V$ (ср. [20]) ¹³. Именно этот звук [v] архаического греческого языка был выражен в греческой письменной системе знаком *digamma* (греч. $\Gamma\alpha\delta$), идущим от старосемитского знака *wāw*. Греческий знак в алфавитном ряду стоит на том же шестом месте, что и соответствующий старосемитский знак, и представляет собой некоторую графическую модификацию этого последнего. Начертание семитского знака *wāw* повторяется в греческом письме в архаическом греческом знаке $\upsilon\phi\iota\lambda\omicron\nu$, который восходит к тому же старосемитскому знаку, но который в греческой парадигматике занял не соответствующее семитской парадигматике шестое место (занятое уже восходящим к тому же семитскому прототипу знаком *digamma*), а был помещен в конец греческого алфавитного ряда, завершавшегося именно этим, двадцать третьим по счету, графическим символом.

4.4. Греческие звонкие смычные согласные *b d g* были выражены семитскими знаками для соответствующих звонких *b d g*, занявшими в греческой парадигматике те же места в отношении других знаков, что и в соответствующей семитской.

С точки зрения передачи греческих смычных согласных соответствующими семитскими графическими прототипами обращает на себя внимание то, что для выражения греческих *г л у х* и *х* (непридыхательных) смычных *p t k* применяются семитские знаки для соответствующих *п р и д ы х а т е л ь н ы х* $p^h t^h k^h$ ¹⁴ (ср. старосемитские знаки $p^h\bar{e}$, $t^h\bar{a}w$ и

¹² Архаические греческие дифтонги $\epsilon\iota$, $\omicron\iota$, $\alpha\iota$ и $\omicron\upsilon$ уже в ранний период развития греческих диалектов подвергаются монофтонгизации. Дифтонги $\epsilon\iota$ и $\omicron\iota$ переходят соответственно в узкие гласные $\bar{\epsilon}$ и $\bar{\iota}$, которые впоследствии преобразуются в \bar{i} и \bar{y} . Аналогичным изменениям подвергаются дифтонги $\alpha\iota$ и $\omicron\iota$, которые дают соответственно e и $u > i$ [17—19]. В результате подобных фонетических изменений написания $E\iota$, $O\iota$, $A\iota$, $O\upsilon$ в древнегреческих диалектах не отражают уже дифтонгического происхождения. Из них наиболее ранней монофтонгизации подвергается дифтонг $\omicron\iota$, переходящий в гласный \bar{i} . Вследствие этого диграф $O\upsilon$ становится графическим выразителем гласной \bar{u} вообще. Вместе с тем первоначальная гласная /u/ в греческих диалектах, выражавшаяся ранее знаком Υ , переходит в палатальную гласную \bar{i} . Таким образом, знак Υ , занимающий в архаической греческой парадигматической системе последнее, двадцать третье место, предстает перед нами в качестве полифункционального символа, выражающего как слоговое, так и неслоговое значения сонантической фонемы /u/.

¹³ В целом ряде греческих диалектов звук [v] теряется очень рано (в ионийско-аттическом — еще до эпохи письменной фиксации языка, т. е. до VI в. до н. э.). В других диалектах он сохраняется дольше и выражается соответственно на письме знаком *digamma* (на Крите — вплоть до II в. до н. э.): ср. написания типа $Fava\xi$, $Feta\xi$, $F\xi\xi$ и др. Приблизительно с IV в. до н. э. звук [v] начинает исчезать в различных греческих диалектах, вначале в срединной позиции, затем — в начале слова (см. [21]). В соответствии с таким фонетическим развитием в греческих диалектах греческая *digamma* теряет функцию обозначения звука [v], но тем не менее сохраняется в парадигматике письма соответствующее ей шестое место и употребляется в позднегреческой системе уже в качестве эписемоны, т. е. знака, лишённого фонетического значения и употребляемого лишь в числовом значении, определяемом первоначальным его местом в парадигматике письма.

¹⁴ О придыхательных согласных в греческом см. [22].

$k^h ar^h$ при греч. $\pi\tilde{\iota}$, $\tau\alpha\tilde{\theta}$ и $\kappa\acute{\alpha}\pi\lambda\alpha$), тогда как семитский знак $\tilde{\iota}e^h$, выражающий в семитском (непридыхательную) эмфатическую дентальную фонему \tilde{t} , переходит в греческую систему для обозначения греческой придыхательной фонемы t^h (ср. греч. $\theta\acute{\eta}\tau\alpha$). Остальные глухие придыхательные смычные фонемы в греческом, т. е. p^h и k^h , переданы в архаической греческой письменности соединением знаков $p + h$, $k + h$ или $q + h$ ¹⁵, поскольку в системе старосемитской письменности, насчитывавшей всего двадцать два консонантных знака, не оставалось более графических символов для выражения полного набора фонем греческого языка¹⁶. Лишь в более поздних локальных разновидностях греческого письма возникают специальные знаки для обозначения и этих греческих придыхательных фонем. В восточногреческой системе письма для выражения глухих придыхательных p^h и k^h создаются специальные добавочные символы Φ $\phi\tilde{\iota}$ и χ $\chi\tilde{\iota}$ (с различными графическими вариантами), у которых нет прототипа в старосемитской письменности.

Как объяснить то, что создатель греческого алфавита семитские придыхательные смычные звуки $p^h t^h k^h$ отождествляет с греческими глухими непридыхательными $\pi\tau\chi$ и передает их знаками $\pi\tilde{\iota}$, $\tau\alpha\tilde{\theta}$ и $\kappa\acute{\alpha}\pi\lambda\alpha$ ($\kappa\acute{o}\pi\lambda\alpha$), отражающими семитские графические прототипы для придыхательных, тогда как для обозначения греческого придыхательного t^h используется семитский знак для (непридыхательного) эмфатического \tilde{t} ¹⁷?

Такое фонетическое несоответствие между старосемитской и архаической греческой системами письма, являющееся, очевидно, результатом сознательного преобразования старосемитской системы при ее приспособлении к греческому языку, объяснимо опять-таки исключительным лингвистическим чутьем создателя греческого алфавита. Фонологически существенный признак семитских эмфатических согласных отождествляется в греческой системе с фонологически существенным для греческого признаком придыхания при глухих смычных, тогда как фонологически избыточный для семитских глухих согласных признак аспирации не прини-

¹⁵ В таком графическом выражении греческих придыхательных фонем p^h и k^h путем представления их как звуков p и h , k и h можно видеть проявление тонкого лингвистического чутья создателя греческого алфавита, осознающего сложный характер придыхательных смычных звуков и разлагающего их на составные части (смычные компонент плюс придыхание).

¹⁶ Семитский знак $q\acute{o}r^h$ выражающий в семитском эмфатическую заднеязычную смычную k , переходит в греческую систему для обозначения той же глухой (непридыхательной) заднеязычной смычной фонемы /k/, которая выражается в греческой системе знаком $\kappa\acute{\alpha}\pi\lambda\alpha$, отражающим ст.-сем. $k^h ar^h$. Применение двух знаков: $\kappa\acute{\alpha}\pi\lambda\alpha$ и $\kappa\acute{o}\pi\lambda\alpha$ в архаической греческой системе для обозначения одной и той же фонемы /k/ объясняется наличием двух фонетически отличных позиционных вариантов фонемы /k/ в архаическом греческом: варианта [k] перед гласными a , e , i , выраженного знаком $\kappa\acute{\alpha}\pi\lambda\alpha$, и варианта [q] (возможно, веларизованного) перед гласными заднего образования o , u , который выражался знаком $\kappa\acute{o}\pi\lambda\alpha$. Такое противопоставление двух позиционных вариантов фонемы /k/ стирается в более поздних греческих диалектах, в результате чего фонема /k/ во всех позициях начинает выражаться единственным знаком $\kappa\acute{\alpha}\pi\lambda\alpha$, а высвободившийся знак $\kappa\acute{o}\pi\lambda\alpha$ становится выразителем в парадигматике письменной системы лишь числового значения «90» при отсутствии какого бы то ни было фонетического значения. Подобные фонетические преобразования затрагивают обычно план содержания письменной системы при сохранении ее плана выражения.

¹⁷ Характерно, что при заимствовании слов из семитских языков в греческий (или из греческого в семитские языки) семитские придыхательные $p^h t^h k^h$ передаются в греческом, как правило, соответствующими придыхательными ϕ θ χ , а семитские эмфатические \tilde{t} , q отражаются в греческом чистыми (непридыхательными) смычными τ , χ .

мается во внимание и семитские $p^h k^h$ приравняются к греческим чистым (непридыхательным) глухим смычным $\pi \tau \chi$. В соответствии с этим семитские знаки для глухих придыхательных $p^h \bar{e}$, $k^h ap^h$ и $t^h \bar{aw}$, сохраняя соответствующие места в греческой парадигматике, были заимствованы в греческую систему для передачи чистых глухих смычных $\pi \tau \chi$ ¹⁸.

4.5. Особые преобразования претерпела при заимствовании старосемитского письма и его приспособления к греческому языку система семитских сибилантных спирантов: z , s , ξ и \acute{s}/\acute{s} .

В отличие от семитского в греческом нужно было выразить графически только две сибилантные фонемы: звонкий свистящий спирант z (или сложный звук zd , ср. [17, с. 69; 23; 22, с. 59]) и глухой спирант s . Из четырех семитских символов, обозначающих сибилантные спиранты, в греческой системе было достаточно использовать два символа для выражения соответствующих сибилантных спирантов. Из них семитский знак для z (*zajin*) был использован для выражения греческого z (resp. zd), греч. ζῆτα, а для обозначения греческого свистящего спиранта s был применен не семитский знак *sāmek^h* (фонетическое значение s), что было бы вполне естественно ввиду фонетического сходства между сем. s и греч. s , а семитский знак *šīn*, выражавший в семитском шипящую и/или свистяще-шипящую фонему \acute{s}/\acute{s} (греч. знак σίγμα)¹⁹.

Первоначально для выражения свистящего спиранта s в архаической греческой системе употреблялся особый знак, восходящий к семитскому *šādē*. Дорийское название этого знака σάν, возможно, связано с семитским названием *šīn*. Но уже в ранний период развития греческой письменности знак σάν выходит из употребления и уступает место знаку σίγμα для выражения греческого спиранта s . Чрезвычайно раннюю утерю в архаической греческой системе знаком σάν, восходящим к семитскому *šādē*, фонетического значения $[s]$ и перенос его на знак σίγμα можно видеть и в факте выпадения из системы буквы σάν, занимавшей первоначально соответствующее семитскому *šādē* место в греческой парадигматике. Знак σάν не сохраняет в греческом алфавитном ряду первоначально принадлежавшего ему места с соответствующим числовым значением (как это было в случае знаков δίγαμμα, ξί, κόππα, потерявших или изменивших свои фонетические значения, но сохранивших первоначальные места

¹⁸ Преобразуются соответственно и названия этих знаков. На месте семитских придыхательных звуков в соответствующих греческих названиях выступают чистые глухие: πί, ταῦ, κάππα.

¹⁹ Греческое название этого знака σίγμα, возможно, было образовано под влиянием семитского названия *sāmek^h* (*semk^h*) [24, с. 134]. Сам семитский знак *sāmek^h*, который в греческом алфавите занимает свое старое место, восходящее к семитской парадигматике, и выражает числовое значение «60», в одной группе восточногреческого письма принимает фонетическое значение ks и именуется ξσι, позднее ξί [25]. Применение специального знака для выражения комплекса ks объясняется сравнительной его частотой в греческом [19, с. 329]. Один из фонетически свободных графических символов греческого алфавита, который сохранял только свое первоначальное место в парадигматике и соответственно конкретное числовое значение, применяется в ряде поздних греческих систем письма для выражения специфически греческого комплекса согласных. В первоначальной архаической греческой системе этот символ, занимая соответствующее место в парадигматике системы, имел только числовое значение, а фонетическое значение ks выражалось последовательностью знаков $k + s$.

Аналогичный характер обнаруживает предоставленный в целом ряде групп греческой письменности графический символ ψί, выражающий последовательность согласных ps . В архаической греческой системе этот комплекс обозначается последовательностью знаков $p + s$. Специальный графический символ ψί, не имеющий прототипа в старосемитской системе, помещается в алфавитном ряду после добавочных букв p^h и k^h , созданных в более поздних системах на собственной греческой почве.

в греческом алфавитном ряду, отражающем соответствующую старосемитскую парадигматику). Этот знак продолжает позднее существование в византийском греческом под названием *σάμπι* (<ὡς ἄν πῖ «как пῖ») и с числовым значением «900» (ср. [25, с. 225]).

Семитское *šādē* — это единственный графический символ среди старосемитских письменных знаков, эквивалент которого не представлен в греческой парадигматике на месте, соответствующем старосемитскому парадигматическому ряду. Все остальные знаки старосемитской системы отражены в греческих графических эквивалентах с сохранением их мест в парадигматическом ряду и с фонетическими значениями, преобразованными в соответствии со звуковой структурой греческого языка. В нескольких случаях, характерных для более поздних систем греческой письменности, графические символы лишены конкретного фонетического значения, но сохраняют свои первоначальные места в парадигматике системы и в соответствии с этим — конкретные числовые значения.

4.6. Таким образом, парадигматика старосемитской системы может быть полностью «отображена» на греческую при учете единственного случая выпадения в греческом графического эквивалента семитского *šādē*. При этом в греческой системе выделяются несколько добавочных знаков, созданных на собственно греческой почве для обозначения оставшихся невыраженными в архаической греческой системе фонем или комбинаций фонем греческого языка.

Эта архаическая греческая система с двадцатью тремя знаками в алфавитном ряду, завершаемом символом *ὁ φίλον*, и является тем общим первоначальным ядром, к которому добавляли позднее все остальные разновидности греческого алфавитного письма [26].

Эта архаическая греческая система письма, представляющая собой древнейший образец алфавитной письменности, и должна была быть создана в результате индивидуального творчества выдающейся личности, приспособившей старосемитскую письменность к передаче звуковой системы греческого языка и создавшей тем самым качественно новую систему письма — алфавитную письменность. Это предполагает создание архаической греческой письменности первоначально в одном определенном месте (вероятно, на островах южного архипелага) с дальнейшим ее распространением во всем греческом мире в виде различных локальных вариантов [27, с. 2 и сл.].

Эпохой создания алфавитной греческой письменности следует считать начало I тысячелетия до н. э., когда старосемитские письменные знаки приобретают ту графическую форму, которая характерна для начертания знаков архаического греческого письма (ср. в этом отношении весьма характерное начертание архаического греч. *κάππα*, которое отражает графическую форму сем. *k'ap^h*, появляющуюся в финикийских надписях, начиная лишь с IX в. до н. э. (ср. [6, с. 180 и сл.]).

5.1. Устойчивая парадигматика греческой алфавитной письменности, отражающая в точности парадигматику ее прототипа — старосемитского консонантно-силлабического письма²⁰, становится основой для выражения с помощью письменных знаков и числовых значений, т. е. использования этих знаков в качестве цифр. Тем самым планом содержания такой письменности следует считать не только систему выражаемых отдельными знаками фонетических значимостей, но и числовые значения, кото-

²⁰ За исключением единственного случая выпадения из греческой системы знака, отражающего сем. *šādē*, и помещения его позднее в конец алфавитного ряда в качестве завершающего этот ряд символа с числовым значением «900».

рые могут быть выражены с помощью тех же графических символов.

Десятиричная система счета в греческом обусловила образование десятиричной системы записи чисел с помощью графических символов греческого алфавита. При этом первые девять символов парадигматического ряда стали выражать «единицы», следующие девять символов — «десятки», последующие девять символов — «сотни»:

Единицы	Десятки	Сотни
Α α 1	Ι ι 10	Ρ ρ 100
Β β 2	Κ κ 20	Σ σ 200
Γ γ 3	Λ λ 30	Τ τ 300
Δ δ 4	Μ μ 40	Υ υ 400
Ε ε 5	Ν η 50	Φ φ 500
Ζ ζ 6	Ξ ξ 60	Χ χ 600
Ζ ζ 7	Ο ο 70	Ψ ψ 700
Η η 8	Ρ ρ 80	Ω ω 800
Θ θ 9	Ϟ ϟ 90	Ϡ ϡ - 900

Например, число «111» записывается следующим образом: ΡΙΑ (или ΑΙΡ и ΡΑΙ), число «121» — ΡΚΑ (или ΑΚΡ и ΡΑΚ) и т. д.

Понятно, что при такой системе выражения числовых значений с помощью отдельных графических символов письменности требуется минимум $9 \times 3 = 27$ символов в системе²¹. И именно 27 графических символов содержатся в классической греческой письменности, оформившейся в Афинах к концу V в. до н. э. на основе ионийского алфавита. Характерно при этом, что знаки греческой письменности, потерявшие свои первоначальные фонетические значения в результате фонетических преобразований греческих диалектов (ср. греч. знаки διῶμινα, κόπτα), не устраняются из парадигматического ряда, а сохраняются на своих старых местах в алфавитном ряду, хотя и лишенные всякого фонетического значения. Это следует объяснять стремлением сохранить древнюю парадигматику письма и соответственно древние числовые значения знаков парадигматического ряда. При утере определенными знаками фонетических значений и устранении их из письменной системы менялись бы каждый раз парадигматика системы и соответственно числовые значения оставшихся в системе знаков. Система числовых значений письменности выступает тем самым в качестве некоторого «сдерживающего» фактора, противостоящего изменению древней, унаследованной парадигматики письма.

²¹ «Тысячи» обозначаются в такой системе с помощью некоторых дополнительных диакритических знаков при основных символах. В греческой системе «тысячи» выражаются постановкой штриха перед знаками для «единиц»: 'Α = 1 000, 'Γ = 3 000, 'Η = 8 000 и т. д. (ср. [25, с. 300]).

На этом основании можно заключить, что система числовых значений в греческой письменности возникла до появления в греческих диалектах древнейших фонетических изменений (утрача дигаммы, слияние двух вариантов фонемы /k/ и др.). Однако маловероятно, чтобы такая система возникла уже в архаической греческой письменности с ее двадцатью тремя графическими символами, которая не приспособлена, ввиду малочисленности письменных символов, для выражения числовых значений. Такая система обозначения числовых значений могла возникнуть в греческой письменности лишь с появлением добавочных знаков и доведением количества графических символов до 27²², т. е. до числа, необходимого и достаточного для обозначения «единиц», «десятков» и «сотен».

По этой же причине маловероятно, чтобы старосемитская письменность с двадцатью двумя графическими символами консонантно-силлабического характера выражала бы первоначально и систему числовых значений. Письменность, насчитывающая меньше, чем 27, число символов, не способна выразить полную систему числовых значений. Такая дефектная система числовых значений в старосемитской письменности должна была возникнуть, очевидно, уже под влиянием греческой письменности, в результате перенятия из греческой системы письменного выражения числовых значений и обозначения первыми девятью символами «единиц», последующими девятью — «сотен» и оставшимися четырьмя символами — неполного ряда «тысяч».

Сравнительно позднее возникновение системы выражения числовых значений в греческой письменности (последовавшее за созданием собственно архаического греческого алфавита, но не одновременного с ним) проявляется и в факте выпадения из греческого парадигматического ряда эквивалента старосемитского *šādē* и отнесения его в конец алфавитного ряда в качестве 27-го символа с числовым значением «900»²³.

Выпадение греческого эквивалента старосемитского *šādē* (знак *σάν* архаической греческой письменности), в отличие от знаков *δίγαμμα* (*σταβ*) и *κόππα*, которые сохранены в парадигматическом ряду на соответствующих местах с числовыми значениями «6» и «90», должно свидетельствовать о том, что ко времени создания в греческой письменности системы числовых значений символ, идущий от старосемитского *šādē* в греческом (знак *σάν*), был уже лишен какой бы то ни было фонетической функции (фонема /s/ обозначалась к этому времени уже знаком *σίγμα*, восходящим к старосемитскому *šīn*), тогда как знаки *δίγαμμα* и *κόππα* все еще выражали определенные фонетические значения [28, с. 266].

Выпадение греческого эквивалента старосемитского знака *šādē* из греческого алфавитного ряда вызывает некоторое «уплотнение» греческой парадигматики и смещение знаков на один шаг вверх по сравнению со старосемитским парадигматическим рядом. Этим и вызвано некоторое несоответствие в числовых значениях между старосемитскими и греческими графическими символами: следующий непосредственно за знаком π̄ = «80» знак *κόππα* в греческом алфавитном ряду характеризуется числовым значением «90», тогда как старосемитскому прототипу *κόππα* знаку *qōr^h*, следующему в старосемитской парадигматике за знаком *šādē* = «90»,

²² Дополнительная часть греческого алфавита, в частности знаки *Ϝ̄*, *Ϟ̄* и *Ϡ̄*, должна была появиться довольно рано, предположительно уже к концу VIII в. до н. э., т. е. вскоре после создания архаического греческого алфавита (ср. [25, с. 241]). Примерно к этому периоду следует отнести и возникновение системы числовых значений в греческой письменности.

²³ Ср. знак *σάν*, являющийся графической модификацией архаического знака *σάν*; числовое значение «900».

приписывается числовое значение «100». Соответственно смещены на одну ступень в греческом парадигматическом ряду числовые значения и последующих знаков.

5.2. Выражение числовых значений с помощью системы письменности накладывает особый отпечаток на характер письма, на его парадигматику и численный состав графических символов. При описанной выше системе выражения числовых значений письменная система должна характеризоваться по крайней мере $9 \times 3 = 27$ графическими символами для обозначения соответственно «единиц», «десятков» и «сотен» (при обозначении «тысяч» с помощью дополнительных диакритических знаков при основных символах). Письменная система, содержащая меньшее число знаков, необходимых для выражения звуковых единиц языка, дополняется до 27 графических символов (при допущении целого ряда символов без фонетических значений), необходимых и достаточных для выражения полной системы числовых значений (характерный пример такой письменности представляет греческое алфавитное письмо с 27 знаками для выражения «единиц», «десятков» и «сотен» и диакритическими знаками для выражения «тысяч»). Естественно ожидать, что письменные системы, содержащие большее число графических символов для выражения звуковых единиц языка, будут стремиться дополниться до количества, необходимого и достаточного для обозначения соответствующими буквами системы числовых значений — «единиц», «десятков», «сотен» и «тысяч», т. е. до $9 \times 4 = 36$ графических символов даже путем введения (или сохранения) определенных знаков без конкретных фонетических значений. Иными словами, письменная система, выражающая наряду с фонетическими значениями и систему числовых значений, стремится содержать в себе число графических символов, кратное девяти, т. е. 27 или 36 (в зависимости от количества выражаемых в каждой конкретной системе звуковых единиц: 27 графических символов, где количество обозначаемых на письме звуковых единиц меньше или равно 27; 36 графических символов, где количество обозначаемых на письме звуковых единиц превышает число 27).

Именно этими чертами характеризуется целый ряд письменных систем, возникших непосредственно из греческой системы письма или сформировавшихся по образцу греческой письменности. Но основной характеристикой всех этих систем, восходящих к различным вариантам греческой письменности, является их последовательно алфавитный характер в противовес консонантно-силлабическому характеру протосемитского письма. К таковым относятся прежде всего основанные на западном варианте греческого письма древнеиталийские письменности (прототирренская, этруская и связанные с ними фалиско-латинская и оско-умбрская системы письма), древнемалоазийские разновидности письма (фригийская, ликийская, лидийская и др.), а также целый круг более поздних письменных систем, возникающих уже в христианскую эпоху.

6.1 Специфическую группу алфавитных письменностей, возникших из греческой системы письма, представляют письменности христианского периода: коптская, готская, древнеармянская и старославянская, а также древнегрузинская (иберийская) письменные системы.

В Египте вместе с провозглашением христианства национальной религией начинает возрождаться в качестве официального государственного языка новоегипетский язык, который со времен египетского похода Александра Македонского был вытеснен здесь греческим языком. Христианская культура в Египте создается уже на почве местного национально-

го новоегипетского (или коптского) языка, который со сложного египетского демотического письма переходит на новую письменную систему, основанную на греческом алфавите. Древнейшие коптские письменные памятники датируются II и III вв. н. э.

Коптская письменность берет начало от того варианта греческой унциальной письменности, который появляется начиная с I в. н. э.

Начертания коптских письменных знаков в сущности те же, что и соответствующих графических символов греческой унциальной письменности.

Коптское письмо				
Числовые значения	Звуковые значения	Наименования	Коптские знаки	Греческие унциальные знаки
1	a	alfa	Α	Α
2	b, v	vda	Β	Β
3	g	gamma	Γ	Γ
4	d	dalda	Δ	Δ
5	z	eje	Ε	Ε
6	—	son	Σ	Σ
7	z	zāda	Ζ	Ζ
8	g'	hāda	Η	Η
9	t-h	tutte	Θ	Θ
10	j, i	jōda	Ι	Ι
20	k	kubbu	Κ	Κ
30	l	lōlu	Λ	Λ
40	m	mēj	Μ	Μ
50	n	ni	Ν	Ν
60	ks	eksi	Ξ	Ξ
70	ō	ou	Ο	Ο
80	p	bej	Π	Π
100	r	rou	Ρ	Ρ
200	s	samma	Σ	Σ
300	t	daŕ	Τ	Τ
400	i	he	Τ	Υ
500	p-h	fj	Φ	Φ
600	k-h	ky	Χ	Χ
700	ps	ebsi	Ψ	Υ
800	ō	ō	Ω	Ω
900	—	—	ΡΡ	

Из греческого алфавита в коптский заимствуются в установленной последовательности 25 знаков для передачи соответствующих звуков коптского языка. Из них лишь один знак, в частности, стоящий в греческом алфавитном ряду на шестом месте, употребляется в коптском только в числовом значении, что отображает особенность греческого алфавита определенного периода, когда представленный на шестом месте греческий знак σίγμα, восходящий к архаическому графическому символу διγάμμα, был лишен фонетического значения и характеризовался лишь числовым значением «6».

В коптском алфавите на месте греческого $\chi\omicron\lambda\lambda\alpha$ представлен знак $f\bar{a}j$ с фонетическим значением [f] и числовым значением «90». Утратившему фонетическое значение в греческой системе знаку $\chi\omicron\lambda\lambda\alpha$ приписывается в коптском алфавите специфическое для коптского фонетическое значение [f] с сохранением соответствующего греческому прототипу места в алфавитном ряду с числовым значением «90»²⁴.

Коптский знак, соответствующий последнему в греческом алфавитном ряду символу $\sigma\acute{\alpha}\mu\pi\iota$, употребляется, как и в греческом прототипе, лишь с числовым значением «90».

6.3. Таким образом, в коптском алфавите в части, соответствующей греческому алфавитному ряду, полностью сохраняется греческая парадигматика, фонетические и числовые значения соответствующих графических символов. В одном случае символу $f\bar{a}j$, восходящему к греческому $\chi\omicron\lambda\lambda\alpha$, приписано специфическое для коптского фонетическое значение [f].

Но в коптском оставались еще звуки, которые не находили фонетических эквивалентов в греческом и которые должны были быть выражены на письме особыми графическими символами. Такие звуковые единицы были выражены во вновь созданной коптской письменности дополнительными шестью знаками, прототипами которых послужили знаки местной демотической письменности.

Эти знаки были помещены в коптском алфавитном ряду вслед за собственно греческой частью коптской письменности.

Числовые значения	Звуковые значения	Наименования	Коптские знаки	Демотические знаки	Иероглифы
—	ä	äaj	Ш	3	𐪓
90	f	faj	ч	γ	𐪔
—	b	baj	б	β	𐪕
—	h	hāri	в	ρ	𐪖
—	ð	ðandja	х	χ	𐪗
—	(g, é) ä	äima	σ	σ	𐪘
—	zi	äij	т	τ	𐪙

²⁴ Знак $f\bar{a}j$ обычно помещают среди специфически коптских добавочных символов [29]. Но начертание этого знака и числовое значение «90» явственно указывают на его происхождение от греческого прототипа $\chi\omicron\lambda\lambda\alpha$. Поэтому этот знак должен стоять в коптском алфавитном ряду в части, соответствующей собственно греческой парадигматике.

Фонетическое значение этого знака [f] в коптском и название его $f\bar{a}j$ объяснимы графическим сходством этого символа с демотическим знаком, который имеет фонетическое значение [f]. Графическое сходство этих символов должно было послужить основой тому, что восходящему к греческому прототипу коптскому знаку $f\bar{a}j$ при числовом значении «90» было приписано также специфическое для коптского фонетическое значение f и дано соответствующее название.

Таблица представляет завершающие коптский алфавитный ряд семь графических символов, восходящих к соответствующим демотическим прототипам и выражающих специфически коптские звуки, не находящие фонетических эквивалентов в греческом. Там же приводятся и их иероглифические прототипы (ср. [29]).

Названия знаков коптского алфавита отражают по существу соответствующие греческие названия. В собственно коптской части названия букв основываются на соответствующих демотических наименованиях [30].

6.4. Таким образом, коптский алфавитный ряд состоит из двух частей: из «основной» части, соответствующей греческому алфавитному ряду и повторяющей фонетические и числовые значения греческой парадигматики, и «дополнительной» части, прилагасмой к греческой парадигматике, с графическими символами, выражающими специфически коптские звуки, не находящие фонетических эквивалентов в греческом. К основной, греческой части коптского алфавита следует отнести также символ *fāj*, который в алфавитном ряду занимает место, соответствующее греч. *κβλκ* (числовое значение «Ж»), но выражает собственно коптское фонетическое значение [f].

7.1. Аналогичного характера созданная примерно в тот же период готская алфавитная письменность. И в этом случае создание нового алфавита было связано с принятием христианства.

Епископ восточных В у л ь ф и л а (Ulfilas, 318—388) для перевода Библии на готский язык отказывается от использования древней монументальной рунической письменности, связанной к тому же с языческими представлениями, и создает письменность нового типа — готский алфавит.

Письменным образцом для вновь создаваемого готского алфавита послужила греческая унциальная письменность, что бесспорно проявляется в начертании готских букв и в существенно греческом алфавитном ряде, отраженном в парадигматике готского алфавита (см. табл. на с. 24).

В готском алфавите парадигматика греческого прототипа сохранена благодаря тому, что специфически готские звуковые единицы приписываются тем знакам греческого алфавитного ряда, которые лишены фонетического значения в греческом или выражают звуки, чуждые готскому языку. Тем самым не нарушается парадигматика системы-прототипа при частичной замене фонетических значений знаков в новой алфавитной системе (см. табл.).

Так, например, на шестом месте в готском алфавитном ряду и соответственно с числовым значением «6» представлен символ со специфическим для готского фонетическим значением [q^w] (эквивалент греческого *στίγμα*, числовое значение «6»).

На восьмом месте в готском алфавитном ряду на месте греч. *ḥα* стоит знак, выражающий фонему *h* (готскому чужда долгота гласных). За ним с числовым значением «9» (на месте, соответствующем греч. *θῆα*) следует знак для обозначения специфического для готского интердентального спиранта *θ* (придыхательные смьчные не характерны для готского). Графически этот знак восходит к греч. *κῆ*, а на месте, соответствующем греч. *κῆ*, в готском представлен знак со специфическим для готского фонетическим значением [h^w], числовое значение «700» (графическим прототипом этого готского знака послужила греч. *θῆα*).

Место, соответствующее греческому *ξῖ*, в готском алфавитном ряду занимает знак с фонетическим значением [j] (числовым значением «60»), который считается заимствованным из латинского. Греческий знак *ξῖ*, выражающий чуждый готскому комплекс согласных *ks*, заменяется в гот-

Готское письмо				Происхождение	
Числовые значения	Звуковые значения	Готское письмо	Унилатинское греческое письмо		
1	α	𐌰	Α		
2	β	𐌱	Β		
3	γ	𐌲	Γ		
4	δ	𐌳	Δ		
5	ε	𐌴	Ε		
6	Ϟ	𐌵	Ϟ		латинское
7	ζ	𐌶	Ζ		
8	κ	𐌷	Η		
9	ρ	𐌸	Ψ		
10	ι	𐌹	Ι		
20	κ	𐌺	Κ	латинское	
30	λ	𐌻	Λ		
40	μ	𐌼	Μ	руническое	
50	ν	𐌽	Ν		
60	ξ	𐌾	Ξ	латинское	
70	η	𐌿	Ζ	руническое	
80	ρ	𐀀	Ρ	латинское	
90	—	𐀁	Σ		
100	γ	𐀂	Σ	латинское	
200	ε	𐀃	Σ	латинское	
300	τ	𐀄	Τ	латинское	
400	ω	𐀅	Υ		
500	ι	𐀆	Φ		
600	χ	𐀇	Χ	латинское	
700	κω	𐀈	Θ		
800	ο	𐀉	Ϟ		
900	—	𐀊	Τ	руническое	

ском алфавитном ряду знаком, выражающим фонему /j/.

Следующий в готском алфавитном ряду знак с числовым значением «70» (на месте греч. δ $\mu\iota\rho\acute{\nu}\nu$) выражает фонему /u/. Он возводится к соответствующему знаку рунической письменности. Для обозначения гласной /u/ В у л ь ф и л а берет не графический эквивалент греческого диграфа ОУ, а заимствует знак из рунической письменности. Так же поступает он и в случае обозначения гласной /o/ знаком, который стоит в готском алфавитном ряду на месте греческого ω $\mu\acute{\epsilon}\gamma\alpha$ (числовое значение «800»).

В готском алфавите знак с числовым значением «90» восходит к греч. $\kappa\acute{\omicron}\mu\lambda\alpha$ и, как и знак $\kappa\acute{\omicron}\mu\lambda\alpha$ в позднегреческом алфавите, он здесь лишен фонетического значения ²⁵.

7.2. Таким образом, при использовании греческого алфавита в качестве прототипа для создания готской письменности В у л ь ф и л а не уст-

²⁵ Ср. в этой связи коптский знак $f\bar{a}j$, эквивалентный в коптской парадигматике этому готскому знаку, который, однако, приобретает в коптском специфическое фонетическое значение.

раняет из алфавитного ряда знаки, выражающие специфически греческие звуки, а заменяет их на соответствующих местах знаками со специфически готскими фонетическими значениями. Этим путем достигается отражение в готском парадигматике греческой системы — прототипа с сохранением числовых значений соответствующих знаков в греческой и готской системах.

Греческая и готская системы полностью покрывают друг друга. В готском алфавите нет так называемых добавочных по сравнению с греческим алфавитом знаков, как это имеет место, например, в коптской системе.

Готский алфавит, так же как и греческий, содержит всего 27 (т. е. 9×3) букв, из коих первые девять выражают «единицы», последующие девять — «десятки» и последние девять знаков — «сотни». Заключительный двадцать седьмой символ готского алфавита, который употребляется только в числовом значении («900»), отражает греческий эписемон *σάμψι* с числовым значением «900».

Отсутствие в готском дополнительных знаков объясняется тем, что специфически готские звуки полностью уместились в рамках греческой парадигматики путем замены, субституции некоторых специфически греческих фонетических значений, излишних с точки зрения готской фонетики, пущеными для готского звуковыми значениями. Тем самым готская система целиком «встала» в греческую, предстала как отражение греческой системы (с учетом некоторых фонетических и графических субституций).

7.3. Основным источником графических субституций в готском считается древнее руническое письмо, к которому восходят некоторые из знаков готского алфавита [31].

Связь готского алфавита с древней рунической письменностью проявляется и в особых названиях готских букв, которые представляют наименования древних знаков и отражают искаженные германские слова [31].

8.1. К этой же группе древних христианских письменностей, основанных на греческой системе письма, следует отнести и армянский алфавит «Еркатагир» — «Железную письменность», создание которой армянская историческая традиция связывает с просветительской деятельностью первоучителя армян М е с р о п а М а ш т о ц а.

8.2. Греческая основа древнеармянской письменности проявляется прежде всего в построении алфавитного ряда по греческой парадигматике, что обнаруживается при устранении из армянской системы знаков, выражающих специфически армянские, чуждые греческому языку звуки. Полученная таким путем последовательность знаков армянского алфавита соответствует полностью греческому алфавитному ряду, не включающему в себя лишь несколько знаков со специфически греческими фонетическими значениями.

Составитель древнеармянского алфавита в качестве образца для создания новой письменности берет греческую письменную систему и с каждым знаком греческого алфавита соотносит особый знак вновь создаваемой письменности, выражающий фонетически соответствующий звук в армянском.

Таким путем возникла особая последовательность армянских звуков, выражаемых соответствующими графическими символами, которая должна была совпасть в основном с греческим алфавитным рядом. В этом и заключается в сущности греческая основа древнеармянского алфавита, создание армянского алфавита «по системе греческих слогов».

Но древнеармянский язык по сравнению с греческим характеризовался бóльшим количеством консонантных фонем. Только одна часть армянских согласных покрывается греческими. Поэтому для «добавочных» согласных в армянском, т. е. для специфически армянских звуков, не находящихся фонетических соответствий в греческом²⁶, требовалось создание добавочных символов, которые дополнили бы последовательность знаков, выражавших фонетически сходные с греческими древнеармянские звуки, как это имело место, например, в коптской письменности.

Но создатель древнеармянского письма прибегает к другой процедуре. Добавочные знаки армянского алфавита располагаются не в конце алфавитного ряда, вслед за графическими символами, обозначающими фонетически схожие с греческими звуковые единицы, а вставляются на различных местах в основную часть, соответствующую греческой парадигматике; эти «добавочные знаки» распределяются в пределах «первичной части» армянского алфавита, отражающей греческий алфавитный ряд. Это «первичное ядро» армянского алфавита, построенное на основе греческой парадигматики, начиналось знаком [a] и завершалось символом [k^h].

В этом отношении армянский алфавит напоминает скорее готскую письменность с алфавитным рядом, ограниченным рамками греческой парадигматики. Но если готский алфавит следует за греческим прототипом не только в отношении алфавитного ряда, но и в отношении количества знаков системы, то армянская письменность характеризуется по сравнению с греческим значительно бóльшим количеством знаков (36 знаков в армянском по сравнению с 27 знаками классической греческой системы) в соответствии с более широким объемом армянского консонантизма.

Поэтому, если В у л ь ф и л а довольствуется заменой в системе нескольких специфически греческих звуковых значений собственно готскими значениями (так что в готской системе не нарушается характерная для греческого прототипа последовательность знаков и их количество, в связи с чем готская система и сохраняет характерную для греческого прототипа систему числовых значений), то М е с р о п М а ш т о ц вынужден ввести в армянскую систему целый ряд дополнительных знаков, выражающих здесь специфически армянские звуковые единицы (в основном консонантные). Эти «добавочные знаки» следуют в армянском алфавитном ряду не после греческой части, а распределяются на разных местах, разбрасываются без какой-либо заметной закономерности среди графем «основной», греческой части системы. Тем самым армянский алфавит с точки зрения соотношений с греческим прототипом принципиально отличается от коптской, а также готской систем письма²⁷.

8.3. Такое распределение дополнительных знаков армянского алфавита среди знаков «основной» его части, отражающей греческую парадигматику, влечет за собой полное нарушение системы числовых значений, характерной для греческого прототипа. Совпадение числовых значений в греческой и армянской системах наблюдается только между первыми

²⁶ В качестве таких звуков, добавочных с точки зрения греческой системы в армянском, выделяется следующий ряд: *ə ž l x ç h j ç y š ç f v r ç*.

²⁷ Существенным системным отличием армянского алфавита от коптской и готской письменностей представляется также и то, что для армянского письма за основу берется не полная греческая парадигматика из 27 знаков, а лишь та часть греческой системы, фонетические значения которой соответствуют армянским звукам, т. е. из греческой основы армянского алфавита устраняются все эпиграфы — графические символы, выражающие лишь числовые значения: *στῆρα, κβηπα* и *σάπι*, а также знаки, обозначающие чуждые армянскому звуковые единицы: *ks, ps* и *ō*.

семью знаками алфавита. Начиная с восьмой буквы, знаки армянской системы обнаруживают уже другие числовые значения, поскольку первый символ из группы добавочных знаков, в частности знак, обозначающий гласный *э*, был вставлен в «первичное ядро» армянской системы именно после седьмого знака, который выражал гласную *е*, являющуюся армянским фонетическим эквивалентом греч. $\bar{\epsilon} = \tilde{\eta}\alpha$.

Поскольку армянская система характеризовалась большим количеством знаков, чем греческий прототип, в соответствии с большим количеством армянских консонантных фонем, выражаемых на письме, в армянском оказалось возможным сформировать более совершенную систему выражения числовых значений. Посредством $9 \times 4 = 36$ знаков армянского письма стало возможным обозначить с помощью отдельных письменных символов и «тысячи»²⁸:

Древнеармянская письменность				
Заглавные	Строчные	Греческие	Транскрипция	Числовые значения
Ա	ա	α	a	1
Բ	բ	β	b	2
Գ	գ	γ	g	3
Դ	դ	δ	d	4
Ե	ե	ε	e	5
Զ	զ	ζ	z	6
Է	է	η	ē	7
Ը	ը	—	ə	8
Թ	թ	θ	tʰ	9
Ճ	ճ	—	z	10
Դ	դ	ι	i	20
Լ	լ	—	l	30
Խ	խ	—	x	40
Ս	ս	—	s	50
Կ	կ	κ	k	60
Հ	հ	—	h	70
Ղ	ղ	—	j	80
Ճ	ճ	λ	l	90
Մ	մ	—	ç	100
Յ	յ	μ	m	200
Ը	ը	—	y	300
Ն	ն	ν	n	400
Շ	շ	ξ	š	500
Չ	չ	—	o	600
Պ	պ	—	ē	700
Պ	պ	π	p	800
Պ	պ	—	j	900
Պ	պ	ρ	r	1000
Պ	պ	σ	s	2000
Պ	պ	—	o	3000
Պ	պ	τ	t	4000
Պ	պ	—	r	5000
Պ	պ	—	e	6000
Պ	պ	υ	o	7000
Պ	պ	φ	o'	8000
Պ	պ	χ	h'	9000

²⁸ Таким образом, греческую основу армянского алфавита, представляющую его «первичное ядро», составляет редуцированная в определенном смысле парадигматика греческой системы, сведенная к последовательности лишь тех знаков, фонетические значения которых находят соответствия в звуковых единицах армянского языка.

8.4. Отмеченным не исчерпывается различие между древнеармянским алфавитом, с одной стороны, и коптской и готской системами письма, с другой. Существенное различие между этими системами представляет и характер их плана выражения и его соотношения с графическим выражением греческого прототипа.

Если коптская и готская системы почти без изменения повторяют графическую форму соответствующих знаков греческого унциального письма, древнеармянское письмо порывает всякую графическую связь со знаками греческой письменной системы. Древнеармянские знаки, которые выражают звуки, фонетически эквивалентные греческим, графически не имеют ничего общего с соответствующими знаками греческого письма. Они характеризуются совершенно иной графической основой²⁹.

Эта графическая особенность «Еркатагира» часто давала повод для предположений о происхождении древнеармянского письма из самых различных письменных источников. Древнеармянскую письменность выводили из семитского и частично из греческого (ср. [33]), из греческого курсива [34], из среднеперсидского, который в свою очередь восходит к арамейскому [35, 36], непосредственно из арамейского северомесопотамского типа [37].

Подобное выведение целой письменной системы из некоторого письменного источника на основании сходств и различий в начертании отдельных знаков, т. е. в сущности лишь на основании графического анализа плана выражения рассматриваемых письменных систем, не может считаться методологически оправданным. Графическое сходство отдельных знаков в различных письменных системах ничего еще не дает для утверждений о происхождении их из того или иного письменного источника. Для подобных утверждений необходимы более существенные внутренние системные характеристики письма, которые послужили бы основанием для предположения о зависимости той или иной письменной системы от определенного письменного источника.

Одной из таких внутренних системных характеристик письма является парадигматика письменной системы, и именно в этом отношении древнеармянская письменность проявляет бесспорную связь с греческой письменной системой, которая для создателя армянского алфавита послужила в качестве исходной письменной модели.

Именно по греческой письменной модели выделились соответствующие армянские звуки (а также и специфические для армянского звуковые единицы) и расположились в определенной последовательности, отразившей первоначально греческий алфавитный ряд.

Но вместе с тем создатель армянской письменности сознательно порывает всякую внешнюю связь с графическими символами греческой системы-прототипа и свободно изобретает по определенному принципу графическую форму соответствующих знаков. В процессе подобного «графического творчества» Ме с р о п М а ш т о ц мог, естественно, использовать доступные ему графические образцы из самых различных систем письма, таких, как армянско-пехлевийская, сирийская, эфиопская, греческая и др. письменности, графика которых обнаруживает некоторое сходство с графическими символами древнеармянской письменности³⁰.

²⁹ Исключение составляют лишь знаки [p^h], ср. греч. Φ, [k^h], ср. греч. χ, а также, возможно, [e], ср. греч. ε.

³⁰ Особо близкие графические связи обнаруживает древнеармянское письмо с эфиопской письменностью [38, 39]. Графический принцип вокализации в эфиопском, выра-

Таким образом, графика древнеармянской письменности есть продукт оригинального творчества ее создателя и не представляет собой результата исторического преобразования или графического воспроизведения какой-либо одной определенной письменности. Этим и объясняется то, что древнеармянская письменность обнаруживает графические связи с разными системами, но не сводится целиком к одной определенной графической системе.

8.5. Мотивом для подобного свободного творчества графических символов древнеармянского письма и создания оригинальных по начертанию письменных знаков, отличных графически от соответствующих греческих, должно было быть стремление скрыть зависимость вновь создаваемой письменности от письменного источника, использованного в качестве модели для ее создания, в данном случае от греческой письменности. Таким путем создавалась внешне оригинальная, национальная письменность, как бы независимая от каких бы то ни было внешних влияний и связей.

Теми же соображениями объясняется, очевидно, и факт распределения добавочных букв армянского алфавита среди символов основной части, соответствующей греческой парадигматике. Этим путем нарушалась наследованная от греческой системы последовательность символов и соответственно возникала новая, отличная от греческой, система числовых значений.

Возможно, по этой же причине были заменены в армянской письменной системе названия букв, характерные для греческого прототипа. Большая часть этих названий является словами, созданными на собственно армянской фонетической почве. Некоторые названия, возможно, оформились по иностранным образцам. Так, например, арм. *pē*, возможно, было создано под влиянием соответствующего семитского (сирийско-еврейского) названия. Этой же модели следуют названия *žē*, *hē*, *čē*, *ḡē*, *sē*, *rē*, *k^hē*; возможно, также на семитском образце основываются названия *vev* (сем. *waw*), *gim* (сем. *gīmel*), *da* (сем. *dālet^h*, сир. *dālī^h*); этой же модели следуют названия *za*, *ca*, *ja*, *ša*, *ča*, *ra*. Названия *t^ho*, *ho*, *co*, возможно, подсказаны греческим прототипом *τῶ* и др. (ср. [30, с. 194—195]).

Это было, по всей вероятности, некоторым проявлением тенденций, диктовавшихся в восточнохристианском культурном мире того времени определенными религиозно-политическими соображениями, к сокрытию всякой связи и зависимости местной христианской культуры от греческой [41]. Аналогичные тенденции проявлялись, очевидно, и при создании других письменностей христианской эпохи, в частности старославянской письменности.

9.1. В славянском культурном мире начиная с IX в. н. э. появляются вполне оформившиеся оригинальные письменные системы, основанные на греческой системе письма.

жающийся в приписке к основному знаку штриха или окружности, должен был быть использован М е с р о п о м М а ш т о ц о м для создания целой группы графических символов, выражающих совершенно различные фонетические значения: ср. знаки, обозначающие *o*, *r*, и *i^h*, *s* и *t*, *d* и *f* и др. Д. Ольдерогге считает, что этим графическим методом получены 22 или 23 графических символа, т. е. 1/3 всей древнеармянской графической системы (к отличному взгляду на графические принципы, положенные в основу древнеармянской письменности, см. также [40]).

Вместе с тем целый ряд знаков армянского письма проявляет по отношению друг к другу особую графическую близость. Таковыми являются, например, знаки, обозначающие *j* *j* *č*, и др. Графическая близость этих знаков мотивирована, очевидно, фонетической близостью выражаемых ими звуков. Создатель армянского письма, очевидно, прекрасно понимал фонетическое родство обозначаемых этими письменными знаками аффрикативных звуков.

Славянские письменные системы, именуемые г л а г о л и ц е й и к и р и л л и ц е й, были изобретены для записи текстов на старославянском языке ³¹, на котором, в частности, началось богослужение в славянском христианском мире и создавалась первоначально славянская христианская литература. Все это приписывается исторической традицией просветительской деятельности христианских миссионеров, первоучителей славян, братьев К о н с т а н т и н а [впоследствии названного К и р и л л о м (827—869 гг.)] и М е ф о д и я (ум. в 885 г.) ³².

9.2. Старославянская г л а г о л и ц а берет начало, по всей видимости, от минускульной греческой письменности IX в., что проявляется в греческом построении глаголического алфавита, в парадигматике знаков, отражающей по существу греческую последовательность. Парадигматика системы-прототипа нарушается лишь в нескольких местах вследствие вставки в нее ряда знаков, выражающих собственно славянские звуки ³³.

Это в свою очередь вызывает некоторое смещение числовых значений, выражаемых соответствующими знаками в старославянской системе, по сравнению с системой греческого прототипа.

Поскольку количество звуковых единиц старославянского языка значительно превосходило число греческих фонем, было необходимо создать целую группу дополнительных знаков для выражения таких специфически славянских звуков. В соответствии с этим число знаков во вновь создаваемой письменности, которая одновременно должна была выражать и систему числовых значений, не должно было быть меньше $9 \times 4 = 36$ (для обозначения отдельными знаками «единиц», «десятков», «сотен» и «тысяч»), и именно $9 \times 4 = 36$ графических символов содержала первоначально старославянская г л а г о л и ц а. Последние девять знаков алфавитного ряда были использованы в качестве числовых символов, выражавших «тысячи»:

Глаголица

1	Ѧ	а	10	Ѧ	Ѧ	Ѧ	100	Ѧ	Ѧ	1000	Ѧ	Ѧ
2	Ѣ	б	20	Ѣ	Ѣ	Ѣ	200	Ѣ	Ѣ	2000	Ѣ	Ѣ
3	Ѧ	Ѧ	30	Ѧ	Ѧ	Ѧ	300	Ѧ	Ѧ	3000	Ѧ	Ѣ
4	Ѧ	Ѧ	40	Ѧ	Ѧ	Ѧ	400	Ѧ	Ѧ	4000	Ѧ	Ѣ
5	Ѧ	Ѧ	50	Ѧ	Ѧ	Ѧ	500	Ѧ	Ѧ	5000	Ѧ	Ѧ
6	Ѧ	Ѧ	60	Ѧ	Ѧ	Ѧ	600	Ѧ	Ѧ	6000	Ѧ	Ѧ
7	Ѧ	Ѧ	70	Ѧ	Ѧ	Ѧ	700	Ѧ	Ѧ	7000	Ѧ	Ѧ
8	Ѧ	Ѧ	80	Ѧ	Ѧ	Ѧ	800	Ѧ	Ѧ	8000	Ѧ	Ѧ
9	Ѧ	Ѧ	90	Ѧ	Ѧ	Ѧ	900	Ѧ	Ѧ	9000	Ѧ	Ѧ

³¹ По поводу термина «старославянский язык» см. [42].

³² Не исключено, что у древних славян существовали местные разновидности письма особого типа еще до создания Константином-Кириллом по греческому образцу алфавитной письменной системы [43, 44].

³³ Те звуки, у которых не оказалось фонетических соответствий в греческом, помещены в конце алфавита после части, соответствующей греческой системе. В эту «добавочную» часть алфавита попадают такие типично славянские звуки, отсутствовавшие в греческом, как Ѧ, Ѣ, Ѧ, Ѧ, Ѧ и др.

Но отдельные знаки, выражавшие собственно славянские звуки, были вставлены за некоторыми знаками в последовательность основной части, соответствующей греческой. Это было обусловлено, по-видимому, фонетической близостью таких звуков со звуками, оказавшимися в основной части глаголицы. Такие фонетически близкие группы звуков образуют, например, лабиальный смычный *b* и лабиальный спонант *v*, сибиллянтные фонемы *z*, *z*, *z*; гласные *i*₁ и *i*₂ и др., расположенные друг за другом в последовательности знаков старославянского алфавита.

9.3. Графическую специфику глаголического письма создает то, что знаки греческого минускульного курсива представлены здесь в синтагматике как изолированные графические символы. Вместе с тем символы глаголицы по сравнению с соответствующими знаками греческого минускульного письма носят на себе печать графической модификации их создателя, что формально отделяет их от греческих графических прототипов. Начертание чрезвычайно сложных и замысловатых знаков глаголической письменности, со множеством завитков и петель, настолько своеобразно, что некоторым исследователям оно представляется плодом самостоятельного оригинального творчества К о н с т а н т и н а-К и р и л л а [44]³⁴.

Не подлежит сомнению, что создатель глаголицы произвел умышленно графическую модификацию и стилизацию исходных греческих письменных знаков, возможно, с той целью, чтобы скрыть зависимость вновь создаваемой письменности от греческой и создать впечатление полной независимости и оригинальности нового национального письма [46, с. 13]. Однако графическая основа всех таких знаков должно было послужить греческое минускульное письмо с характерными для скорописи курсивными графическими символами.

В случае ряда глаголических букв, относящихся к добавочной части алфавитного ряда и не имеющих греческих алфавитных графических прототипов, можно предположить влияние некоторых других, в основном восточных, графических образцов. Так, например, в качестве графических прототипов глаголических букв *š*, *ž* и *x* предполагаются коптские знаки *šaj*, *ganga* и *haŋ*, для глаголического *c* — др.-евр. *šādē* и др. [46, с. 19]. Создатель глаголицы обнаруживает фонетические эквиваленты таких старославянских звуков, отсутствующих в греческом, в целом ряде восточных языков и соответственно с этим заимствует знаки, выражающие эти звуки, из соответствующих письменностей.

Названия знаков глаголического алфавита создаются целиком на оригинальной почве отбором определенных славянских слов по акрофоническому принципу, т. е. таких слов, начальная фонема которых совпадает со звуковыми единицами, выражаемыми соответствующими письменными знаками: *az*, *buki*, *glagol*, *dobro* и т. д.

Такое наименование знаков письменной системы совпадает с принципом, характерным для германских рун и готского письма (ср. [30, с. 198]), а также с принципом наименования графических символов письменной системы, предполагаемым и для старосемитского письма (см. выше).

9.4. В отношении начертания знаков более ясен второй вид старославянской письменности, известный под названием к и р и л л и ц ы. Из 43 знаков этого алфавита 24 буквы повторяют графические символы унциального греческого письма IX—X вв. с соответствующими фонетическими значениями. Символ для гласной *и* в соответствии с греческим прототипом представляет собой комбинацию знаков ОУ. По сравнению с гре-

³⁴ Эта графическая особенность глаголической письменности давала повод для возникновения самых различных точек зрения по вопросу о происхождении этой системы письма. По начертанию отдельных знаков и по сходству их со знаками различных письменностей старославянскую глаголицу относили к германским рунам, к финикийской, древнееврейской и самаритянской письменностям; к эфопскому письму и латинскому алфавиту и др. (см. анализ различных точек зрения по вопросу о происхождении старославянских систем письма — глаголицы и кириллицы [45, с. 258 и сл.; 29, с. 461]). И в данном случае, конечно, вопрос происхождения определенной системы письма нельзя решать по признаку графических сходств и различий отдельных письменных знаков системы со знаками других письменностей, без учета и анализа внутренних характеристик системы, только на основе ее плана выражения.

Глаголица	Числовые значения	Кириллица	Числовые значения	Греческие соответствия
Ѧ	1	Ѧ	1	a
Ѣ	2	Ѣ	—	b
Ѥ	3	Ѥ	2	v
Ѧ	4	Ѧ	3	g
Ѩ	5	Ѩ	4	d
Ѭ	6	Ѭ	5	e
Ѯ	7	Ѯ	—	z
Ѱ	8	Ѱ	—	dz
Ѳ	9	Ѳ	7	z
Ѵ	10	Ѵ	10	i
Ѷ	20	Ѷ	8	i
Ѹ	30	Ѹ	—	γ
Ѻ	40	Ѻ	20	k
Ѡ	50	Ѡ	30	l
ѡ	60	ѡ	40	m
ѣ	70	ѣ	50	n
Ѥ	80	Ѥ	70	o
Ѧ	90	Ѧ	80	p
Ѩ	100	Ѩ	100	r
Ѭ	200	Ѭ	200	s
Ѯ	300	Ѯ	300	t
Ѱ	400	Ѱ	400	u
Ѳ	500	Ѳ	500	f
Ѵ	—	Ѵ	9	θ
Ѷ	600	Ѷ	600	x
Ѹ	700	Ѹ	800	w
Ѻ	800?	Ѻ	—	st
Ѡ	900	Ѡ	900	c
ѡ	1000	ѡ	—	š
ѣ	—	ѣ	—	š
Ѥ	—	Ѥ	—	z
Ѧ	—	Ѧ	—	v
Ѩ	—	Ѩ	—	z
Ѭ	800?	Ѭ	—	ju
Ѯ	—	Ѯ	—	ja
Ѱ	—	Ѱ	—	je
Ѳ	—	Ѳ	900	e
Ѵ	—	Ѵ	—	e
Ѷ	—	Ѷ	—	je
Ѹ	—	Ѹ	—	je
Ѻ	—	Ѻ	60	je
Ѡ	—	Ѡ	700	z
ѡ	—	ѡ	400	ψ

ческим прототипом графической инновацией являются лигатуры $i + a = [ja]$, $i + e = [je]$, $i + o = [ju]$.

Несколько знаков, обозначающих специфически старославянские звуки, т. е. $ž$, c , $š$, st и др., были заимствованы с определенными графическими упрощениями, по-видимому, из глаголической письменности [47, с. 38 и сл.]. (см. таблицу).

9.5. Каково соотношение между этими двумя разновидностями старославянского письма? Историческая традиция приписывает создание ори-

гинальной славянской письменности просветителям славян и христианским миссионерам братьям К о н с т а н т и н у-К и р и л л у и М е ф о д и ю. Согласно наиболее распространенному мнению, Константин-Кирилл должен был создать именно глаголицу как совершенно оригинальную славянскую письменность, опираясь на греческий письменный прототип и заимствуя целый ряд знаков из различных восточных письменностей. Обширное филологическое образование К о н с т а н т и н а-К и р и л л а, философа и первоучителя славян, его лингвистическая эрудиция делают понятными те связи, которые глаголица обнаруживает с греческой системой письма и с целым рядом восточных письменностей (ср. [48, с. 103]).

Созданная Константином Кириллом графически сложная и замысловатая глаголическая письменность уступает место другой, графически более совершенной разновидности старославянской письменности, так называемой к и р и л л и ц е, с геометрически простой формой букв, опирающихся на графику греческого унциального письма. Эта вторая разновидность старославянской письменности, с некоторыми системными и графическими преобразованиями [45, с. 307 и сл.], представлена, в частности, в виде современного русского алфавита.

(Окончание следует)

ЛИТЕРАТУРА

1. Gelb I. Y. Records, writing and decipherment // Visible language. 1974. VIII. 4.
2. Gelb I. Y. Forms of writing // The New Encyclopaedia Britannica. V. 19. Chicago, 1975. P. 1040 ff.
3. Gelb I. Y. Principles of writing systems within the frame of visual communication // Processing of visible language. V. 2. / Ed. by Kolers P. A., Wrolstad M. E. and Bouma H. N.Y.—L., 1980.
4. Caidona G. R. Antropologia della scrittura. Torino, 1981.
5. Saussure F. de. Note sulle leggende germaniche. Raccolte da D'Arco Silvio Avalla. Torino, 1972. P. 10—11.
6. Gelb I. Y. A study of writing. A discussion of the general principles governing the use and evolution of writing. 2-nd ed. Chicago, 1963.
7. Pulgram E. The typologies of writing-systems // Writing without letters / Ed. by Haas W. Manchester, 1976.
8. Morpurgo Davies A. Forms of writing in the ancient Mediterranean world // The written word. Literacy in transition / Ed. by Baumann G. Oxford, 1986.
9. Driver G. R. Semitic writing. From pictograph to alphabet. L., 1948.
10. Taylor J. The history of the alphabet. An account of the origin and development of letters. V. I—II. L., 1899. P. 190—191.
11. Ullendorff Ed. Writing without letters // Bulletin of the school of Oriental and African studies. 1977. V. XL. Pt. 3. P. 573.
12. Moscati S., Spitaler A., Ullendorff E., Soden W. von. An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages / Ed. by Moscati S. Wiesbaden, 1969.
13. Harris Z. Development of the Canaanite dialects. New Haven, 1939.
14. Friedrich J. Phönizisch-Punische Grammatik. Roma, 1951.
15. Diakonoff I. M. Ancient writing and ancient written language: pitfalls and peculiarities in the study of Sumerian // Sumerological studies in honor of Thorkild Jacobsen on his seventieth birthday. Chicago — London, 1974. P. 101.
16. Лундия А. Г. О происхождении алфавита // ВДИ. 1982. № 2.
17. Hirt H. Handbuch der griechischen Laut- und Formenlehre. Eine Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium des Griechischen. Heidelberg, 1902. S. 65.
18. Meillet A. Aperçu d'une histoire de la langue grecque. P., 1913. P. 32—33.
19. Schwyzer Ed. Griechische Grammatik (auf der Grundlage von Karl Brugmanns Griechischer Grammatik). München, 1939.

20. *Morpurgo Davies A.* Greek and Indo-European semi-consonants: Mycenaean *u* and *w* / *Acta Mycenaea. Proceedings of the Fifth international colloquium of Mycenaean studies held in Salamanca. 1970. P. 80 ff.*
21. *Thumb A.* Zur Geschichte des Griechischen Digamma // *IF. 1899. Bd. IX. Hf. 3.*
22. *Allen W. S.* *Vox Graeca. The pronunciation of Classical Greek. 3-rd ed. Cambridge, 1987. P. 18 ff.*
23. *Фасмер М.* Исследования в области древнегреческой фонетики. М., 1914. С. 10.
24. *Nöldeke Th.* Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft. Strassburg, 1904. S. 134.
25. *Larfeld W.* Griechische Epigraphik. München, 1914.
26. *Kirchhoff A.* Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets. Gütersloh, 1887.
27. *Jeffrey L. H.* The local scripts of Archaic Greece. A study of the origin of the Greek alphabet and its development from the eighth to the fifth centuries B. C. Oxford, 1961.
28. *Gardthausen V.* Griechische Palaeographie. Leipzig, 1879.
29. *Jensen H.* Die Schrift in Vergangenheit und Gegenwart. 3-te neubearb. und erweiterte Aufl. Berlin, 1969. S. 478.
30. *Schwyzler Ed.* Griechische Interjektionen und griechische Buchstabennamen auf *-α* // *KZ. 1931. Bd. 58. Hf. 3—4.*
31. *Gutenbrunner S.* Über den Ursprung des gotischen Alphabets // *PBB. 1950. Bd. 72. Hf. 3. S. 501.*
32. *Arntz H.* Handbuch der Runenkunde. 2-te Aufl. Halle / Saale, 1944.
33. *Müller Fr.* Über den Ursprung der armenischen Schrift // *Sitzungsberichte der Wiener Akademie. 1864. Bd. 48.*
34. *Gardthausen V.* Über den griechischen Ursprung der armenischen Schrift // *Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft. 1876. Bd. XXX.*
35. *Taylor J.* The history of the alphabet. An account of the origin and development of letters. I—II. L., 1899. P. 268 ff.
36. *Junker H. F.* Das Awestaalphabet und der Ursprung der armenischen und georgischen Schrift // *Caucasica. 1925. Fasc. 2; 1926. Fasc. 3.*
37. *Периханян А. Г.* К вопросу о происхождении армянской письменности // *Переднеазиатский сборник. II: Дешифровка и интерпретация письменностей Древнего Востока. М., 1966.*
38. *Севак Г. Г.* Месроп Маштоц [К 1600-летию со дня рождения]. Создание армянских письмен и словесности. Ереван, 1962.
39. *Olderogge D. A.* L'Arménie et l'Ethiopie au IV siècle (à propos des sources de l'alphabet arménien) // *IV Congresso Internazionale di studi etiopici. Roma, 10—15 aprile 1972. Roma, 1974.*
40. *Муравьев С. Н.* О протосистеме армянского алфавита // *Историко-филологический журнал. 1980. № 2 (89).*
41. *Peeters P.* Pour l'histoire des origines de l'alphabet arménien // *Revue des études arméniennes. 1929. T. IX. Fasc. 1.*
42. *Цейтлин Р. М.* О содержании термина «старославянский язык» // *ВЯ. 1987. № 4.*
43. *Лихачев Д. С.* Исторические предпосылки возникновения русской письменности и русской литературы // *Вопросы истории. 1951. № 12.*
44. *Георгиев В.* Славянская письменность до Кирилла и Мефодия. София, 1952.
45. *Истрин В. А.* Развитие письма. М., 1961.
46. *Фортунатов Ф. Ф.* О происхождении глаголицы. СПб., 1913.
47. *Trubetzkoy N. S.* Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-Laut- und Formensystem. Wien, 1954.
48. *Dvornik F.* Byzantine missions among the Slavs. St. Constantine-Cyril and Methodius. New Brunswick (New Jersey), 1970.

БИРНБАУМ Х.

СЛАВЯНСКАЯ ПРАРОДИНА: НОВЫЕ ГИПОТЕЗЫ

(с заметками по поводу происхождения индоевропейцев)

Жаркие споры об этногенезе и древнейшей прародине славян, давно уже ведущиеся в различных областях славистики, пока не привели к окончательному решению загадки, которая, возможно, никогда и не будет разгадана.

В своих недавних работах я уже разбирал некоторые попытки внести ясность в вопрос о происхождении и древнейшей прародине славян и сопоставлял некоторые противоречащие друг другу аргументы, приводимые в рассмотренных мною исследованиях. Так, в сборнике памяти моего метод исключения, т. е. установления зон и регионов, которые по тем или иным причинам явно не могут рассматриваться как потенциальная прародина славян [1]. В настоящей статье я критически рассматриваю чetyре учителя Макса Фасмера я использовал в качестве исходной точки ре новые теории, предложенные в работах В. Манчака [2], З. Голомба [3], Ю. Удольфа [4] и О. Н. Грубачева [5].

В. Манчак провел количественное сравнение избранных славянских (древнецерковнославянских и среднеболгарских), балтийских (литовских) и германских (готских) текстов из Библии. Подсчет совпадений лексическими единицами индоевропейского происхождения в этих текстах показал, что таких совпадений между славянским и германским больше, чем между балтийским и германским; отсюда Манчак делает вывод, что славянский праязык был также и географически ближе к германскому, чем балтийский. Таким образом, здесь делается попытка подтвердить западную, или так называемую автохтонную, гипотезу славянской прародины, разработанную в первую очередь польскими учеными (впрочем, за некоторыми существенными исключениями), среди которых были Т. Лер-Сплавинский [6], а в недавнее время и Я. Налепя [7—9]. В. Манчак повторил свое мнение в серии последующих публикаций, из которых особенно внимания заслуживает его работа, посвященная древнепрусскому языку и прародине славян [10]. В этом исследовании польский лингвист, вновь прибегнув к количественному анализу лексики, проанализировал древнепрусскую, литовскую и польскую версии Малого катехизиса Мартина Лютера и установил, что лексические совпадения между польским и древнепрусским количественно превосходят польско-литовские в отношении 355 : 199. Как полагает Манчак, это подтверждает традиционную точку зрения на степень родства этих трех рассмотренных языков и является еще одним аргументом в пользу его мнения (а также мнения некоторых его польских коллег), в соответствии с которым исконная славянская прародина должна быть локализована скорее в бассейнах рек Одера и Вислы, чем в бассейне Днепра, если учесть, что древнепрусский язык традиционно считается основным (а в действительности единственным письменно

засвидетельствованным) представителем западной ветви балтийских языков, противопоставленной восточной ветви, представленной литовским и латышским языками.

Далее я остановился на взглядах Голомба, по мнению которого предки славян, наряду с предками балтийцев и германских племен, — иными словами, носители северной группы индоевропейских диалектов, — в древнейшие времена населяли области верхнего Днепра и Дона (во всяком случае они были первыми из засвидетельствованных в этом регионе). Голомб считает, что предшественники германской и балтийской этнических групп ушли затем оттуда прямо на запад, в направлении Балтийского моря (некоторые германские племена позднее пересекли его и поселились в Центральной и Южной Скандинавии), предки же славян, первоначально жившие на Верхнем Дону, двинулись в несколько ином направлении, а именно на юго-запад, по лесостепному поясу. В результате они оказались в Среднем Поднепровье и в области, непосредственно примыкающей к нему с запада, иначе говоря, в исторической Волинии. В связи с этим Голомб даже предлагает новую этимологию последнего топонима, возводя его корень к общеславянскому **vel-/*vol-* «управлять, господствовать». Именно здесь, на Среднем Днестре и прилегающем к нему с запада регионе, славяне оформились в особую этнолингвистическую общность. Поэтому территория на среднем течении Днестра и к западу от него, приблизительно совпадающая с современной Западной Украиной, должна, по мнению Голомба, считаться древнейшей прародиной славян. Вторжение германских, в первую очередь скифских, племен в степи к северу и северо-востоку от Черного (и Азовского) моря не дало славянам возможности продвинуться дальше к югу и юго-западу, и потому дальнейшая их миграция шла в западном направлении: они пересекли Западный Буг и вошли в бассейн Вислы. Далее они продвинулись в сторону Одера, переправились через него и, наконец, достигли границы, образуемой течением рек Эльбы и Заале (а на севере даже перешли ее), ср. крайне западную территорию поселений славян-полабцев — на западном берегу Нижней Эльбы.

Если рассуждения Голомба основываются в первую очередь на данных лингвистики (особенно ономастики), но отчасти принимаются во внимание и природные, экологические условия для земледелия, животноводства, товарообмена и торговли и т. д. на рассматриваемых землях, то аргументация Удольфа строится фактически исключительно на данных гидронимии, отобранных и проанализированных им в высшей степени тщательно и искусно. Нужно заметить, что я не могу принять некоторые этимологии названий ряда крупных рек, предложенные Голомбом, в частности, что два варианта славянского названия Дуная (*Дунай/Дунае*) первоначально относились к Днестру, так же, как я не могу поддержать его попытку истолковать название Вислы (польск. *Wisła*) как исконно славянское. Согласно Удольфу, мы можем сузить первоначальный ареал славянского расселения до границ исторической Галиции, иными словами, до территории к северу от Карпатских гор, ограниченной с запада Татрами, а с востока — Буковиной. Исходя из результатов своего основного исследования, в дальнейших работах Удольф рассматривает миграцию восточной ветви славян с их предположительно первоначального места жительства на обширные территории Европейской России и Украины (см. в особенности [11]). Концепция Удольфа, в основе которой лежит гипотеза Г. Краэ о древнеевропейской гидронимии, развитая и модифицированная учителем Удольфа В. П. Шмидом, в сущности недалеко от концепции Голомба, хотя и основывается на других методологических принципах и опи-

рается на иные факты истории и предыстории. Однако теория Удольфа, значительно отличающаяся от мнения ряда польских ученых, не получила всеобщего признания, и он ответил на эту критику в отдельной, более поздней работе [12].

Шмид считал, что древнеевропейская гидронимия распространилась на значительную часть Европы из балтийского региона. Удольф видит первоначальный ареал ее распространения более широким, включая в него и территорию с высокой концентрацией славянских гидронимов. Слово «древнеевропейский» он использует в смысле, прямо противоположном его употреблению М. Гимбутас и представителями ее школы: последние применяют термин «Древняя Европа» для древнего континента до проникновения несколькими волнами в Европу индоевропейцев, носителей курганной культуры.

Совершенно новую теорию происхождения и древнейшей прародины славян выдвинул советский этимолог и ономаст О. Н. Трубачев, хотя он так же основывает свою гипотезу на данных этимологии, топо- и гидронимии [5]. В своих теоретических рассуждениях советский лингвист затрагивает такие основные методологические понятия, как «прародина» и «взятие родины», а также синхронное моделирование праязыков в противоположность реконструкции реально употреблявшегося языка-предка и реально существовавшей языковой общности. Из современных теорий близкая лишь к взглядам австрийского слависта О. Кронштайнера, концепция Трубачева в основе своей отличается от рассмотренных выше гипотез, поскольку, согласно ей, первоначальное место обитания славян располагается к югу от Карпат (о сходных взглядах Л. Новака см. ниже). Если можно так выразиться, здесь реабилитируется утверждение составителя «Повести временных лет», по словам которого колыбелью славян был Средний и Нижний Дунай, где во время летописца были земли угров и болгар. В некотором смысле теория Трубачева также носит некоторый славяноцентрический оттенок, поскольку она подразумевает, что древнейшая прародина славян была в то же время местом прародины (или, во всяком случае, одним из мест прародины) индоевропейцев. В этом его идеи близки к точке зрения Манчака, который, однако, поместил славянскую и индоевропейскую прародину в другом месте, а именно — между Одером и Неманом. Таким образом, в отличие от мнения многих исследователей, занимающихся в настоящее время этими вопросами, Трубачев полагает, что индоевропейская прародина (хотя он и избегает термина «прародина», заменяя его более широкими и менее точными обозначениями) находилась где-то в Европе, точнее — в Карпато-Дунайском регионе, ограниченном Южными Балканами и современной Правобережной Украиной. Тем самым предполагается, что древнейшая славянская территория, которую возможно установить, находилась в самом или почти в самом центре древнейшей либо одной из самых древних территорий проиндоевропейцев. В конечном счете здесь имплицитно предполагается пространственно-временная индоевропейско-славянская непрерывность, которая делает ненужным предположение об отдельной промежуточной балто-славянской стадии развития. Эта теория отличается, таким образом, от других европоцентристских теорий, согласно которым прародина индоевропейцев располагалась в зоне к северу и к северо-востоку от Черного моря с ее археологической (курганной) культурой либо находилась на территории балтов или германцев — ср. соответствующие гипотезы Ф. Шпехта [13] и П. Тиме [14].

Признавая заслуги О. Н. Трубачева в том, что он ввел в научный оборот ряд проницательных соображений и тонких наблюдений, я не могу, од-

нако, полностью разделить основные положения его теории, по которой славяне вошли в тесный контакт с балтами лишь в относительно] позднее время, имея более ранние связи с германскими, кельтскими и итальянскими племенами (во всяком случае, с носителями латинского языка), а также с некоторыми из иллирийских племен. В статье «Пришли ли славяне из Паннонии?» («Kamen die Slaven aus Pannonien?»), готовящейся к публикации в сборнике, посвященном В. Хензелю, Удольф делает попытку доказать неверность ряда аргументов Трубачева, утверждая, что ни паннонская топонимия, ни отношения славянского к другим индоевропейским и неиндоевропейским языкам, ни древняя традиция, ни результаты археологических изысканий, ни гипотеза о центре славянских языковых инноваций в Паннонии не могут служить доказательствами паннонской прародины славян. Удольф остается при своем убеждении, что языковые, археологические и исторические данные, как и раньше, поддерживают точку зрения, по которой славянский язык сформировался к северу от Карпат, а потому славяне не могли происходить из Паннонии.

В другой работе, недавно опубликованной в сборнике, посвященном Ф. Славскому [15], а также более детально в статье в сборнике в честь А. де Винченца [16], где я обсуждаю роль Карпат в происхождении, развитии и распространении славянского языка, мною включена в анализ новая работа Л. Новака [17]. Последний рассматривает этногенез славян и формирование их праязыка с точки зрения, во многом близкой к взглядам Трубачева. В этих новых работах я хотел показать мое по-прежнему скептическое отношение к гипотезам, локализирующим славянскую прародину к югу от Карпат. Однако я могу согласиться с идеей, что славяне достаточно рано расселились в Карпатской области и вскоре достигли закарпатских территорий, и в этом мне близко мнение Удольфа о древнейшем заселении славянами северных склонов Карпат, а также еще более северных территорий. Напротив, Новак, как и Трубачев, полагает, что последняя «компактная» прародина славян находилась в Карпатах, сопредельном Среднем Подунавье, а также в некоторых других прилегающих к этим регионам местностях. Из этого первоначального ареала славяне, согласно Новаку, в дальнейшем продвинулись в результате сложных миграций в различных направлениях, где они встретились с новыми геоморфологическими условиями и где постепенно стали складываться отдельные славянские языки. Согласно Новаку, в недавней работе которого дается синтез его ранних идей и наблюдений по этой проблеме [18], а также приводится несколько новых доказательств, возникновение особой славянской этнической группы со своим собственным языком должно рассматриваться как следствие «монголизации» — лучше, вероятно, назвать ее алтаизацией — юго-восточной ветви балто-славян, живших по Днепру. Такое воздействие этнолингвистического суперстрата могло начаться с появлением гуннов в Понтийской степи в 375 г. н. э. Славяне как обособленная группа индоевропейцев были, согласно Новаку, вовлечены в евразийский языковой союз, ареал конвергенции, предположенный Якобсоном на чисто фонологических основаниях. Как известно, Якобсон постулировал существование этой обширной ареально-типологической группы языков, исходя из двух фонологических критериев: корреляции палатальных / непалатальных согласных и отсутствия просодических тоновых различий. Критика этой концепции, включающая также общую критику чисто «фонологических» языковых союзов, содержится в [19—23]. Новак также полагает, что корреляция передних/задних фонем появилась в формировавшемся славянском языке в результате

вхождения его в обширный языковой союз, что привело к противопоставлению палатальных/непалатальных согласных и передних/задних гласных. Это можно было бы считать предпосылкой позднераславянского слогового сингармонизма, постулировавшегося Якобсоном, но который, по-моему, справедливо критиковал Н. Ван-Вейк [24], см. также [25]. Согласно Новаку, указанная корреляция согласных была в дальнейшем устранена — частично в западнославянском и полностью в южнославянском. Крушение Аварского государственного образования с центром в Карпато-Дунайском регионе, где в то время находилось множество временно подчиненных аварам славянских племен, войсками Карла Великого в 790-х гг. было, по мнению Новака, причиной новых миграций (и возращения на места прежнего жительства) этнических групп, которые перешли из Восточного Закарпатья (с территории, в общем совпадающей с современной Трансильванией) в область Среднего Поднепровья. Позже из этих этнических групп сложились восточные славяне.

В связи с этим стоит упомянуть мнение Х. Ланта, который (следуя мысли О. Прицака) выделял роль аваров в формировании лишь ко времени их появления консолидировавшегося праславянского языка, языка, который понимали и на котором говорили на всей территории, заселенной славянами. Лант писал: «Историческое вторжение степных народов, главным образом аваров, между 500 и 750 гг., создало славянский *lingua franca*, который распространился по всей славянской территории и даже на новых землях вне ее, стирая особенности старых диалектов и языков. Этот новый, единообразный язык оставался очень стабильным в течение IX века, и до письменной фиксации древнецерковнославянского языка в нем начало формироваться лишь несколько новых изоглосс» [26]. Нужно добавить, что ученый из Гарварда несколько смягчает свое нетривиальное и смелое утверждение в двух примечаниях (с. 44 и 45), указывая, что особенности старых языков несомненно сохранялись во многих отдельных ареалах десятилетиями, если не веками. Важно отметить, что ни древнейшие тексты, ни современная диалектология не могут помочь реконструировать ни одно из этих древних различий. Следует также предположить, что единообразие фонологической и грамматической структур, а также и словаря не было абсолютным, однако различия эти были столь незначительны, что их действительно невозможно обнаружить. Лант предположил, что до 750 г. в языке славян не видно вообще никаких диалектных различий в области фонетики, тогда как в морфологии отличия были не большими, чем между древнецерковнославянским и древнерусским [27].

Гипотеза о «монголизации» (алтаизации) части балто-славян — а последняя общность и сама по себе остается в настоящее время дискуссионной — не представляется убедительной. Скорее мы можем предположить, что славяне выделились из более крупной позднейноевропейской диалектной группы (включавшей также предков балтийских и германских народов) в результате вторжения иранских (скифо-сарматских) племен в степи юго-восточной Европы и более западные сопредельные территории. Предки балтов и германцев не попали под иранское господство, и на их язык не повлиял иранский суперстрат, тогда как предкам славян посчастливилось не в такой степени. Тем не менее можно считать правдоподобной гипотезу об обратном движении, в результате разгрома походами Карла Великого Аварского государства, некоторых славянских группировок из Подунавья и Потисья к среднему течению Днепра и, по всей видимости, в более западные области, а позднее также в район Верхнего Днеп-

ра, первоначально заселенный балтами (см. [28]). Дополнительно о славянах, аварах и булгарах (протоболгарах) на Балканах и смежных северных территориях в раннем средневековье см. [29].

Здесь заслуживают упоминания работы еще двух ученых. Речь пойдет о смелой статье А. М. Шенкера, в которой ставится вопрос: были ли славяне в Центральной Европе до Великого переселения народов?, а также о ряде взаимосвязанных работ Х. Кунстманна, публикующихся в журнале «Die Welt der Slaven» с начала 80-х гг. и продолжающих выходить по сей день.

Шенкер [30], тщательно пересмотрев имеющиеся данные, отвечает на вопрос, вынесенный им в заголовок статьи, однозначно отрицательно. Он не разделяет мнения многих польских ученых, которые помещают «автохтонную» славянскую прародину в современной Польше или в бассейнах Вислы и Одера. При этом Шенкер дает превосходный обзор многих польских работ, освещающих эту проблему, не упоминая, однако, исследований некоторых авторов, в частности, Я. Налепы и В. Манчака. Славист из Йеля начинает свою статью с утверждения, что, в противоположность кельтским и германским племенам, славяне не появлялись на исторической арене вплоть до VI в. Более ранняя история славян неясна из-за молчания их соседей, немоты собственной устной традиции и ненадежности данных, представляемых археологией, этнографией, палеоботаникой, географией и другими нелингвистическими науками. Американский лингвист упоминает так называемый «аргумент бука», впервые сформулированный Й. Ростафинским [31]. Казалось, что этот аргумент исключает возможность западной прародины, однако позднее он был обесценен результатами пыльцевого анализа, который показал, что столетия и даже тысячелетия тому назад восточная граница распространения бука проходила гораздо западнее, чем в настоящее время, а именно — по территории современной Восточной Германии (между Мекленбургом и Рудными горами) — последний факт не отмечен Шенкером. Эти данные позволяют включить как современную Польшу, так и часть ГДР в число возможных территорий славянской прародины. Далее Шенкер на примере цитат из Помпония Мелы и Плиния Старшего (I в. н. э.), пересказывавшего сообщение Корнелия Непота (I в. до н. э.), показывает, сколь мало достоверными можно считать сведения о предполагаемом морском путешествии «индийцев»(?) к германским берегам, в таком авторитетном научном справочнике, как «Słownik starożytności słowiańskich». В этом издании сообщение Плиния всерьез рассматривается как свидетельство морской торговли у славян (на самом деле у «индийцев», т. е. венецов, которые, видимо, неправильно идентифицируются со славянами) между Балтийским и Северным морями на рубеже старой и новой эры. В действительности же, как справедливо отметил Шенкер, нет оснований предполагать, что славяне достигали берегов Балтики в столь отдаленные времена. Например, кроме восходящего к праиндоевропейскому уровню слова со значением «море» (**móre*, ср. лат. *mare*), славяне, видимо, не имели ни одного собственного мореходного термина. (Заметим в скобках, что и само это индоевропейское слово считается относящимся к доиндоевропейскому субстратному слою.) Шенкер выдвигает убедительную гипотезу, по которой народом, с незапамятных времен обитавшим на южном и восточном побережье Балтийского моря, были *венеты*. Это подтверждается, наряду с другими фактами, латышским названием реки *Вента* и родственными ему топонимами *Вентспилс* и *Венден* (ныне *Цесис*) в Латвии. Ливонский летописец Генрих Латвийский (Henricus de Lettis,

XIII в.) в «Ливонской хронике» описывает безусловно неславянское племя виндов (*Vindi*), которые первоначально жили в Куронии, а затем в Ливонии. В этом контексте можно вспомнить также легендарный город Венета на о. Волин (в эстуарии р. Одер), могущественный славянский торговый город, который, как говорит предание, погрузился в море.

Поэтому есть все основания заняться интерпретацией названия *Ὀβενδικὸς κόλπος* — «Венетский залив» — у Птолемея (II в. н. э.), который с уверенностью считают частью Балтийского моря, точнее, отождествляют с Гданьским заливом. Тот факт, что название *венеты* (нем. *Wenden, Winden*) в дальнейшем использовалось немцами на пограничных территориях (Каринтия, Лужица, южное побережье Балтики) для обозначения славян, которые были их соседями в этих землях, сам по себе не удивителен. Сходный перенос названия, видимо, мог произойти также в случае с восточнославянским племенем *вятичей* (**Vet-*), которые, возможно, пришли на свою территорию с запада. Уже Цезарь (*De bello Gallico*, III.8) знал о мореходном искусстве венетов. Единственным, кто мог в то время потеснить венетов с их прежней территории, были балты. И действительно, балты двигались в западном направлении до реки Персанте в Померании и до западного берега Нижней Вислы. На территории к западу от этой небольшой реки до Нижнего Одера, а возможно, и на западном его берегу в более раннее время жило смешанное балто-славянское население (см. [32]). В этом контексте примечательно отсутствие общеславянского названия янтаря — самого ходового предмета на известном Янтарном пути, тянувшемся от южных берегов Балтики до северной Адриатики. Как хорошо известно, в балтийских языках есть собственное название этого товара, ср. русское заимствование из балтийских языков *янтарь* (литов. *giniāras*), тогда как в польском используется слово немецкого происхождения *bursztyń* (ср. нем. *Bernstein*). Более подробно о роли янтаря у балтов и о торговле янтарем, возникшей в балтийском ареале, см., например [33; 34 — *passim*; 35, 36].

Шенкер справедливо отвергает любые славянские этимологии топонима *Калиши* (*Kalisia* у Птолемея) и названий крупных рек — *Вислы* (известной некоторым античным писателям в форме *Vistula*), *Варты* и *Одера* (Одры). В этом отношении он также расходится с Голомбом. По мнению Шенкера, название польского города имеет скорее кельтское или, возможно, иллирийское происхождение — ср. корень **kal-*, имеющий рефлекс в латинском и романских языках. Для гидронима *Вистула* — *Висла* предполагалось германское или кельтское происхождение. Все эти названия рек, видимо, относятся к древнеевропейскому слою гидронимии, см. работу Удольфа о гидрониме *Варта* [37].

Шенкер по праву не верит в отождествление носителей так называемой лужицкой культуры (ок. 1300—1400 гг. до н. э.) с древнейшими славянами. Он также прав в своем скептицизме относительно любой этнолингвистической идентификации, основанной исключительно на данных археологии при отсутствии каких-либо подтверждений со стороны лингвистики. Более того, Шенкер отмечает, что даже при чисто археологическом подходе несомненно славянская керамика пражского типа гораздо примитивнее как с технической, так и с эстетической точки зрения, чем исполненная с большим искусством керамика лужицкой культуры и культур римского времени (в частности, керамика пшеворского типа). Следующее свидетельство против широкого распространения славян на территории современной Польши и восточной части ГДР Шенкер видит в том, что римляне, вероятно, ничего не знали о славянском населении.

за Эльбой и Дунаем в первые столетия нашей эры, хотя тысячи римских монет обнаруживаются на протяжении всего Янтарного пути. Поэтому американский ученый не разделяет мнения Ф. Дворника о том, что мы знали бы гораздо больше о славянах античного времени, если бы они, подобно своим кельтским и германским современникам, имели более тесные и прямые контакты с римлянами, которые, по мнению Дворника, жили по соседству со славянами. Шенкер полагает, что этого не могло быть: до времени Великого переселения народов славяне не жили оседло в Центральной Европе. Ни одно из сообщений авторов I и II вв. н. э. о странах Центральной Европы не содержит таких недвусмысленных свидетельств о славянах, какими мы располагаем в случае с кельтами, различными германскими племенами и даже с балтами, — достаточно обратиться к сочинениям Тацита и Цезаря. Наряду с этим ни в одном из греческих и латинских источников не приводятся слова, могущие считаться либо несомненно славянскими по происхождению, либо дошедшими до нас в славянской языковой форме. Шенкер думает, что скудные сведения о расселении славян до V—VI вв. показывают, что в то время славяне жили в районе Среднего Поднепровья. Лишь в последующие века они вышли за пределы этой территории, достигнув Центральной Европы и, с другой стороны, Балкан. Мысль, что славяне жили на Висле, Одере и Эльбе до начала нашей эры, не что иное, как попытка выдать желаемое за действительное, она выражает романтическое стремление западных славян, в первую очередь поляков, найти свои корни на собственной родине, чтобы не отличаться от более удачливых в этом отношении западных соседей. Система рассуждений Шенкера о расположении древнейшей прародины славян не очень далека от гипотезы Голомба, хотя между их точками зрения есть и существенные различия; взгляды Шенкера близки также и моим, высказанным ранее [38].

Напротив, значительно отличаются от соображений Шенкера некоторые мысли, недавно высказанные немецким славистом Х. Кунстманном. В ряде статей Кунстманн утверждает, что славяне расселились на современные и исторически засвидетельствованные территории с Балкан, точнее, с Южных Балкан. Взгляды Кунстманна, таким образом, несколько сходны с гипотезой, развиваемой Трубачевым и, в некотором отношении, также и Новаком, хотя, в отличие от этих авторов, немецкий ученый ищет отправную точку славянских миграций гораздо южнее. Здесь нет ни необходимости, ни места для подробного рассмотрения идей Кунстманна, отдельные из которых, особенно на первый взгляд, кажутся причудливыми. Однако нужно сказать, что большинство из его гипотез разработано с большим искусством и основывается на глубоком изучении соответствующих источников. Прекрасно аргументированы многие из содержащихся в статьях Кунстманна толкований славянских этнонимов, а также севернославянских (т. е. отмеченных к северу от Карпат и Судет) топонимов и антропонимов. Необходимо, однако, заметить, что у меня, как, несомненно, и у других специалистов, остаются сомнения относительно корректности и надежности отдельных ономастических сравнений Кунстманна. Я имею в виду такие сопоставления, как *Руса* (в настоящее время Старая Русса), *Русь*: *Ra(g)usa*, *Ra(g)usium* [39, с. 105—109], или случай с *Новгородом*, в названии которого исследователь видит антоним к «старому городу» (*Стариграду* — это название он относит к Эпидавру; см. [39, с. 112—113]). Трудно не восхититься богатством ономастических данных, отобранных и истолкованных немецким ученым, не говоря уже о внутренней последовательности его рассуждений. Здесь мы можем

здать себе вопрос, достигают ли его аргументы цели в доказательстве (южно-)балканской локализации прародины славян, и с некоторым удивлением ответить на него негативно. Когда несколько лет назад я спросил Кунстманна, какого он мнения по этому поводу, то получил ответ, что он вообще очень скептически относится к понятию «славянская прародина». Кунстманн предполагает, что, скорее, первоначально было множество полукочевых этнических групп или племен, занимавших относительно небольшие территории. Эти ограниченные племенные ареалы, согласно Кунстманну, первоначально не располагались на Балканах, т. е. к югу от того ареала, где помещает прародину Трубачев и где ранее предположительно жили иллирийцы. Славяне не проникали в глубь Балканского п-ова до 550 г. до н. э., когда они прорвались через римскую линию обороны, шедшую вдоль Дуная. С этой проблемой тесно связан вопрос о числе людей, участвовавших в этих миграциях. Кунстманн отметил, что он не верит в «огромные массы народа», которые видятся современной науке, черпающей данные из исторических источников более позднего времени. По мнению Кунстманна, эти этнические объединения не могут рассматриваться даже в качестве племен (*gentes*, известных нам из поздней античности), а были скорее всего большими родами или кланами. Он утверждает, что в этом и заключается причина того, что археологические находки доисторических славянских древностей столь спорадичны, а отчасти и дискусионны.

Если мы предположим, что не более 30—40 тыс. мужчин могли носить оружие во время древнейшей фиксации славянской истории, то можно было бы оценить общее число говоривших на славянском языке в тот период приблизительно в 200 тыс. человек. Ср. в связи с этим расчеты известного венского медиевиста Г. Вольфрама, согласно которому единовременное число готов было около 100 тыс. человек, среди них не более 15—20 тыс. воинов [40]. Чарнецкий [41] также предполагает небольшое количество готов в период их древнейшей миграции из Скандинавии на территорию современной Польши. Итак, согласно Кунстманну, Балканы были лишь территорией, на которой малые славянские группировки временно обитали более или менее длительный период. Он предполагает также (с меньшими, как мне кажется, основаниями), что в балканском регионе, по крайней мере недолго, жило также небольшое число балтов. Кунстманн видит в сербах (сорбах), хорватах и болгарях, когда-то живших в Саксонии и соседних землях, иммигрантов с Балкан — эту гипотезу поддержал археолог из ГДР И. Херрманн [42], а хорватский историк Н. Клаич (его работа готовится к печати) всерьез рассматривает ее в своем исследовании. Эти ученые понимают, что старое мнение об однократном переселении славян с севера на юг уже не может считаться приемлемым и должно быть дополнено признанием перемещения славянских этнических групп и с юга на север. Дальнейшей разработке этой гипотезы посвящена и последняя статья Кунстманна: он считает, что славянское население Северной и Центральной Германии происходило с Балкан [43].

Как видно из приведенных выше доказательств сложного характера славянских миграций, новая картина древнейших доступных для исследования периодов славянской истории не обязательно должна быть вариантом концепций, защищаемых Голомбом или Шенкером. В связи с этим можно упомянуть славянское племя *миллингов* на Пелопоннесе (см. [44]), название которых, как полагал З. Штибер, видимо, отражено в топониме *Млѣндз* (*Mładz*: деревня близ Варшавы) [45]. Однако вопреки

мнению Штибера, польский топоним не обязательно должен считаться расположенным на территории славянской прародины.

Что касается соображений Кунстманна о численности ранних славян, то, как мне кажется, низкие цифры, указываемые им, действительно могут относиться к славянским кланам и мелким племенам, занимавшим незначительные пространства. Однако сказанное вряд ли касается славян времени, непосредственно следовавшего за Великим переселением народов, когда славяне были распространены на обширных пространствах — от Греции (в ней славяне жили на Пелопоннесе и даже некоторое время на островах в Эгейском море) до Восточных Альп и Богемии, от Эльбы, Заале и Балтийского побережья до озер Чудского, Ильменя и Ладожского (редкие поселения славян были и на берегах Финского залива) и до Верхнего Поволжья и Поочья. Следует далее отметить, что в своем детальном исследовании славянских вторжений на Балканы и судьбы славянских племен в этом регионе в первых веках н. э. Дж. Файн [29, с. 25—93] часто напоминает об отсутствии каких-либо прочных политических объединений у славян в эпоху аварского господства и подчеркивает, что различные славянские группы впервые образовали значительное военно-политическое объединение лишь в виде Первого болгарского царства (во главе которого стояло алтайское племя протоболгар). Однако американский ученый также ставит под сомнение высокую численность славян на Балканах в ту эпоху. На самом деле, расселившись на обширных пространствах далеко от исходного пункта, славяне не образовали непрерывного пространственного континуума. Речь идет не только о разделении южных и северных славян другими этническими группами — германцами, подвижным романским населением не совсем ясной принадлежности, а также вторгшимися венграми (мадьярами), но и о частичном сохранении остатков различных индоевропейских народов, отчасти ассимилированных или истребленных славянами (фракийцы, иллирийцы и веныты), а также о различных группах алтайских народов, в первую очередь аварах. Не надо также забывать, что большие территории были в то время безлюдными либо имели редкое население — огромные леса, болота и в особенности горные местности. Тем не менее после этих дальних переселений и волн экспансии число славян достаточно рано должно было превзойти предполагаемое Кунстманном. Доказательством этого служит, несомненно, и то, что во время Моравской миссии Константина Кирилла и Мефодия в 860—80 гг. н.э. мы видим в большей степени однородный язык у всех славян, поскольку македонско-болгарский диалект солунских братьев был легко понятен как в Центральной Европе (Богемия — Моравия — Паннония), так и на Руси; в это же время славяне, видимо, обладали высокой степенью сознания своего этнического, если еще не национального, единства. Действительно ли разгадка этого единообразия заключается в роли аварского владычества, под гнетом которого объединившиеся славянские племена подверглись взаимной ассимиляции, как это предполагал Лант?

В заключение несколько мыслей по поводу этногенеза и прародины славян. Как я писал в других работах [46, 47], дивергентные и конвергентные процессы в языковом развитии не только чередуются во времени, но могут происходить и одновременно. Это относится не только к исторически засвидетельствованным фазам развития различных языков, но в равной степени верно и в отношении доисторических стадий языкового развития, неполно, в гипотетическом виде обнаруживаемых средствами реконструкции — как внешней (сравнительной), так и внутренней. Разу-

меется, то же можно сказать про возникновение и становление праязыков — как праславянского (общеславянского), так, по всей видимости, и праиндоевропейского. Остановимся на проблеме языков, наиболее близких к славянским. Я согласен с мнением, ранее высказанным Б. В. Горнунгом [48] и В. К. Журавлевым [49], что западнобалтийский язык, вернее, его предок (из которого развился древнепрусский язык), видимо, был ближе к формировавшемуся тогда славянскому, чем к предшественнику восточнобалтийских языков (ныне представленных литовским и латышским языками). Лишь позднее западнобалтийская языковая общность (или, вернее, западнобалтийская изоглоссная зона) вновь подверглась конвергенции, сблизившись с предбалтийскими (pre-Baltic), в результате чего образовалась обладающая яркими отличительными чертами и в то же время в высшей степени архаичная балтийская группа индоевропейской семьи языков. Что касается родства балтийских и славянских языков, то, по моему теперешнему мнению, за эпохой балто-славянской языковой общности — точнее, предбалто-славянской, т. е. части диалектно раздробленного индоевропейского праязыка — последовала эпоха дивергентного развития. Во время этой фазы эволюции балтийский и в особенности славянский независимо друг от друга вступали на некоторое время в конвергентные отношения с другими индоевропейскими языковыми группами, в дальнейшем же сблизились вновь и начали сильно влиять друг на друга. Последний период взаимовлияния приходится, по крайней мере, частично, на эпоху письменной фиксации славянского, в балтийском же он протекал в дописьменную пору, окончившуюся лишь к 1400 г. с появлением первых древнепрусских текстов (более подробную аргументацию по этому вопросу см. в [47, с. 7—10]).

Я не считаю, что индоевропейский праязык возник во время распада первичного человеческого языка: он также является продуктом предшествующего дивергентно-конвергентного развития. Эта точка зрения поддерживается все возрастающим числом указаний на то, что праиндоевропейский как целое отдаленно родственен другим языковым семьям Евразии и Северной Африки в рамках более широкого объединения, известного в качестве ностратической макросемьи языков и народов. В этой области исследований большой успех был достигнут в результате улучшения комплексного метода реконструкции, известного под названием «внешнее сравнение», которое использует генетические и типологические критерии сравнения и сопоставления языков. В частности, работа в этой области ведется группой советских ученых, возглавляемых В. А. Дыбо, продолжающей пионерские работы В. М. Иллич-Свитыча, а с недавнего времени и в США группой американских лингвистов под руководством В. В. Шеворошкина. Несмотря на резкую критику подхода Н. С. Трубецкого к «индоевропейской проблеме» [50], я склонен думать, что он был на верном пути — см. также [51, 52].

Что касается проблемы происхождения славян и мест их древнейшего расселения, то представляется возможной — по крайней мере, в некоторых отношениях — комбинация некоторых идей, высказанных в последние годы Голомбом, Удольфом, Трубачевым, Шенкером, Лантом и Кунстманном. Возможно, что этнические группы, идентифицируемые в качестве славянских, впервые появились в виде небольших родовых объединений в Среднем Поднепровье и смежных регионах, простиравшихся до северных склонов Карпатских гор. Их предки, которых еще нельзя считать славянами, в более раннее время также могли жить на Верхнем Дону либо в сопредельных регионах. С территории, примерно совпадаю-

щей с современной Правобережной Украиной, часть славян (но определенно не все они) позднее, видимо, перешла по различным перевалам через Карпаты либо обошла эту горную цепь, достигнув в результате Среднего Подунавья, и вскоре двинулась дальше на юг. Лишь во время владычества аваров (вероятно, смешиваясь или в союзе с ними) славяне сложились в относительно монолитную и весьма единообразную этнолингвистическую группу. Именно с Балкан и территорий, непосредственно примыкавших к ним с севера, многочисленные славяне (после их совместных с аварами неудачных набегов на Византию и даже в большей степени после разгрома аваров войсками Карла Великого в 790 г.) вновь двинулись к северу. Точнее говоря, они двигались теперь по двум направлениям: на северо-восток, иными словами, из бассейнов Дуная и Тисы на территорию современной Западной Украины, заселив впоследствии часть Европеейской России, а также на северо-запад, в современную Чехословакию, Польшу, Центральную и Северную Германию. Несколько загадочное легендарное государство середины VII в. Само, возможно, не было столь обширным, как это предполагалось, центр же его находился дальше к западу, где-то в Восточной Франконии и на крайнем севере Баварии, в верховьях Майна. Это государство, видимо, было эфемерным, периферийным славянским объединением, возникшим в пространстве между франкской и аварской сферами влияния (см. [53—55]).

Различение первичных и вторичных прародин конкретных этнолингвистических групп, которое предлагает, например, М. Гимбутас [56] в случае с индоевропейцами, может быть по аналогии перенесено на славян: их первичная, древнейшая прародина была на Среднем Днепре и в Правобережной Украине, а вторичная славянская прародина находилась на Балканах и в Среднем Подунавье, где они жили бок о бок с аварами. Идея существования первичной прародины, отличной от вторичных, может также помочь в объединении таких противоположных точек зрения, как, с одной стороны, археолога М. Гимбутас и некоторых лингвистов, поддерживающих ее концепцию, среди которых можно назвать У. П. Леманна [57—58] и А. Мартине [52, в особенности с. 18—20], и, с другой стороны, лингвистов Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова. Регион Понтийских степей с их курганной культурой, рассматриваемый Гимбутас (см., в частности [59], а также более ранние ее исследования, в особенности [60]), в действительности может рассматриваться как место вторичной — а не первичной, как считает Гимбутас — прародины индоевропейцев. Таким образом, первичная прародина индоевропейцев могла в действительности располагаться на Ближнем Востоке, где-то между Кавказом и Месопотамией, или, возможно, в более точечном регионе внутри этой области, как это было предложено советскими лингвистами (см. [61—63]), и в первую очередь в их капитальном труде [64] (в особенности с. 857—957). Разумеется, учитывая то, что было сказано выше, ближневосточный индоевропейский ареал также можно считать лишь частью территории, которую занимали носители языков прединдоевропейской ностратической макросемьи.

Британский археолог К. Ренфрю, отрицающий, как и Трубачев, (на методологических основаниях) само понятие «древнейшей прародины», отыскиваемой по данным лингвистики, в недавней дискуссионной книге «Об археологии и языке» высказал мнение, по крайней мере в одном отношении близкое к точке зрения Гамкрелидзе и Иванова, предположив, что «приблизительно до 6000 г. до н.э. в восточной части Анатолии, а также в соседних землях к востоку и юго-востоку и, возможно, нигде больше

жили люди, говорившие на языках (sic), бывших предками всех современных индоевропейских языков» — см. [65, с. 266, 272 и 288], а также [65, с. 75—98, гл. «Проблема прародины»). В связи с этим пужно заметить, однако, что Анатолия (или по крайней мере, ббльшая ее часть) традиционно считается местом, где первоначально индоевропейцы не жили, даже если они и переселились сюда в очень раннюю эпоху. Свидетельство тому — данные хеттского языка, письменные памятники которого датируются периодом от 1900 до 1200 гг. до н.э.: хеттский показывает большие отклонения от предполагаемого индоевропейского языкового типа и содержит значительные следы неиндоевропейского субстрата. Между названными выше гипотезами Ренфрю и, с другой стороны, Гамкрелидзе и Иванова есть еще одно важное различие, касающееся хронологии праиндоевропейского языка: по Ренфрю, его возраст на два тысячелетия или более того старше, чем по мнению Гамкрелидзе и Иванова.

Разумеется, М. Гимбутас помещает вторичную индоевропейскую прародину в Центральную Европу, куда часть индоевропейцев переселилась, по ее мнению, из первичных мест проживания в Понтийских степях и из прилегающих земель Нижнего Подунавья. Однако ничто не подтверждает предположения, что предки греков явились на свою историческую родину по обе стороны Эгейского моря и расселились по Архипелагу, пройдя вдоль северных берегов Черного моря, а не прямо через Анатолию, которая, однако, как это видно из данных хеттского языка, попавшего под сильное влияние субстрата, не была первоначальной индоевропейской территорией (см. также мой разбор догреческого индоевропейского субстрата на Южных Балканах и в Архипелаге [66]). Я убежден, что еще менее вероятно гипотеза о древнейшей индоевропейской прародине в бассейне Дуная, выдвинутая И. М. Дьяконовым [67] и, видимо, разделяемая О. Н. Трубачевым. По мнению последнего, славяне также происходят из центрального индоевропейского региона — см. [5]. Исходя из другой линии рассуждений, также и В. Манчак [68] неубедительно пытается доказать, что первоначально славяне и балты жили между Одером и Неманом, на территории, которая была, по его мнению, частью индоевропейской прародины.

Перевел с английского *Николаев С. Л.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Birnbaum H.* Weitere überlegungen zur Frage nach der Urheimat der Slaven // ZSLPh. 1986. V. 46.
2. *Mańczak W.* Praojczyzna Słowian. Wrocław, 1981.
3. *Gołab Z.* The ethnogenesis of the Slavs in the light of linguistics // American contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Kiev, 1983. Vol. 1: Linguistics. Ohio, 1983.
4. *Udolph J.* Studien zu den slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979.
5. *Трубачев О. Н.* Языкознание и этногенез славян. Древние славяне по данным этимологии и ономастики // ВЯ. 1982. № 4, 5. (=Linguistics and ethnogenesis of the Slavs: The ancient Slavs as evidenced by etymology and onomastics // The journal of Indo-European studies. 1985. V. 13).
6. *Lehr-Splawiński T.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.
7. *Nalepa J.* Słowiańszczyzna północno-zachodnia. Podstawy jebnosci i jej rozpad. Lund — Poznan, 1967—1968.
8. *Nalepa J.* Miejsce uformowania się Prasłowiańszczyzny // Slavica Lundensia. 1973. V. 1.
9. *Nalepa J.* Dezintegracja Prasłowiańszczyzny i Słowiańszczyzny północno-zachodniej // Slavica Antiqua. 1973. V. 20.
10. *Mańczak W.* Język staropruski a praojczyzna Słowian // Acta Balto-Slavica. 1986.
11. *Udolph J.* Die Landname der Ostslaven im Lichte der Namenforschung // Jahr-

- bücher für Geschichte Osteuropas. 1931. V. 29.
12. *Udolph J.* Kritisches und Antikritisches zur Bedeutung slavischer Gewässernamen für die Ethnogenese der Slaven // ZSLPh. 1985. V. 45.
 13. *Specht F.* Der Ursprung der indogermanischen Deklination. Göttingen, 1944—1947.
 14. *Thieme P.* Die Heimat der indogermanischen Gemeinsprache. Wiesbaden, 1953.
 15. *Birnbaum H.* Jeszcze raz o praojczyźnie Słowian // Slawistyczne studia językoznawcze. Festschrift F. Sławski. Wrocław, 1987.
 16. *Birnbaum H.* Die Karpaten als Faktor in der Entstehung, Entwicklung und Verbreitung des Slawischen // Kultur- und Sprachkontakte des Slawischen. Festschrift V. de Vincenz.
 17. *Novák L.* Vznik Slovanov a ich jazyka (Základy etnogenézy Slovanov) // Slavica Slovaca. 1984. V. 19.
 18. *Novák L.* Slovenské a podkarpatoruské nárečia vo svetle európskej fonetickej geografie. Synchronické a diachronické poznámky k porovnávacej jazykovede stredoeurópskej // Linguistica Slovaca. 1939—1940. V. 1—2.
 19. *Birnbaum H.* Balkanslavisch und Südslavisch: Zur Reichweite der Balkanismen im südslavischen Sprachraum // Zeitschrift für Balkanologie. 1965. Bd. 3. S. 15—17.
 20. *Бирнбаум Х.* Славянские языки на Балканах и понятие так называемых языковых союзов // Glossa. 1968. V. 2. P. 71—72, 89—90.
 21. *Birnbaum H.* Typology, genealogy, and linguistic universals // Linguistics. 1975. V. 144. P. 12.
 22. *Birnbaum H.* // Studies in language. 1981. V. 5. P. 403—404. Rec.: *Solta G. R.* Einführung in die Balkanlinguistik mit besonderer Berücksichtigung des Substrats und des Balkanlateinischen.
 23. *Birnbaum H.* Tiefen- und Oberflächenstrukturen balkanlinguistischer Erscheinungen // Ziele und Wege der Balkanlinguistik / Hrsg. von Reiter N. Berlin-Wiesbaden, 1983. S. 45—46.
 24. *Wijk N. van.* Zum urslavischen sogenannten Synharmonismus der Silben // Linguistica Slovaca. 1941. V. 3.
 25. *Журавлев В. К.* Наука о праславянском языке: Эволюция идей, понятий и методов // *Бирнбаум Х.* Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции / Под ред. Дыбо В. А., Журавлева В. К. М., 1987. с. 482—484.
 26. *Lunt H. G.* Slavs, Common Slavic, and Old Church Slavonic // Litterae Slavicae mediae aevii. Festschrift F. V. Mareš / Ed. by Reinhart J. München, 1985. P. 203.
 27. *Lunt H. G.* On Common Slavic // Zbornik Matice srpske za filologiju i linguistiku. Festschrift M. and P. Ivic. 1984—1986. V. 27—28. P. 420.
 28. *Топоров В. Н., Трубачев О. Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.
 29. *Fine J. V. A., Jr.* The early medieval Balkans: A critical survey from the sixth to the late twelfth century. Ann Arbor, 1983. P. 29—113.
 30. *Schenker A. M.* Were the Slavs in Central Europe before the Great Migrations? // International journal of Slavic linguistics and poetics. 1985. V. 31—32 (= Slavic linguistics, poetics, cultural history. Festschrift H. Birnbaum / Ed. Flier M. S. and Worth D. S.).
 31. *Rostański J.* O pierwotnych siedzibach gospodarstwie Słowian w przedhistorycznych czasach // Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. 1908. V. 13/3.
 32. *Birnbaum H.* Indo-Europeans between the Baltic and the Black Sea // The journal of Indo-European studies. 1984. V. 12. P. 236—242.
 33. *Gimbutas M.* Gintaro keltai priešistoriniais laikais // Aidai. 1953. V. 6(62).
 34. *Gimbutas M.* Die Balten. Volk im Ostseeraum. München, 1983.
 35. *Gimbutas M.* East Baltic amber in the fourth and third millennia B. C. // Journal of Baltic studies. 1985. V. 16.
 36. *Gimbutas M.* Studies in Baltic amber // Quarterly review of archaeology. 1986. V. 7.
 37. *Udolph J.* Der Name der Warta / Warthe und die germanisch-slavischen Beziehungen // Etnolingwistyczne i kulturowe związki Słowian z Germanami. Wrocław, 1987.
 38. *Birnbaum H.* The original homeland of the Slavs and the problem of early Slavic linguistic contacts // The journal of Indo-European studies. 1973. V. 1. № 4.
 39. *Kunstmann H.* Woher die Russen ihren Namen haben // Die Welt der Slaven. 1986.
 40. *Wolfram H.* Geschichte der Goten. Von den Anfängen bis zur Mitte des sechsten Jahrhunderts. Entwurf einer historischen Ethnografie. München, 1979. S. 280—281 und Anm. 39; S. 325—326 und Anm., 18; S. 450.
 41. *Hzarnecki J.* The Goths in Ancient Poland. Coral Gables (Florida), 1975.
 42. *Eerrmann J.* Einwanderung und Herkunft der Stammesgruppen // Die Slawen in Deutschland. Ein Handbuch. Neuauflage / Ed. by Herrmann J. Berlin, 1985. S. 26—27.

43. *Kunstmann H.* Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nord- und Mitteleuropas mit Balkanslawen. München, 1937.
44. *Birnbaum H.* Noch einmal zu den slavischen Milingen auf der Peloponnes // Festschrift für Herbert Bräuer zum 65. Geburtstag / Ed. by Olesch R. and Rothe H. Köln-Wien, 1986.
45. *Stieber Z.* O nazwie wsi Mładz pod Warszawą // Wiener Slavistisches Jahrbuch.
46. *Birnbaum H.* О двух основных направлениях в языковом развитии // ВЯ. 1985.
47. *Birnbaum H.* Divergence and convergence in linguistic evolution // Papers from the 6-th International conference on historical linguistics / Ed. by Fisiak J. Amsterdam — Poznań, 1985. P. 7—10.
48. *Горюнов В. В.* Из предистории образования общеславянского языкового единства // V Международный съезд славистов: Доклады советской делегации. София, сентябрь 1963 г. М., 1963.
49. *Журавлев В. К.* Еще раз о предмете, целях и задачах науки о праславянском языке // Язык и человек. Сборник памяти П. С. Кузнецова. М., 1970.
50. *Trubetzkoy N. S.* Gedanken über das Indogermanenproblem // Acta linguistica. 1939. V. 1. (= Die Urheimat der Indogermanen. Darmstadt, 1968).
51. *Baudouin de Courtenay H. A.* О смешанном характере всех языков // ЖМНП. 1901. Т. 337. (On the mixed character of all languages // A Baudouin de Courtenay Anthology: The beginnings of structural linguistics. Bloomington — London, 1972).
52. *Martinet A.* Des steppes aux océans. L'indo-européen et les «indo-européens». P., 1986. P. 20.
53. *Kunstmann H.* Was besagt der Name Samo, und wo liegt Wogastisburg? // Die Welt der Slaven. 1979. V. 24.
54. *Kunstmann H.* Samo, Dervanus und der Slovenenfürst Wallucus // Die Welt der Slaven. 1980. V. 25.
55. *Kunstmann H.* Wo lag das Zentrum von Samos Reich? // Die Welt der Slaven. 1981.
56. *Gimbutas M.* Primary and secondary homeland of the Indo-Europeans: Comments on the Gamkrelidze — Ivanov articles // The journal of Indo-European studies. 1985.
57. *Lehmann W. P.* Proto-Indo-European syntax. Austin — London, 1974. P. 251.
58. *Lehmann W. P.* Linguistic and archaeological data for handbooks of Proto-Languages // Proto-Indo-European: The archaeology of a linguistic problem. Studies in honor of Marija Gimbutas. / Ed. by Skomal S. N. and Polomé E. Washington, D. C., 1987.
59. *Gimbutas M.* Remarks on the ethnogenesis of the Indo-Europeans in Europe // Ethnogenesis europäischer Völker / Ed. by Bernhard W. and Kandler-Pálsson A. Stuttgart — New York, 1986. P. 5—20.
60. *Gimbutas M.* An archaeologist's view of PIE in 1975 // The journal of Indo-European studies. 1974. V. 2.
61. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Древняя Передняя Азия и индоевропейская проблема. Временные и ареальные характеристики общиндоевропейского языка по лингвистическим и культурно-историческим данным // ВДИ. 1980. № 3. (= The ancient Near East and the Indo-European question: Temporal and territorial characteristics of Proto-Indo-European based on linguistic and historico-cultural data // The journal of Indo-European studies. 1985. V. 13.
62. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Миграции племен — носителей индоевропейских диалектов — с первоначальной территории расселения на Ближнем Востоке в исторические места их обитания в Евразии // ВДИ. 1981. № 2. (= The migrations of tribes speaking the Indo-European dialects from their original homeland in the Near East to their historical habitations in Eurasia // The journal of Indo-European studies. 1985. V. 13.
63. *Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V.* The problem of the original homeland of the speakers of Indo-European languages (in response to I. M. Diakonoff's articles...) // The journal of Indo-European studies. 1985. V. 13.
64. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. I—II. Тбилиси, 1984.
65. *Renfrew C.* Archaeology and language: The puzzle of Indo-European origins. L., 1987. P. 266, 272, 288.
66. *Birnbaum H.* Pre-Greek Indo-Europeans in the Southern Balkans and the Aegean // The journal of Indo-European studies. 1974. V. 2. № 4.
67. *Дьяконов И. М.* О прародине носителей индоевропейских диалектов // ВДИ. 1982. № 3. (= On the original home of the speakers of Indo-European // The journal of Indo-European studies. 1985. V. 13).
68. *Mayczak W.* Le problème de l'habitat primitif des indoeuropéens // Folia linguistica historica. 1984. V. 5.

БОМХАРД А. Р.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРАСЕМИТСКОЙ СИСТЕМЫ СОГЛАСНЫХ

1.0. Введение. За последние два десятилетия в области афразийского сравнительно-исторического языкознания были достигнуты огромные успехи. Особенно это касается кушитских языков (из наиболее важных работ, посвященных им, можно указать на исследование Долгопольского [1], заложившее прочную основу для последующего прогресса, на реконструкцию правосточнокушитского консонантизма [2] и этимологический словарь бурджи [3], подготовленные Зассе, а также на детальную реконструкцию южнокушитской фонологии и словаря, выполненную Эретом [4] и чадских языков, где важные результаты, среди прочих, были получены Ньюменом и Юнграйтмайром.

Располагая всем тем материалом по несемитским ветвям афразийской семьи, который стал доступен за последнее время, можно удивиться упорству, с которым многие семитологи продолжают цепляться за реконструкции почти столетней давности, сделанные к тому же на основе одних лишь семитских данных. Ясно, что эта работа нуждается в пересмотре в свете новых материалов по несемитским ветвям. В особенности это верно по отношению к фонологии, так как именно традиционная реконструкция прасемитской фонологической системы никак не может быть сохранена, — даже если ограничиться фактами одних лишь семитских языков!

Целью этой статьи является пересмотр прасемитской системы согласных в свете данных несемитских ветвей афразийских языков, а также в свете последних достижений фонологической теории, расширивших наши представления о звуковых изменениях. Система согласных, устанавливаемая в результате такого пересмотра, оказывается весьма сходной с реконструкциями, предложенными более тридцати лет назад Кантино [5] и Мартине [6, с. 248—261].

2.0. Традиционная реконструкция. Традиционная реконструкция прасемитской системы согласных выглядит следующим образом:

	Смычные	Фрика- тивы	Лате- [ральные]	Латерали- [зованные]	Дрожа- щий	Носовые
Билабиальные	<i>p, b</i>					<i>m</i>
Интердентальные		<i>t, d, t̥</i>		<i>ʃ</i>		
Дентальные	<i>t, d, t̥</i>	<i>s, z, s̥</i>	<i>l</i>	<i>ʃ</i>	<i>r</i>	<i>n</i>
Палатоальвеолярный		<i>ʃ</i>				
Велярные	<i>k, g, q</i>	<i>ʁ, ʁ̥</i>				
Фарингальные		<i>ħ, ħ̥</i>				
Ларингальные		<i>h</i>				

В таком виде реконструкция прасемитского консонантизма представлена во всех стандартных руководствах, включая [7, с. 3—6; 8, I, с. 42—44; 9, с. 8—30; 10, § 8.3; 11, с. 29—30; 12]. Даже в работах, учитываю-

щих афразийское родство, приведенная система — лишь с немногими модификациями — рассматривалась как отражающая систему консонантизма афразийского праязыка (см. у Коэна [13, с. 68; 14], Дьяконова [15, с. 18—29] и Ходжа [16]). Следует, однако, отметить, что Дьяконов в настоящее время подготавливает переработанное издание своего обзора афразийской сравнительной грамматики 1965 г. (под названием «Афразийские языки»), в котором учитываются результаты последнего времени. Группа советских исследователей, возглавляемая Дьяконовым, подготавливает, кроме того, афразийский этимологический словарь (который называется «Опыт сравнительно-исторического словаря афразийских языков»).

3.0. Эмфатические согласные. Одной из наиболее примечательных особенностей семитского консонантизма является система троичных групп в дентальном, межзубном, свистящем и веларном рядах. В каждом из этих рядов имеется по три члена — глухой (придыхательный), звонкий и так называемый «эмфатический». Билабиальный ряд дефектен в этом отношении, так как в нем отсутствует эмфатический член. В то время как среди семитологов практически нет разногласий по поводу фонетической природы первых двух приемов, фонетическая реализация эмфатических согласных на прасемитском уровне является предметом дискуссии.

В семитских языках эмфатические согласные выступают в трех различных реализациях: (1) в арабском эмфатические описываются то как увуляризованные [17], то как фарингализованные согласные [17; 18, с. 44—58, 19]; (2) в современных южноаравийских [20, с. 6—7, § 2.1.2] и эфиосемитских [10, с. 23—24, § 8.2] языках и в некоторых восточных новоарамейских диалектах (таких, как, например, урмийский несторианский новоарамейский и курдистанский еврейский новоарамейский) эмфатические являются глоттализированными. В урмийском несторианском новоарамейском глоттализация слаба; (3) наконец, в некоторых других новоарамейских диалектах (таких, например, как диалект Тур-Абдин^а), эмфатические реализуются как непрдыхательные глухие смычные. Тем самым неэмфатические глухие смычные отличаются от эмфатических наличием признака придыхательности (см. [21]).

По косвенным данным можно заключить, что эмфатические согласные были глоттализированными также в аккадском, древнееврейском и старом арамейском: (1) В аккадском, если два эмфатических встречались в корне, один из них заменялся соответствующим глухим неэмфатическим (закон Гирса), т. е. $t \sim k/s \rightarrow t \sim k/s$; $k \sim s \rightarrow k \sim s$; $k \sim t \rightarrow k \sim t$, см. [22]. Между тем в языках, имеющих эйективные согласные, широко распространен запрет на сочетание в корне двух эйективных [23, с. 160—161]. Если предположить, что аккадские эмфатические были эйективными, то закон Гирса совершенно естественно объясняется как проявление этого запрета. (2) Фарингализация совместима со звонкостью, а глоттализация — нет, см. [24, с. 125—127, § 2.2]. Так, арабский язык располагает как звонкими, так и глухими эмфатическими, см. [18, с. 44—58; 25]. Однако в древнееврейском и арамейском эмфатические не могут быть звонкими [5, с. 93; 10, с. 23—24], и то же, скорее всего, верно для аккадского и угаритского. (3) Фарингализация всегда вызывает смещение назад по ряду (backing) соседних гласных [26, 27]. Такое смещение иногда наблюдается и под воздействием глоттализации. И в самом деле, во всех упомянутых выше современных новоарамейских диалектах гласные всегда смещаются назад в позиции после эмфатических согласных независимо

от того, как эти согласные реализуются. Однако если фарингализации обязательно сопутствует смещение назад соседних гласных, то при глоттализации оно факультативно. Поэтому, так как эмфатические согласные в арабском фарингализованы, соседние гласные всегда сдвинуты назад [18, с. 23—24; 5, с. 92; 28, с. 237]. Никакого смещения не наблюдается ни в аккадском, ни в древнееврейском [5, с. 93; 27, с. 237—238; 10, с. 23—24].

Как Гринберг [24, с. 127], так и Мартине [6, с. 251] указывали, что в языке с эйективными согласными обычно отсутствует билабиальный член, см. также [29, 30]. Между тем как раз крайне маловероятно, что в прасемитском имелся билабиальный эмфатический [5, с. 80—81; 10, с. 25]. Пробел в этом месте образования легко объяснить в том случае, если в прасемитском эмфатические были эйективными.

Вся совокупность свидетельств почти не оставляет сомнений в том, что эмфатические были в прасемитском глоттализованными (эйективными), а не фарингализованными, как в арабском. Этот вывод был сделан, в частности, также Бергштрессером [7, с. 5], Кантино [5, с. 91—94], Мартино [28, с. 238; 6, с. 250—252] и Штейнером [31, с. 155]. По Долгопольскому [21], арабские фарингализованные эмфатические могли восходить к первоначальному эйективным посредством следующих ступеней:

1. Ранний арабский наследовал троичное противопоставление семитского праязыка: глухой (придыхательный) ~ звонкий ~ глоттализованный.

2. Вначале произошло смещение назад гласных, следующих за эмфатическими согласными (то же произошло и в арамейском).

3. Далее глоттализация стала ослабевать и постепенно исчезла, после чего неэмфатические глухие согласные стали отличаться от эмфатических как наличием признака придыхательности, так и тем, что происходило смещение гласных, следующих за эмфатическими, но не гласных, следующих за неэмфатическими (эта ступень засвидетельствована в новоарамейском диалекте Тūr-'Абдйн'а).

4. Наконец, придыхательность была утеряна, и эмфатические стали отличаться от неэмфатических глухих согласных только смещением назад (фарингализация).

Данные других ветвей афразийских языков говорят в пользу точки зрения, согласно которой эмфатические были эйективными не только в прасемитском, но и в праафразийском.

3.1. Египетский язык. В древнеегипетском языке большинство эмфатических согласных было утеряно [32, с. 43]; сохранился в виде отдельной фонемы лишь эмфатический веллярный, отразившись в виде глухого поствеллярного смычного /q/. Остальные эмфатические, по-видимому, совпали с непридыхательными (первоначально звонкими) согласными. Развитие, по-видимому, протекало следующим образом:

1. Ранний египетский унаследовал из праафразийского троичную оппозицию: глухой придыхательный ~ звонкий ~ глоттализованный.

2. Вначале эйективные (кроме *k') перешли в звонкие согласные следующим путем: глоттализованный → смычный скрипучей фонации (scoaky voice) → смычный нейтральной фонации (full voice). Подобное развитие засвидетельствовано в некоторых кавказских языках [33; 34, с. 154] и могло, кроме того, иметь место в ранней предьстории некоторых индоевропейских языков (кроме анатолийского), см. [35, с. 26—31], если только — что кажется достоверным — Гамкрелидзе и Иванов [36, 34], а так-

же Хошпер [23] правы в своей реинтерпретации традиционных индоевропейских простых звонких смычных как эйективных. Параллели могут быть также найдены в современных южноаравийских языках, где, по Джонстону [20, § 2.1.2], «у постглоттализованных (эйективных) согласных имеются частично озвоченные и реже — полностью звонкие варианты». Нетрудно понять, почему сохранилось *k', — заднеязычная артикуляция является для эйективных немаркированным местом образования, см. [24, § 2.3].

3. Далее звонкие согласные перешли в непродыхательные глухие, см. [32, с. 43]:

$*b, *d, *g \rightarrow p, t, k.$

4. Наконец, *k' перешло в q.

Несмотря на то, что в древнеегипетском отсутствовал класс эмфатических согласных, внутреннее развитие этой серии в египетском лучше всего может быть объяснено, если предположить первоначальное наличие эйективных.

3.2. **Берберские языки.** В современных берберских языках эмфатические фарингализованы, как и в арабском, см. [37, с. 1308; 38], причем имеются как звонкие, так и глухие эмфатические. Можно предполагать, что фарингализованные эмфатические в берберском представляют результат вторичного развития. Несомненно, берберские эмфатические развивались в значительной мере подобно эмфатическим в арабском (см. выше).

3.3. **Чадские языки.** Из современных чадских языков, например, ангас, дангалеат, га'анда, хиги, марги, тера и сайанчи в качестве соответствий семитским эмфатическим обнаруживают имплозивные, в то время как хауса — имплозивные в билабиальном и дентальном рядах, но в сибилантном и велярном — эйективные [37, с. 1308]. По Ньюмену [39, с. 9, § 2.1], серия имплозивных может быть реконструирована в прачадском. Мартине [40] утверждает, что эйективные могут перейти в имплозивные путем прогрессивного воздействия на тембр следующего гласного:

$p' t' k' \rightarrow \text{б а г}$

Если следовать Мартине, что мне кажется оправданным, то чадские имплозивные могут быть возведены к первоначальному эйективному.

3.4. **Кушитские и омотские языки.** Кушитские и омотские языки представляют наиболее серьезные свидетельства в пользу интерпретации праафразийских эмфатических согласных как эйективных. В кушитских языках аунги и галаб нет ни имплозивных, ни эйективных, так что они могут не приниматься во внимание как не отражающие первоначальной картины. Из остальных кушитских языков в беджа есть только ретрофлексный имплозивный /d/; в оромо — ретрофлексный имплозивный /d/ и эйективные /p', t', t͡ʃ', k'/; в билин — эйективные /t', t͡ʃ', k'/; в сомали — ретрофлексный дентальный /d/ (из */d/) и глухой поствелярный /q/ (из */k'/); в иракв — эйективная аффриката /ts'/ (и маргинальные /s/ и /d/). Из современных омотских языков в кефа есть эйективные /t'/ и /t͡ʃ'/, в валамо — эйективные /p', t', t͡ʃ', s', k', s'/. Они хорошо соответствуют семитским эмфатическим.

Для правосточнокушитского Зассе [2, с. 5] реконструирует *d, *d₁ и *k', в то время как Эрет [4, с. 36—37] реконструирует *p', *t', *t', *t͡ʃ', *t͡ʃ', *k' и *k'ʷ для праюжнокушитского.

4.0. **Билабиальные, дентальные и велярные смычные.** Соответствия между семитскими языками в области билабиальных, дентальных и ве-

лярных смычных полностью тривиальны, и, следовательно, не подлежит сомнению, что для прасемитского должны быть реконструированы **p*, **b*; **t*, **d*, **t'*; **k*, **g*, **k'*.

Следует отметить, что глухие смычные, возможно, были глухими придыхательными (т. е. */p^h/, */t^h/, */k^h/), как в прасемитском, см. [5, с. 90—91; 6, с. 250], так и в праафразийском, см. [37, с. 1303].

Дьяконов [15, с. 20] реконструирует в прасемитском эмфатический билабиальный, который он обозначает как **p̣*. Однако, как он сам признает, свидетельства в пользу наличия этого звука крайне слабы. Лучше всего согласиться с Кантино [5, с. 80—81] и Москати [10, § 8.7] в том, что эмфатический билабиальный не следует реконструировать в прасемитском. Есть, однако, некоторые указания на то, что глоттализированный билабиальный смычный существовал в праафразийском. Несомненно, что этот звук характеризовался крайне низкой частотой употребления.

В древнееврейском и арамейском /*p*/, /*b*/, /*t*/, /*d*/, /*k*/ и /*g*/ имели нефонологические аллофоны /*f*/, /*v*/, /*θ*/, /*ð*/, /*χ*/ и /*γ*/ соответственно, см. [10, § 8.10].

В арабском, эпиграфическом южноаравийском (ЭЮА) и эфиопском ПС **p* перешел в *f*, см. [10, § 8.6]. ПС **g* перешло в *g* в классическом арабском [10, § 8.42], хотя в некоторых диалектах оно сохранилось неизменным, см. [28, с. 243—245].

Соответствия в семитском¹:

ПС	Акад.	Угарит.	Др.-евр.	Арам	Араб.	ЭЮА	Эфиоп.
* <i>p</i> * <i>b</i>	<i>p</i> <i>b</i>	<i>p</i> <i>b</i>	<i>p</i> <i>b</i>	<i>p</i> <i>b</i>	<i>f</i> <i>b</i>	<i>f</i> <i>b</i>	<i>f</i> <i>b</i>
* <i>t</i> * <i>d</i> * <i>t'</i>	<i>t</i> <i>d</i> <i>t</i>	<i>t</i> <i>d</i> <i>t</i>	<i>t</i> <i>d</i> <i>t</i>	<i>t</i> <i>d</i> <i>t</i>	<i>t</i> <i>d</i> <i>t</i>	<i>t</i> <i>d</i> <i>t</i>	<i>t</i> <i>d</i> <i>t</i>
* <i>k</i> * <i>g</i> * <i>k'</i>	<i>k</i> <i>g</i> <i>k</i>	<i>k</i> <i>g</i> <i>k</i>	<i>k</i> <i>g</i> <i>k</i>	<i>k</i> <i>g</i> <i>k</i>	<i>k</i> <i>g</i> <i>k</i>	<i>k</i> <i>g</i> <i>k</i>	<i>k</i> <i>g</i> <i>k</i>

Данные из несемитских афразийских языков также вполне тривиальны и полностью поддерживают допущение о наличии как в прасемитском, так и в праафразийском билабиальных **p* и **b*, дентальных **t*, **d* и **t'* и веларных **k*, **g* и **k'*.

По Гринбергу [41, 42], в праафразийском следует реконструировать еще два лабиальных — **f* и **ṃb*. Хотя Гринберг привел убедительные свидетельства в пользу **f*, отдельного от **p*, его теория относительно **ṃb* неубедительна и была успешно опровергнута Иллич-Свитычем [43]; Иллич-Свитыч полагает, что **ṃb* содержит преф. **m*-.

Вторичная палатализация дентальных перед гласными переднего ряда — широко распространенное явление, особенно типичное для эфиосемитских и чадских языков. В афразийских языках как вторичная палатализация, так и тенденции к фрикативному произношению являются широко распространенными процессами в веларном ряду.

¹ Для каждого языка используется традиционная транскрипция.

В некоторых случаях гуттуральные в кушитской ветви соответствуют сибиллянтам в семитских языках и аффрикатам в египетском, см. [32, с. 44]. Эти примеры могут быть интерпретированы с помощью реконструкции в праафразийской серии палатализованных велярных: $*k^y$, $*g^y$ и $*k^y$. В прасемитском эта серия дала дентальные аффрикаты — соответственно $*ts$, $*dz$ и $*ts'$. Эти новообразованные дентальные аффрикаты затем полностью совпали с ранее существовавшими дентальными аффрикатами, и последующее развитие этих двух серий было идентичным. В египетском, с другой стороны, палатализованные велярные совпали с палатализованными альвеолярными. Наконец, в кушитском палатализованные велярные совпали с простыми велярными.

Кроме соответствий, которые делают весьма вероятным наличие в праафразийском как простых, так и палатализованных велярных, имеются также и другие соответствия, которые указывают на существование в праафразийском ряда лабиовелярных, см. [37, с. 1303; 13, с. 129—130]: $*k^w$, $*g^w$ и $*k^w$. Хотя лабиовелярные были утеряны в семитской ветви, совпав с простыми велярными, их наличие в прошлом может быть подтверждено тем фактом, что в первичных именных основах они, так же, как и губные, вызывали сужение, смещение назад и огубление первоначального $*ə$ в $*u$, см. [44; 45, с. 135, 141]: $*k^wə$, $*g^wə$, $*k^wə \rightarrow *ku$, $*gu$, $*k'u$. Лабиовелярные сохранились в праэтнокушитском, см. [4, с. 23—36] и прачадском [39, с. 11].

Афразийские соответствия:

ПАА	Прасемит.	Др.-егип. ¹	Бербер.	Правост.-куш.	Праэтно.-куш.	Прачад.
$*p$ $*b$ $*p'$ $*f$	$*p$ $*b$ $*b$ $*p$	p b b f	f b $?$ f	$*f$ $*b$ $?$ $*f$	$*p$ $*b$ $*p'$ $*f$	$*p$ $*b$ $*p$ $*f$
$*t$ $*d$ $*t'$	$*t$ $*d$ $*t'$	t d d	t d t, d	$*t$ $*d$ $*d$	$*t, *t'$ d $*d, *t'$	$*t$ $*d$ $*d$
$*k$ $*g$ $*k'$	$*k$ $*g$ $*k'$	k, t^2 g, d^2 q	k g, γ γ, k	$*k$ $*g$ $*k'$	$*k$ $*g$ $*k'$	$*k, *k^y$ $*g, *g^y$ $*j$
$*k^y$ $*g^y$ $*k^y$	$*ts$ $*dz$ $*ts'$	t d d	t d t, d	$*k$ $*g$ $*k'$	$*k$ $*g$ $*k'$	$*c (?)$ $*j (?)$ $*l (?)$
$*k^w$ $*g^w$ $*k^w$	$*k$ $*g$ $*k'$	k g q	k g, γ γ, k	$*k$ $*g$ $*k'$	$*k^w$ $*g^w$ $*k^w$	$*k^w$ $*g^w$ $?$

¹ Древнеегипетский записан в традиционной транскрипции. Отметим, однако, что фонемы, традиционно транскрибируемые как b, d, g и q , возможно, были глухими непридыхательными согласными $/p, t, ts, k$ и $/q/$ соответственно, в то время как f и g , транскрибируемые как p, t, t' и k , возможно, были глухими придыхательными согласными $/p^h, t^h, ts^h$ и $k^h/$ соответственно, (см. [46; 32, с. 43]).

² В египетском k и g перешли в t и d соответственно перед $/i/$ и $/u/$, см. [15, с. 28, примеч. 11].

Примеры на внутрисемитские соотношения читатель может найти в стандартных руководствах, в особенности у Бергштрессера [7] и Грея [9], хотя прасемитские реконструкции, предложенные Греем, представляются спорными.

Межафразийские примеры см. у Бомхарда [35, с. 133—174, 188—284]. Основополагающее исследование Марселя Козна [13], хотя и сейчас сохраняет ценность, особенно благодаря своей библиографии, не отражает современного состояния исследований в этой области. Исключительную ценность должен представлять сравнительно-исторический словарь, который подготавливается группой советских ученых, возглавляемой И. М. Дьяковым.

5.0. Дентальные аффрикаты. Соответствия между семитскими языками, по-видимому, показывают, что в прасемитском должен быть восстановлен ряд сибилантов, и, действительно, в стандартных руководствах мы находим сибиланты, см. [7, с. 4; 8, I, с. 128—136; 9, с. 8; 10, с. 33—37; 11, с. 53—62; 47]. Есть, однако, некоторые указания на то, что этот ряд первоначально состоял из дентальных аффрикат **ts*, **dz* и **ts'*, см. [13, с. 141, 143, 145; 15, с. 20—21; 48, 49; 6, с. 253—254; 50]. Это не означает, что исключено независимое существование сибилантов в семитском языке. Напротив, наряду с дентальными аффрикатами в прасемитском также могли быть, по крайней мере, сибиланты **s* и **š*.

Соответствия в семитском:

ПС	Аkkад.	Угарит.	Др.-евр.	Арам.	Араб	ЭЮА	Эфиоп
<i>*ts</i>	s	s	s	s	s	s ³	s
<i>*dz</i>	z	z	z	z	z	z	z
<i>*ts'</i>	š	š	š	š	s	š	s

Основное свидетельство в пользу дентальных аффрикат обнаруживается в древнееврейском и аккадском, см. [15, с. 20—21]. Во-первых, эмфатический сибилант /s/ традиционно произносится в еврейском как дентальная аффриката, и, как заметил Кантино [5, с. 83], такое произношение не есть результат позднейшего или вторичного развития. Далее известно, что хеттское клинописное слоговое письмо было заимствовано в начале второго тысячелетия до н. э. непосредственно из той формы староаккадского, которой тогда пользовались в Северной Сирии, см. [51], а не из хурритского, как думали раньше, см. [52, § 5]. Хеттский силлабарий содержит знаки, которые транслитерируются через z, но которые в действительности отражают дентальную аффрикату /ts/, см. [52, § 25]. Это, по-видимому, указывает на аффрикатное произношение <z> в староаккадском, см. [6, с. 254]. Заслуживает упоминания также тот факт, что хеттский использовал клинописные знаки, содержащие š, для обозначения /s/, см. [52, § 50]. Поскольку аккадский клинописный силлабарий содержал знаки, традиционно транслитерируемые как s, наряду с такими, которые транслитерируются как š, мы должны заключить, что хетты выбрали последние, потому что они более подходили для их сибиланта, чем первые. Рискнем высказать догадку, что хетты избрали š-знаки, потому что в то время, когда они воспринимали клинописную систему письма, s-зна-

ки в аккадском обозначали аффрикаты. Это заключение поддерживается данными хурритского, где, по Дьяконову [15, с. 21], клинописные знаки с <z> и <s> употребляются для обозначения аффрикат.

Дополнительное свидетельство в пользу аффрикатного произношения обнаруживается в египетском материале, датируемом вторым тысячелетием до н. э. В транскрипции семитских слов и имен египетский очень последовательно использует \underline{t} вм. s и \underline{d} вм. z и s в семитских словах (примеры см. в [53]).

Наконец, Кантино [5, с. 83] и Коэн [13, с. 145] кратко упоминают о том, что рефлекс ПС * \underline{ts} ' (традиционно — * \underline{s}) в семитских языках Эфиопии обычно произносится как аффриката или дентальный смычный.

В других афразийских ветвях прасемитским * \underline{ts} , * \underline{dz} и * \underline{ts} ' соответствуют сибиллянты, аффрикаты и дентальные, см. [13, с. 141—147; 15, с. 26]. Изменения, обнаруживаемые во всех афразийских языках, лучше всего объясняются при реконструкции в праафразийском ряду дентальных аффрикат, см. [37, с. 1304]. Можно заметить, что этот ряд хорошо сохранился в южнокушитском и что он даже сохранился до сих пор неизменным в дахало, см. [4, с. 33]. Наконец, следует упомянуть о том, что во всех афразийских ветвях аффрикаты возникли также и в результате вторичных изменений.

Соответствия в афразийском:

ПАА	ПС	Др.-егип.	Бербер.	Правост.-куш.	Праяжн.-куш.	Прачад.
* \underline{ts}	* \underline{ts}	s	s (?)	*s	* \underline{ts}	*s
* \underline{dz}	* \underline{dz}	z	z (?)	*z	* \underline{dz}	*z
* \underline{ts}'	* \underline{ts}'	\underline{d}	s, z (?)	* \underline{d}_1	* \underline{ts}'	* $\underline{d}(\?)$

6.0. Палатализованные альвеолярные.

Соответствия в семитском:

ПС	Аккад.	Угарит.	Др.-евр.	Арам.	Араб.	ЭЮА	Эфиоп.
* \underline{t}^v	\check{s}	\underline{t}	\check{s}	t	\underline{t}	\underline{t}	s
* \underline{d}^v	z	\underline{d}	z	d	\underline{d}	\underline{d}	z
* \underline{t}'^v	s	\underline{t}'	s	t'	\underline{t}'	\underline{t}'	s

Москати [10, с. 27—30] реконструирует для прасемитского интердентальные (МФА [θ], [ð] и [θ']¹) на базе арабских рефлексов, и ту же реконструкцию можно найти во всех стандартных руководствах. Кантино [5, с. 81—82], однако, реконструирует «апикальные с опущенным кончиком языка». Он замечает: «Трудно решить, идет ли речь, начиная с семитского, о подлинных спирантах или об аффрикатах со смычной экскурсией и спирантным исходом». Наконец, Коэн [37, с. 1304] и Мартине [6, с. 257—258] реконструировали палатальные, которые Мартине обозначает как * \underline{t}^c , * \underline{d} и * \underline{t}' . Реконструкция Мартине, в основе которой лежат не только данные семитских языков, но и обширные познания автора в области общей фонологии и, в частности, в вопросе о том, как фонемы изменяются с течением времени, — познания, основанные на изучении широкого круга языков различ-

ных семей, очевидно, ближе всего подходит к истине: фонетические изменения, обнаруживаемые в семитских языках, лучше всего объяснимы при реконструкции в прасемитском ряду палатализованных альвеолярных смыхных: $*t^v$, $*d^v$, и $*t^v$.

Этот ряд мог сохраниться в наиболее раннем аккадском. По Гельбу [54, с. 35—39], ст.-акк. \check{s}_3 соответствует др.-евр. \check{s} и араб. \check{t} (из ПС $*t^v$, традиционно — $*\check{t}$), в то время как \check{s}_4 может соответствовать др.-евр. z и араб. \check{d} (из ПС $*d^v$, традиционно — $*\check{d}$). \check{s}_3 и \check{s}_4 отличаются от \check{s}_1 и \check{s}_2 , которые представляют ПС $*\check{s}$ и $*\check{t}a$ (традиционно — $*\check{s}$) соответственно, см. [54, с. 35]. См. также [15, с. 21, примеч. 25].

В других ветвях афразийского ПС $*t^v$, $*d^v$ и $*t^v$, соответствуют палатоальвеолярные аффрикаты, дентальные и палатализованные альвеолярные смычные. Совокупность свидетельств почти не оставляет сомнений в том, что ряд палатализованных альвеолярных смыхных должен быть реконструирован в праафразийском, см. [37, с. 1304].

Соответствия в афразийском:

ПАА	ПС	Др.-егип.	Бербер.	Правост.-куш.	Праюжн.-куш.	Прачад.
$*t^v$	$*t^v$	\check{t}	t	$*t$	$*t^v$	$*c(?)$
$*d^v$	$*d^v$	\check{d}	d	$*d$	$*d^v$	$*l(?)$
$*t^v$	$*t^v$	\check{d}	\check{s}, \check{t}	$*d_1$	$*t^v$	$*j(?)$

7.0. Сибиланты. В последнее время семитские сибиланты вызвали в литературе оживленную дискуссию, см. в особенности [55, 49, 56]. Хотя в позициях семитологов есть много точек соприкосновения, по вопросу о числе сибилантов, реконструируемых в прасемитском, единого мнения нет. Сибиланты остаются одной из самых запутанных проблем в семитской сравнительно-исторической фонологии.

Согласно традиционной реконструкции, в прасемитском предполагается наличие следующих сибилантов, см. [10, с. 33—37]: $*s$, $*z$, $*\check{s}$, $*\check{s}$ и $*\check{s}$, к которым Дьяконов [15, с. 21] добавляет $*\check{s}$. Сейчас кажется вполне очевидным, что традиционное $*s$ должно быть частично, а $*z$ и $*\check{s}$ — полностью реинтерпретированы на прасемитском уровне как дентальные аффрикаты $*ts$, $*dz$ и $*t\check{s}$ соответственно (см. выше 5.0). Далее, вслед за Мартине [6, с. 253], $*\check{s}$ следует реинтерпретировать как глухую латерализованную аффрикату $*t\check{s}$ (см. также [31]). Наконец, $*\check{s}$, предложенное Дьяконовым, не получило достаточной поддержки со стороны других семитологов. Таким образом, из традиционно реконструируемых сибилантов только $*s$ и $*\check{s}$ могут быть сохранены в первоначальном виде.

Соответствия в семитском:

ПС	Аккад.	Угарит.	Др.-евр.	Арам.	Араб.	ЭЮА	Эфиоп.
$*s$	s	s	s	s	s	s^3	s
$*\check{s}$	\check{s}	\check{s}	\check{s}	\check{s}	s	s^1	s

Определенные соответствия между семитским и другими афразийскими ветвями как будто указывают, что $*s$ и $*\check{s}$ могут быть реконструированы

также и в праафразийском. Есть, однако, другие соответствия, которые просто не укладываются в ожидаемые схемы.

Соответствия в афразийском:

ПАА	ПС	Др.-егип.	Бербер.	Правост.-куш.	Праюжн.-куш.	Прачад.
*s	*s	s	s	*s	*s	*s
*š	*š	š, s	s	*š (?)	*š (?)	*š

Праафразийское *š может быть результатом вторичного развития первоначального *s под действием палатализации: *s → *s^ʰ → *š.

8.0. Латерализованные аффрикаты.

Соответствия в семитском:

ПС	Аккад.	Угарит.	Др.-евр.	Арам.	Араб.	ЭЮА	Эфиоп.
*tš	š	š	š	s	š	s ²	š
*tš'	š	š	š	'	č	č	č

В современных южноаравийских языках есть фрикативные латеральные /a/ и /ɸ/, см. [20, § 2.1.3; 31, с. 20]. Глухой фрикативный латеральный /a/ соответствует сибилантам в других семитских языках. Однако в древнееврейском особый знак, образованный от буквы «шин» и транслитерируемый как š, появляется в тех словах, соответствия которым в южноаравийских языках содержат фрикативные латеральные, см. [10, § 8.29]. Благодаря свидетельству древнееврейского, наряду с данными южноаравийских языков, кажется правдоподобным, что в прасемитском имелась глухая латерализованная аффриката *tš, см. [6, с. 253]. Однако Кантино [5, с. 84—87] и Штейнер [31, с. 155—156] склонны скорее допустить в прасемитском наличие глухого фрикативного латерального *ɸ. Кантино [5, с. 86—87] особо замечает: «Из серий примеров, собранных различными авторами, несомненно следует, что древнееврейскому š и арабскому š соответствует в современном южноаравийском латерализованное s. Такое произношение имеет все шансы оказаться древним, поскольку невозможно представить, почему или как могло бы древнее s или š оказаться латерализованным, в то время как, напротив, очень хорошо можно представить, каким образом латерализованный свистящий или шипящий, потеряв эту труднопроизносимую (в особенности для чужеземца) латерализацию, превратился в обычный свистящий или шипящий».

Первоначальное произношение арабского звука, транслитерируемого как č, может быть определено по описаниям арабских грамматистов, см. [5, с. 84; 31, с. 57—67], и по данным заимствований в другие языки, см. [31, с. 68—91]. По всей вероятности, этот звук первоначально был звонким эмфатическим фрикативным латеральным, см. [5, с. 84; 31, с. 64—65]. Этот звук мог возникнуть либо из первоначальной глоттализованной аффрикаты *tš', см. [37, с. 1304—1305; 6, с. 253], либо из первоначального глоттализованного фрикативного латерального *ɸ', см. [31, с. 155—156]. Обе реконструкции годятся также для объяснения фонетического разви-

тия в других семитских языках. Кантино [5, с. 84—86] реконструирует в прасемитском $*t_2^l$ и рассматривает его развитие в отдельных языках-потомках:

«...Его отражение в древнем арабском можно обозначить как \underline{d}^l или, проще, как \underline{d} ; латеральный характер его надежно засвидетельствован в тех описаниях, которые дают ему арабские грамматисты...

Описания различных говоров в современном южноаравийском в этом пункте достаточно ясны: речь идет о латерализованном согласном, обычно обозначаемом как \underline{d} ; в сокотри, где нет интердентальных, это дентальный сонорный эмфатический латерализованный смычный; в мехри и в шхаури, где, напротив, сохранился ряд интердентальных, это, как кажется, — интердентальный эмфатический латерализованный.

Вне арабского и современного южноаравийского латерализованное произношение семитского $*t_2^l$ не засвидетельствовано. Посмотрим, как эта фонема представлена в других семитских языках:

В эфиопском геэзе, вероятно, в принципе не может вызвать возражений транскрипция через \underline{d} того согласного, который соответствует семитскому $*t_2^l$. Традиционное произношение этого согласного в геэзе — иногда s , иногда t или t^* ... Во всяком случае, этот согласный не является ни сонорным, ни латерализованным.

В древнееврейском, аккадском и угаритском семитское $*t_2^l$ отражается в виде \underline{s} , совпадая с отражением семитского s' . В этих языках также не обнаруживается никаких следов его латерализованного характера.

Отражение древнего $*t_2^l$ в арамейском — трудный вопрос: известно, что в наиболее древних текстах оно представлено как q , в последующих текстах — как ϵ . Эта эволюция достойна удивления. Предлагаемые интерпретации... не в одинаковой мере убедительны. Существенный факт, на который, как кажется, стоит обратить внимание, — потеря передней артикуляции... и сочетание латеральной и эмфатической артикуляций в постпалатально-велярной или фарингальной области. Но подробности этой эволюции должны быть разработаны тоньше, и мы не настаиваем на ней».

Согласно Коэну [37, с. 1304—1305], глухие и глоттализированные латерализованные аффрикаты реконструируются и в праафразийском.

Афразийские соответствия:

ПАА	ПС	Др.-егип.	Бербер.	Правост.-куш.	Праюжн.-куш.	Прачад.
$*t_2$	$*t_2$	\check{s}, s	s	$*l$	$*a$	$*a$
$*t_2^*$	$*t_2^*$	d	?	$*c$	$*tl$?

9.0. Носовые, глайды и плавные.

Соответствия в семитском (см. с. 61).

Как правило, носовые, глайды и плавные хорошо сохранились в семитских языках, и нет сомнения в том, что в прасемитском были $*m$, $*n$, $*w$, $*y$, $*l$ и $*r$. Заслуживают упоминания только некоторые модификации

ПС	Аккад.	Угарит.	Др.-евр.	Арам.	Араб.	ЭЮА	Эфиоп.
* <i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>	<i>m</i>
* <i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>
* <i>w</i>	<i>β</i>	<i>w, y</i>	<i>w, y</i>	<i>w, y</i>	<i>w</i>	<i>w, y</i>	<i>w</i>
* <i>y</i>	<i>y, θ</i>	<i>y</i>	<i>y</i>	<i>y</i>	<i>y</i>	<i>y</i>	<i>y</i>
* <i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>	<i>l</i>
* <i>r</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>r</i>	<i>r</i>

глайдов, хотя мимоходом можно отметить, что *n* переходит в *m* в результате мимации в аккадском, древнееврейском и эпиграфическом южноаравийском, см. [15, с. 28, примеч. 2 и с. 61—62; 10, с. 96—100].

В позднем аккадском начальные глайды были утеряны, см. [10, § 8.63; 11, с. 66—67], в то время как в угаритском, древнееврейском и арамейском начальное **w*, как правило, давало *y*, см. [9, с. 19, § 27; 10, § 8.64; 11, с. 65—67].

Носовые **m* и **n*, глайды **w* и **y* и плавные **l* и **r* могут быть реконструированы и в праафразийском.

Соответствия в афразийском:

ПАА	ПС	Др.-егип.	Бербер.	Правост.-куш.	Прак.-куш.	Прачад.
* <i>m</i>	* <i>m</i>	<i>m, b</i>	<i>m</i>	* <i>m</i>	* <i>m</i>	* <i>m</i>
* <i>n</i>	* <i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>	* <i>n</i>	* <i>n</i>	* <i>n</i>
* <i>w</i>	* <i>w</i>	<i>w</i>	<i>u, w</i>	* <i>w</i>	* <i>w</i>	* <i>w</i>
* <i>y</i>	* <i>y</i>	<i>i, y</i>	<i>i, y</i>	* <i>y</i>	* <i>y</i>	* <i>y</i>
* <i>l</i>	* <i>l</i>	<i>n, r, ?, l</i>	<i>l</i>	* <i>l</i>	* <i>l</i>	?
* <i>r</i>	* <i>r</i>	<i>r, ;</i>	<i>r</i>	* <i>r</i>	* <i>r</i>	* <i>r</i>

В древнеегипетском не было особых обозначений для /l/. Известно, однако, что /l/ существовала как независимая фонема, поскольку как такая она встречается в позднейшем коптском. В египетском /l/ записыва-

лась знаками <п>, <г>, <г> и <л> (<←*li-, *lu- см. [48, с. 595]). Наконец, *r в египетском в конце слога давало <г>.

10.0. Гортанная смычка; глоттальные и фарингальные фрикативы. Соответствия в семитском:

ПС	Аккад.	Угарит.	Др.-евр.	Арам.	Араб.	ЭЮА	Эфиоп.
*ʔ	ʔ, Ø	ʔ	ʔ	ʔ	ʔ	ʔ	ʔ
*h	ʔ, Ø	h	h	h	h	h	h
*ħ	ʔ, Ø	ħ	ħ	ħ	ħ	ħ	ħ
*ç	ʔ, Ø	ç	ç	ç	ç	ç	ç
*x	ħ	ħ	ħ	ħ	ħ	ħ	ħ
*ɣ	ʔ, Ø	g	ç	ç	g	g	ç

Несмотря на то, что приведенные соответствия указывают на наличие в прасемитском *ʔ, *h, *ħ, *ç, *x и *ɣ (традиционно обозначаемые как *ʔ, *h, *ħ, *ç, *x и *g соответственно), наличие в праафразийском *x и *ɣ, см. [37, с. 1306], сомнительно. В семитском эти звуки возникли из первоначальных *ħ и *ç соответственно, а именно: *ħ → *x^в (глухой фарингализованный веларный фрикатив) → *x (см. в [57] типологические параллели этому развитию в северокавказских языках) и *ç → *ɣ^в → *ɣ. В аккадском в начальной позиции *ʔ, *h, *ħ, *ç и *ɣ (но не *x [традиционно — *ħ]) совпали в /ʔ/. Наличие в прошлом *ħ и *ç и иногда — также *ɣ и *h можно установить по тому, что они изменяли контактирующие с ними а в е, см. [10, § 8.45, § 8.54]. Эти же звуки полностью исчезли в срединной позиции после гласного перед неслогообразующим элементом, вследствие чего произошло удлинение гласного (следующие примеры заимствованы из [58]):

А. Акк. *raʕšu* → *rāšu* (позднее *rēšu*) «голова»: др.-евр. *rōš* «голова»; араб. *raʕs* «голова»; уг. *riš* «голова»; эф. *raʕəs* «голова».

В. Акк. *raħtu* → *reħtu* → *reʕtu* → *rētu* «милость»: др.-евр. *raħīm* «со-страдательный»; араб. *raħīma* «иметь милость, сострадание», *raħma* «жалость, сострадание»; харсүси *reħām* «жалеть»; уг. *rhmt* «быть добрым».

С. Акк. *baʕlu* → *beʕlu* → *beʕlu* → *bēlu* «владелец, господин»: др.-евр. *baʕal* «господин, владелец»; араб. *buʕāl* «господин, муж», сокотри *baʕl* «хозяин, господин»; уг. *bʕl* «владелец дома»; эф. *baʕal* «владелец, хозяин».

Сходный процесс наблюдается в арабском, где, как утверждают сами арабские грамматисты, ʔ ослабляется и даже выпадает с компенсаторным удлинением гласного в том случае, если выпадение происходит после краткой гласной перед согласным, см. [59; 10, § 9.20]. В древнееврейском и арамейском *ç и *ɣ совпали в /ç/, а *ħ и *x — в /ħ/.

В праафразийском реконструируются лишь *ʔ, *h, *ħ и *ç. Могли существовать также лабиализованные варианты этих звуков, см. [45, с. 142]. Эти звуки большей частью сохранились на ранних ступенях развития аф-

разийских языков-потомков, за исключением в основном берберского, где они полностью исчезли, и чадского, где они также, видимо, исчезли.

Соответствия в афразийском:

ПАА	ПС	Др -егип.	Бербер.	Правост.-куш.	Пражонн -куш.	Прачад.
*ʔ	*ʔ	ʔ, t	∅	*ʔ	*ʔ	∅
*h	*h	h	∅	*h	*h	∅
*ħ	*h, *x	ħ, ħ, ħ	∅	*ħ	*ħ	ʔ
*ç	*ç, *γ	ç	∅	*ç	*ç	∅

11.0. Выводы. В ходе предыдущего изложения некоторые классы (билабиальные, зубные, веларные, носовые, плавные, глайды, а также гортанная смычка и глоттальные и фарингальные фрикативы) вряд ли требовалось обсуждать особо — здесь соответствия между семитскими языками тривиальны и, следовательно, нет вопроса о том, какие фонемы должны быть реконструированы в прасемитском. Однако другие классы требуют реинтерпретации на основе данных остальных ветвей афразийского, так же, как и на основе последних достижений фонологической теории, которые расширили наши представления о звуковых изменениях. Новые интерпретации способны не только более эффективно объяснить соответствия между семитскими и другими афразийскими языками, но они позволяют дать более естественные объяснения самому внутрисемитскому развитию. Как мы видели, традиционные сибиланты *s, *z и *š должны быть частично реинтерпретированы как дентальные аффрикаты *ts, *dz и *ts', соответственно, а традиционные интердентальные *t, *d и *t' должны быть реинтерпретированы как палатализованные альвеолярные смычные *tʰ, *dʰ и *t'ʰ соответственно. Эмфатические в прасемитском скорее всего были эйективными, а не фарингализованными, как в арабском, а звуки, традиционно реконструируемые как *š и *d, возможно, были глухой и глоттализованной латерализованными аффрикатами *t̤a и *d̤a' соответственно, хотя столь же вероятно, что они представляли собой глухой и глоттализованный фрикативный латеральный *a и *a' соответственно. Я предпочитаю латерализованные аффрикаты фрикативным латеральным, потому что первые дают лучшую основу для сравнения с родственными афразийскими языками.

Пересмотренная прасемитская система согласных:

Смычные и аффрикаты:

Глухие:	p	t	ts	tʰ	t̤a	k	
Звонкие:	b	d	dz	dʰ	g		
Глоттализованные:		t'	ts'	t'ʰ	t̤a'	k'	ʔ
Фрикативы:							
Глухие:			s	š	x	ħ	h
Звонкие:					ɣ	ç	
Глайды:	w			y			
Носовые:	m	n					
Дрожащий:		r					
Латеральный:		l					

Перевел с английского Гестелец Я. Г.

1. *Долгопольский А. Б.* Сравнительно-историческая фонетика кушитских языков. М., 1973.
2. *Sasse H.-J.* The consonant phonemes of Proto-East-Cushitic (PEC): a first approximation // *Afroasiatic linguistics*. 1979. 7/1.
3. *Sasse H.-J.* An etymological dictionary of Burji. Hamburg, 1982.
4. *Ehret C.* The historical reconstruction of Southern Cushitic phonology and vocabulary. Berlin, 1980.
5. *Cantineau J.* Le consonantisme du sémitique // *Semitica*. 1952. IV.
6. *Martinet A.* Remarques sur le consonantisme sémitique // *Martinet A.* Evolution des langues et reconstruction. Vendôme, 1975 (= BSL. 1953. 49).
7. *Bergsträsser G.* Einführung in die semitischen Sprachen. München, 1928 (reprinted 1977).
8. *Brockelmann C.* Grundriss der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen. Hildesheim, 1908—1913 (reprinted 1966).
9. *Gray L. H.* Introduction to Semitic comparative linguistics. Amsterdam, 1934 (reprinted 1971).
10. An introduction to the comparative grammar of the Semitic languages / Ed. by Moscati S. Wiesbaden, 1964.
11. *O'Leary D.* Comparative grammar of the Semitic languages. Amsterdam, 1923 (reprinted 1969).
12. *Zimmer H.* Vergleichende Grammatik der semitischen Sprachen. Berlin, 1898. S. 12.
13. *Cohen M.* Essai comparatif sur le vocabulaire et la phonétique du chamito-sémitique. P., 1947 (reprinted 1969).
14. *Cohen M.* Langues chamito-sémitiques // *Les langues du monde*. 2nd ed. V. I. P., 1952. P. 90—91.
15. *Diakonoff I. M.* Semito-Hamitic languages. M., 1965.
16. *Afroasiatic: a survey* // Ed. by Hodge C. T. The Hague, 1971. P. 12.
17. *Caiford J. C.* Fundamental problems in phonetics. Bloomington, 1977. P. 193.
18. *Al-Ani S. H.* Arabic phonology. The Hague, 1970.
19. *Chomsky N., Halle M.* The sound pattern of English. N. Y., 1968. P. 306.
20. *Johnstone T. M.* The modern South Arabian languages // *Afroasiatic linguistics*. 1975. 1/5.
21. *Dolgopolsky A.* Emphatic consonants in Semitic // *Israel oriental studies*. 1977. VII.
22. *Ungnad A., Motuš L.* Grammatik des Akkadischen. 5th ed. München, 1969. S. 27.
23. *Hopper P. J.* Glottalized and murmured occlusives in Indo-European // *Glossa*. 1973. 7.
24. *Greenberg J. H.* Some generalizations concerning glottalic consonants especially implosives // *IJAL*. 1970. 36.
25. *Ambros A.* Damascus Arabic. Malibu (CA), 1977. P. 8—10, 13—14.
26. *Hyman L. H.* Phonology: theory and analysis. N. Y., 1975. P. 49.
27. *Ladefoged P.* Preliminaries to linguistic phonetics. Chicago, 1971. P. 63—64.
28. *Martinet A.* La palatalisation «spontanée» de *g* en arabe // *Martinet A.* Evolution des langues et reconstruction. Vendôme, 1975 (= BSL. 1959. 54.).
29. *Gamkrelidze T. V.* On the correlation of stops and fricatives in a phonological system // *Universals of human language* / Ed. by J. H. Greenberg. V. 2. Stanford, 1978. P. 17.
30. *Gamkrelidze T. V.* Language typology and language universals and their implications for the reconstruction of the Indo-European stop system // *Bono homini donum: essays in historical linguistics in memory of J. Alexander Kerns*. Amsterdam, 1981. P. 587—589.
31. *Steiner R.* The case for fricative-laterals in Proto-Semitic. New Haven, 1977.
32. *Vergote J.* Egyptian // *Afroasiatic: a survey*. The Hague, 1971.
33. *Colarusso J. J., Jr.* The Northwest Caucasian languages: a phonological survey: Ph. D. dissertation. Harvard University. 1975. P. 82.
34. *Gamkrelidze T. V., Ivanov V. V.* Sprachtypologie und die Rekonstruktion der gemeinindogermanischen Verschlüsse // *Phonetica*. 1973. 27. S. 150—156.
35. *Bomhard A. R.* Toward Proto-Nostratic: a new approach to the comparison of Proto-Indo-European and Proto-Afroasiatic. Amsterdam, 1984.
36. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов В. В.* Лингвистическая типология и реконструкция системы индоевропейских смычных // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков: Предварительные материалы. М., 1972. С. 15—18.
37. *Cohen D.* Langues chamito-sémitiques // *Le langage*. Bruges, 1968.
38. *Penchoen T. G.* Tamazight of the Ayt Ndir. Malibu (CA), 1973. P. 7, § 2.3.1 [a].

39. *Newman P.* Chadic classification and reconstruction // *Afroasiatic linguistics*. 1977. 5/1.
40. *Martinet A.* *Economie des changements phonétiques*. 3rd ed. Bern, 1970. P. 113, § 4.28.
41. *Greenberg J. H.* The labial consonants of Proto-Afroasiatic // *Word*. 1958. 14.
42. *Greenberg J. H.* The evidence for / *mb as a Proto-Afroasiatic phoneme // *Symbolae linguisticae in honorem Georgie Kurylowicz*. Wrocław — Warszawa — Kraków, 1965. P. 88—92.
43. *Иллич-Свитич В. М.* Из истории чадского консонантизма: лабиальные смычные // *Языки Африки*. М., 1966.
44. *Diakonoff I. M.* Problems of root structure in Proto-Semitic // *Archiv Orientalni*. 1970. 33. P. 456, 465.
45. *Diakonoff I. M.* On root structure in Proto-Semitic // *Hamito-Semitic*. The Hague, 1975.
46. *Callender J. B.* Middle Egyptian. Malibu (CA), 1975. § 2.1.
47. *Wright W.* *Lectures on the comparative grammar of the Semitic languages*. Amsterdam, 1890 (reprinted 1966).
48. *Diakonoff I. M.* Hamito-Semitic languages // *Encyclopedia Britannica*. 15th ed. 1974. V. 8.
49. *Faber A.* Phonetic reconstruction // *Glossa*. 1931. 15.
50. *Steiner R.* Affricated *šade* in the Semitic languages. N. Y., 1982.
51. *Gamkrelidze T. V.* Hittite and the laryngeal theory // *Pratidānam: Indian, Iranian and Indo-European studies presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuipers on his sixtieth birthday*. The Hague, 1968. P. 91—92.
52. *Sturtevant E. H.* *A comparative grammar of the Hittite language*. V. 1. 2nd ed. New Haven, 1951.
53. *Albright W. F.* The vocalization of the Egyptian syllabic orthography. New Haven, 1934. P. 33—67.
54. *Gelb I. J.* *Old Akkadian writing and grammar*. 2nd ed. Chicago, 1961.
55. *Beeston A. F. L.* Arabic sibilants // *Journal of Semitic studies*. 1962. 3.
56. *Murtonen A.* The Semitic sibilants // *Journal of Semitic studies*. 1966. 11.
57. *Colarusso J.* Typological parallels between Proto-Indo-European and the Northwest Caucasian languages // *Bono homini donum: essays in historical linguistics in memory of J. Alexander Kerns*. Amsterdam, 1981. P. 545—546.
58. *Couvreux W.* *De Hettitische H: een bijdrage tot den studie van het Indo-Europeesche vocalisme*. Louvain, 1937. P. 288—289.
59. *Cantineau J.* *Cours de phonétique arabe*. P., 1960. P. 79.

ОРЕЛ В. Э., СТОЛБОВА О. В.

К РЕКОНСТРУКЦИИ ПРААФРАЗИЙСКОГО ВОКАЛИЗМА

Целью настоящей работы, 1-я и 2-я части которой предлагаются вниманию читателя, является реконструкция праафразийского (= прасемитохамитского) вокализма. Сложность цели определила композицию исследования, публикация которого планируется в виде отдельных частей, содержащих решение более узких задач: 1. О соотношении чадского вокализма с ностратическим; 2. Вокализм непроизводных имен в семитском и чадском; 3. Семитско-чадские соответствия в области глагола; 4. Реконструкция кушитского вокализма; 5. Отражение афразийского вокализма в кушитском; 6. Отражение афразийского вокализма в берберском; 7. Отражение афразийского вокализма в коптском; 8. Реконструкция афразийских тоновых систем и структура афразийского и семитского корня.

Задача части 1-й заключается в том, чтобы продемонстрировать значительный архаизм чадской системы гласных и показать факт генетической преемственности между чадским и ностратическим вокализмом, причем реконструкция последнего принимается пока, в целом, такой, как она представлена в исследованиях В. М. Иллич-Свитыча [1—4], т. е. с опорой на согласующиеся показания «восточноностратических» языков (уральских, алтайских и дравидийских) при косвенных подтверждениях в индоевропейском и картвельском [1, с. 152—153].

Задача части 2-й в том, чтобы показать наличие регулярных фонетических соответствий между чадскими и семитскими гласными в области непроизводных имен, т. е. как раз в той категории лексики, где следует ожидать сравнительно более удовлетворительной сохранности старых соответствий. При этом данные части 1-й будут выполнять роль своего рода «контрольного опыта», согласованность которого с результатами 2-й части представляется принципиально важной.

Используемые далее чадские материалы представляют собой преимущественно данные западночадских языков. В этом отношении авторы опираются на западночадскую реконструкцию О. В. Столбовой [5], однако со значительными дополнениями и изменениями, оговариваемыми в тексте. В меньшей степени привлекаются материалы восточно- и центральночадских языков, что, однако, не слишком существенно ввиду большой близости празападночадского состояния к общечадскому. Семитские данные приводятся в основном по «Сравнительно-историческому словарю афразийских языков» [6—8] с рядом дополнений и изменений, машинописным материалам А. Ю. Милитарева и О. В. Столбовой и некоторым другим источникам. Изменения коснулись, в частности, некоторых деталей афразийской реконструкции согласных; важнейшее из них заключается в элиминации лабиализованных веллярных и ларингалов, которые рассматриваются как позиционные рефлексы перед огубленными гласными.

За пределами 1-й и 2-й частей нами оставлен ряд морфонологических проблем: в частности, не рассматривается вопрос о происхождении долгот

в чадском и семитском, а также вопрос о структуре сопоставляемых корней. Эти проблемы будут обсуждаться в последующих частях исследования.

Авторы глубоко признательны В. А. Дыбо, Вяч. Вс. Иванову, А. Ю. Милитареву, О. А. Мудраку, С. Л. Николаеву, С. А. Старостину и Е. А. Хелимскому, прочитавшим работу в рукописи и сделавшим ценные замечания, а также А. Г. Беловой за консультации по арабскому материалу. В угловых скобках приводятся алтайские и чукотско-камчатские реконструкции С. А. Старостина и О. А. Мудрака

1. О соотношении чадского вокализма с ностратическим

Ностр. **a* соответствует з.-чад. **a*.

1. З.-чад. **çal*- «веревка» (болева *coli*, ангас *sāl* «дерево, из коры которого делают веревки») — ностр. **Cali* «обвязывать, привязывать» [1, с. 200]. Гласные в **Cali* устанавливаются на основе алт. **čali*- «обвязывать, зацеплять». В [1] сюда же отнесено урал. **solme* «узел», которое рассматривается как производное от незасвидетельствованного **šalV*-; однако в **solme* можно видеть заимствование из чук.-камч. <**š'olwa* «узел»). К з.-чад. **çal*- ср. также ц.-чад. мвульен *sàllu* «веревка».

2. З.-чад. **hV-kas[i]* «кость» [5, с. 211—212] — ностр. **KaSV* «кость» [1, с. 344]. Ностр. **a* предполагается исходя из непалатализованного рефлекса гуттурального в и.-е. **Kos-t* и ввиду отсутствия **w* в семитохамитском. Сравнение с чадским имеется в [1]. Заслуживает внимания также в.-куш. гелеба *kas* «кость, нога».

3. З.-чад. **aly*- «вставать» [5, с. 228] — ностр. **alV* «переваливать (через гору)» [1, с. 274—275]. Ностр. **a* устанавливается по алт. **āl'a* тж., с чем согласуется веларный в и.-е. **hel-* «с той стороны, по ту сторону». Возможно, **a* сохраняется также в кушитском, ср. в.-куш. афар *alē* «гора», сомали *al* «горная цепь». Не исключено, что з.-чад. **-ly-* представляет собой рефлекс ностр. **-l'*.

4. З.-чад. **gar-* «колючее растение» (ср. хауса *má-gáryà* «колючее дерево», *gár-sáñi* «колючая сорная трава», ангас *gēr* «кактус с длинными колючками») — ностр. **gara* «колючая ветка, шип» [1, с. 226]. Ностр. **a* определяется по урал. **kara* «ветка, шип, хвойное дерево» и алт. **gara* «острие, ветка, хвойное дерево».

5. З.-чад. **kal-* «скрести, брить» (возможно и **kwal-*) [5, с. 211] — ностр. **kal'V* «обдирать кору, кожу» [1, с. 289—290]. Гласный 1-го слога реконструирован исходя из урал. **kal'V* «пленка, кожа; голый, гладкий», драв. **kal-* «обдирать» и алт. **kal'[i]*- «обдирать кору; голый» при веларном **g-* в и.-е. **gol-* «голый, лысый».

6. З.-чад. **qam-* «ловить» (хауса *kámà* тж.) — ностр. **qamV* «хватать» [3, с. 128—130]. Ностр. **a* реконструируется на основе драв. **am-* «сжимать, сдавливать» (возможно, однако, и **av-*, восходящее в этом случае к ностр. **qar₁V*) и веларного рефлекса в и.-е. **hem-* «хватать, брать».

7. З.-чад. **lab-* «получать, добывать» (сура *láp* тж., монгол *lāb* «получать», герка, анкве *lār* тж.) — ностр. **LabV* «хватать, добывать» [2, с. 29]. Ностр. **a* установлен на основе алт. **labV-* «тащить в зубах». Чадский материал частично привлечен к сравнению в [2].

8. З.-чад. **mar[i]* «раб» [5, с. 233] (гласный 2-го слога реконструируется на основе суффиксальных производных типа хауса *múri-mà* «слуга, сопровождающий всадника») — ностр. **majrV* «молодой самец» [2, с. 39—41]. Об утрате инлаутного **-y-* в чадском см. ниже. Вокализм 1-го слога в ностратическом установлен по алт. **miara-* «выходить замуж»

и драв. **mār*-/**mār*- «детеныш мужского пола». В то же время алтайский и дравидийский указывают на переднерядный гласный 2-го слога, что находит соответствие в чадском. Иной чадский материал приводится в [2], где даются формы типа бачама *mure* «муж, мужчина», хольма *mule* тж. и т. п., что менее вероятно фонетически и семантически.

9. З.-чад. **paḍi*'- > **paḍi*- «падать» [5, с. 144] (обоснование реконструкции см. в 3-й части настоящей работы) — ностр. **p'adV* «падать» [3, с. 84—89]. Ностр. **a* определяется по драв. **paḥV*- «падать, опускаться, садиться, ложиться». Чадский материал привлечен к сопоставлению в [3].

10. З.-чад. **paḥ*[*la*] «открытая местность; быть широким» [5, с. 144] (гласный 2-го слога реконструируется на основе суффиксальных производных типа нгизим *pātātā*, хауса *fētētē* тж.) — ностр. **paḥV* «открытая местность» [4, с. 372]. Ностр. **a* устанавливается по алт. **pata* «поле» и драв. **pāl(t)V*- «участок земли». Возможно, алтайский указывает и на **a* во 2-м слоге, что находит соответствие в чадском.

11. З.-чад. **qaf*- «схватить, крепко держать» [5, с. 219—220] — ностр. **qar₁V* «хватать» (в [4, с. 371]) ошибочно реконструировано **-p*-). Гласный 1-го слога устанавливается исходя из алт. **abu*-/**apu*- тж.

12. З.-чад. **ḥar[u]*- «сжигать» (> **ḥawr*-) [5, с. 222] — ностр. **ḤarV* «жечь, обжигать» [1, с. 340]. Ностр. **a* предполагается исходя из драв. **kar(V)*- «обжигать, быть опаленным» при велярном в и.-е. **ker*- «жечь, жарить; огонь». На ностр. **a* указывает также тюрк. < **qaj(i)ra*- «жарить».

13. З.-чад. **paḥ*[*a*] «пруд» [5, с. 147] (гласный 2-го слога восстанавливается по производным, ср. хауса *fālāmī* «непересыхающий пруд») — ностр. **paḥV* «болото» [2, с. 97—98]. Ностр. **a* реконструируется по алт. **pāl*- тж. и, возможно, по дравидийским формам типа брагуи *pāl* «намочнуть», *pāḥin* «влажный, сырой».

14. З.-чад. **par[a]* «ноготь, палец» (хауса *fārĉē* тж. мн. ч. *fārūtā*) — ностр. **p[ar]lā* тж. [3, с. 70]. Вокализм в ностратическом восстанавливается по алт. **para*-(*ṣa*)/ **ārā*-(*ṣa*) «большой палец», причем, возможно, имеется и соответствие в вокализме 2-го слога в чадском и ностратическом. Чадский материал указан в [3]. Исконное **a*, возможно, сохраняет и кушитский, ср. сомали *far* «палец», рендилле *farro* тж. при афар, сахо *fera* тж.

Ностр. **ā* соответствует з.-чад. **a*.

15. З.-чад. **ṣam*- «кислый» [5, с. 184] — ностр. **ṣāmV* «терпкий» [1, с. 209—210]. Гласный 1-го слога реконструирован исходя из урал. **ṣāmV* «кислый». Чадский материал использован в [1]. На -*a*- может указывать также кушитский: з.-куш. харуро *ṣām*- «быть горьким», воламо, *ṣam*- тж. и т. п. [1, с. 210].

16. З.-чад. **kaḥ*[*u/w*]- «возвращаться (на прежнее место)» (реконструкция **kiḥ*[*w*]- в [5, с. 211] ошибочно ориентирована на вторичный вокализм в бурма *kile* «входить») — ностр. **kā*[*h*]*V* «идти, бродить» [1, с. 293—295]. Вокализм 1-го слога восстанавливается исходя из урал. **kālā*- «идти вброд, брести», драв. **kāl*- «идти» и алт. **kālū*- «приходить» (2-й гласный в алтайском с определенностью не реконструируется или мог вообще отсутствовать — О. А. Мудрак, устное сообщение). Чадский материал частично использован в [1]. Там же приводятся заслуживающие внимания кушитские данные: сахо *kalāh*, *kalāl* «поход, путешествие», сомали *kālah* «утренняя прогулка».

17. З.-чад. **kar*- «привязывать» (тангале *ker* тж.) — ностр. **kārV* «(туго) связывать» [1, с. 321—323]. Ностратический гласный 1-го слога реконструируется по урал. **karV*- «крепко связывать, обертывать», драв. **kār*-

«крепко связывать, натягивать» и алт. *k'ärV- тж. при палатальном в и.-е. *ker- «связывать».

18. З.-чад. *lay- «лить» (ангас le тж.) — ностр. *L[ä]jV «вода, лить(ся)» [2, с. 32—33]. Ностратический гласный 1-го слога определяется по урал. *LäjV «жидкость, река». Чадский материал привлечен к сопоставлению в [2]. Интересно наличие -a- в кушитском, ср. saho laj(e) «вода», афар laj тж.

19. З.-чад. *man- «человек, мужчина» [5, с. 232—233] — ностр. *mänV «мужчина, самец» [2, с. 58—59]. На ностр. *ä указывают урал. (угор.) *mäñe «человек, мужчина» и драв. man «муж, господин». Чадский материал использован в [2]. Заслуживает внимания наличие -a- в в.-куш. хадия tanna «люди» и т. п. (при иных огласовках в западнокушитском). Вместе с тем нельзя исключить, что в уральском вокализме 1-го слога обусловлен тем, что уральская лексема является суффиксальным производным; при этом урал. *mäñ-е обнаруживает замечательное сходство с кушитским индивидуализмом *man-[i]čč- «мужчина» и отдельными образованиями в индоевропейском (герм. *mann-isk-az тж.), что позволяет думать о реконструкции ностр. *man-[i]Ca.

20. З.-чад. *par- «разбивать» [5, с. 146] — ностр. *p'är'[a] «рвать, ломать, расщеплять» [2, с. 100—101]. Ностратический вокализм устанавливается по урал. *päřä- «разбивать», драв. *pari-/ *pari- «рвать, ломать, расщеплять». О. А. Мудрак (устное сообщение) предлагает относить сюда же не алт. *p'ürü- «рвать, дробить, растирать», а тюрк. *p/ber- «разбивать, бить, колотить».

21. З.-чад. *yVpal- «падать» (реконструкция *pal- в [5, с. 147] не учитывает дера yirele тж.) — ностр. *p'[ä]jlV «падать» [3, с. 97—106]. Ностратический гласный 1-го слога определяется на основе соотношения алт. *PEjle- «летать, парить; бросаться (вниз); опадать (о листьях)» <*pile-, *p'ile-» и драв. *vël- «летать, опускаться» (из *p₁ajl-?). В чадском *yV- — префикс или результат развития корня структуры CVyC- в у(V)CVC- (см. подробнее ниже). Чадский материал использован при сопоставлении в [3].

В двух случаях равновозможны реконструкции с *a или с *ä.

22. З.-чад. *[ya]nV- «говорить» (ранее предлагалась не объясняющая все сопоставляемые факты реконструкция *nV-, см. [5, с. 235]) — ностр. *janV «говорить» [1, с. 280—281]. Ностратический вокализм восстанавливается исходя из драв. *janV- тж. На *a указывает также тюрк. <*janış- «разговаривать, говорить»). Едва ли случайно -a- в кушитском, ср. беджа an- «сказать».

23. З.-чад. *mä'- «вода» (геджи таа, польчи та тж., ангас twë «сок») — ностр. *mVwV «вода, влага», ср. и.-е. *meu- тж. Реконструкция ностр. *E 1-го слога [2, с. 62—63] на основе алт. *mō тж. едва ли возможна, поскольку для алтайского следует предполагать *mūri- (С. А. Старостин, устное сообщение), которое относится к иному ностратическому корню. Заслуживают внимания кушитские формы с -a- и -aj- [2, с. 63], которые вместе с чадским заставляют предполагать ностр. *a или *ä.

Ностр. *e соответствует з.-чад. *ya. Возникающие таким образом последовательности CyVC- противоречат нормальной структуре корня в чадском и поэтому сохраняются лишь в морфемах, начинающихся с ларингального. В остальных случаях последовательность CyVC- либо преобразуется в CVyC-, либо устраняется «выносом» сонанта за рамки корня (иногда с последующей полной его утратой): CyVC- > y(V)-CVC- или CVC-

y(V)-. На утрату **y* указывает и особое развитие корней с инлаутным *r* в хауса, где сочетание *-*yr*-, как и *-*wr*-, переходит в -*y*-, -*w*- и далее в нуль.

24. 3.-чад. **aly|lV[y]*- «свет, молния» (сири *lilyu* «молния», па'а *îli lîwá* тж., кулере *îw* «свет», богом *âl* «солнце») — ностр. **jela* «светлый» [1, с. 281—282]. Вокализм определяется из соотношения урал. **jela*- «светлый, ясный; день» и драв. **el(a)*- «светлый, блестящий», ср. также монг. <*jile* «светлый, ясный»>. Для чадского следует предполагать расподобление исконного анлаутного **y*- и вновь возникшего **y(a)*.

25. 3.-чад. **bar*- «давать» [5, с. 154] — ностр. **belrH|u* «дать» [1, с. 177—178]. Ностратический вокализм реконструируется по алт. **bêrû*- тж. Чадский материал привлечен к сопоставлению в [1]. Вероятно, в чадском **bar*- восходит к **byar*- > **bayr*-, на что может указывать хауса *bāyar dà* тж.

26. 3.-чад. **čayl*- «прыгать; саранча» [5, с. 194] — ностр. **čelV* «прыгать» [1, с. 203]. Ностратический вокализм устанавливается по урал. **čelV* тж., алт. **čel|V*- «хромать, спотыкаться» при палатальном в и.-е. *(s)*kel*- «прыгать». Чадский материал частично использован в [1].

27. 3.-чад. **H|yar*- «мужчина» (кулере *'yer* «брат», боккос *re* «мужчина», мн. ч. *'arya*) — ностр. **Herä* «самец» [1, с. 247]. Ностратический вокализм выводится из соотношения драв. **ēr*- тж., алт. **ērä* «самец, мужчина» <**ārV*->. В чадском предполагаем **Hyar*- > **Har*-/**yar*-.

28. 3.-чад. **lap*- «селезенка» [5, с. 243] — ностр. **lɛ|p'A* «селезенка» [2, с. 17]. В ностратическом вокализм реконструируется исходя из урал. **lɛ|ppä* тж. Ожидаемое развитие для чадского: **lyap*- > (? **ylap*- >) **lap*-. Обращает на себя внимание -*e*- в кушитском, ср. в.-куш. афар *alefū* тж.

29. 3.-чад. **mant*- «забывать» [5, с. 233] — ностр. **menV* «промахнуться, пройти мимо; быть тщетным, напрасным; безрассудным; ложным, лживым» [3, с. 52—55]. Гласный 1-го слога устанавливается по урал. **mentä* «мимо, не попадать; промахиваться, ошибаться», алт. **men*- «тупеть, затуманиваться (о сознании)»; ср. также алт. (тюрк.-монг.) <*(*u*)*munta*- «забывать»>. Чадский материал учтен в [3]. Предположительно 3.-чад. **mant*- < **y-mant*- < **myant*-.

30. 3.-чад. **mayr*- «жир, масло» [5, с. 233] (ср. еще хауса *māi* тж.) — ностр. **merV* «жир, смазывать» [2, с. 61—62]. Вокализм реконструирован по драв. **merV*- «смазывать, обмазывать». Чадский материал частично использован для сопоставления в [2]. Соответствие в алтайском указывает на сочетание *-*jr*- (С. Л. Николаев и С. А. Старостин, устное сообщение).

31. 3.-чад. **rap*- «хранить» [5, с. 146] — ностр. **[p]eHña* «пасти, защищать, заботиться» [3, с. 106—111]. Вокализм реконструируется на основе урал. **riña* тж., драв. **pēnV*- «защищать, заботиться» при и.-е. **re|h̃i*- «пасти, защищать, заботиться». В чадском предполагаем **ryan*- > **y-rap* > **rap*-.

32. 3.-чад. **tari* «ломать, рвать» [5, с. 166] — ностр. **ter (H)V* «рвать» [4, с. 360]. Ностр. **e* определяется на основе драв. **ter*- тж. В чадском аномальный рефлекс в ангас *tir* объясняется развитием **tari* в **tiri*.

Сложная картина обнаруживается в нижеследующем примере:

33. 3.-чад. **yas*- «огонь» (**wus*-, предполагаемое в [5, с. 238], вторично — под влиянием **wut*- тж.; старое состояние сохраняют болева *ðsí*, нгамо *ðsi*, карекаре *yāsí*) — ностр. **aSa* «огонь» [1, с. 262—263] с реконструкцией гласного 1-го слога на основе алт. **aSa*- «загораться». Однако

на разпорядность гласных в алтайском указывает тюрк. *yS-/*iS- при монг. *asa- тж. Поэтому более вероятна реконструкция ностр. **ESa* (**ʔeSa*).

Ностр. **i* соответствует з.-чад. **i*.

34. З.-чад. **kir-* «откалывать, разламывать» (хауса *kírè* тж.) — ностр. **KirV* «скрести» [1, с. 354]. Гласный 1-го слога устанавливается по алт. **k'ir(a)-* «скоблить, скрести» и драв. **kirV-/*kerV-* «скрести» при палатальном в и.-е. **kerH-* «разрушать, ломать».

35. З.-чад. **d[i]k-* «лепить (из глины), строить» (в хауса *dákò* «темная глина, почва» -*a-*, видимо, вторично, ср. далее [5, с. 174] — ностр. **diqV* «земля» [1, с. 220]. На ностр. **i* указывает картв. **diga* «земля, глина» или, по Г. А. Климову, сван. *diwám* «плодородная почва» при палатальном в и.-е. **dhǵhem-* «земля». Другая этимология связывает чадское слово с и.-е. **dheiǵh-* «лепить, строить» (С. Л. Николаев, устное сообщение).

36. З.-чад. **mī* «что» (хауса *mè*, болева *mī*, ангас *mī* и т. д.) — ностр. **mī* «что» [2, с. 66—68]. Ностр. **i* отражается в урал. **mī* тж., алт. **mī* <**mV*> тж. при **j* в картв. **maj* тж. (по Г. А. Климову, **ma*). Чадский материал использован в [2]. На **i* указывают и восточнокушитские рефлексы **mī*.

37. З.-чад. **lip-* «красная глина» (сура *lip* тж.) — ностр. **lip'a* «липкий» [2, с. 18—20]. Вокализм в ностратическом реконструирован по урал. **Lipa-* «скользящий, липкий», алт. **lipa-* «прилипать; липкий, вязкий» <**liapa-*> и драв. **niv-* «смазывать, гладить» при сохранении **i* в и.-е. **leip-* «прилипать, смазывать; липкий». Чадский материал учтен в [2].

38. З.-чад. **pis-/*pič-* «плевать, брызгать» (наряду с **pus-/*puč-*) [5, с. 145] — ностр. **p'isV/*p'usV* «брызгать» [2, с. 101—102]. В 1-м слоге ностратический вокализм определяется по урал. **piSa-* «капать, моросить», алт. **p'isü-/*p'üsü-* «брызгать» и драв. **picV-* «моросить; дождь». Чадский материал частично использован в [2].

39. З.-чад. **tih-* «есть» (наряду с вторичным интенсивом **tah-*) [5, с. 167] — ностр. **ʔitā* «есть» [1, с. 273—274]. Реконструкция ностр. **i* опирается на алт. **ida-* тж. при палатальном в и.-е. **hed-* тж. Для чадского (и семитохамитского в целом) В. М. Иллич-Свитыч предполагал метатезу [1, с. 274]. На корневое **i* определено указывают и кушитские данные, ср. хадия, камбатта и др. *it-* тж., беджа *tiju* «пища».

В следующем случае остается неизвестным подъем ностратического переднерядного гласного, однако чадский указывает на **i*.

40. З.-чад. **t/t-il[m]b-* «пуп» [5, с. 162] (с префиксом) — ностр. **HEnPv* «пуп» [1, с. 248—249]. На ностр. **E* указывает палатальный в и.-е. **henbh-* тж.

Ностр. **o* соответствует з.-чад. **wa*, после велярных и ларингалов отразившееся как сочетание лабиовелярных и лабиализованных ларингалов с **a*.

41. З.-чад. **ǵwal[a]-* > **ǵwal[a]-* «testiculi» [5, с. 222] (гласный 2-го слога реконструируется по производным, ср. хауса *kwālātai* тж.) — ностр. **ǵoIV* тж. [4, с. 373]. Ностр. **o* устанавливается по урал. **kōle-* тж. при **w-* в картв. **qwer-* тж.

42. З.-чад. **ǵwalan-* > **ǵwalan-* «сердце» (цагу *galan*, кулере *gwalanya*) — ностр. **golHV* «сердце» [1, с. 231]. На ностр. **o* указывает соответствие картв. **gul-* тж. и алт. **gol-* «сердцевина, середина; русло реки». Приводимые в [1] чадские параллели менее удачны фонетически. ; ;

43. З.-чад. **kwar* > **kʷar*- «кожа, кора» [5, с. 210] — ностр. **k'orV* «кора» [1, с. 341—343]. Ностр. **o* устанавливается на основе урал. **k'ore* тж. Вопреки [1] сюда, видимо, не относится алт. **K'ūr'*- тж. (С. А. Старостин, устное сообщение).

Ностр. **u* соответствует з.-чад. **u*.

44. З.-чад. **bur*- «песок, пыль» [5, с. 157—158] — ностр. **burHV* «рыхлая земля, пыль» [1, с. 187—188] (наряду с вариантом **borHV*). На **u* могут указывать драв. **pūrV*- тж. (но есть и вариант **porV*) и алт. **b[ū]r*- тж. (наряду с **bōr*-). Видимо, В. М. Иллич-Свитыч склонялся скорее к реконструкции **u* [1, с. 188], в том же направлении указывает и чадский (а также кушитский). Чадский материал использован для сопоставления в [1].

45. З.-чад. **fut*- «дыра» (ангас *fut* тж.) — ностр. **putV* «дыра» (в [4, с. 340] требует уточнения реконструкция начального **p̄*-). Ностр. **u* устанавливается по урал. **putV*- «rectum», алт. **pūtV* «vulva, дыра» (ср. еще сван. **puṭu*- «щель»). Чадский материал привлечен к сопоставлению в [4]. На **u* указывают также имеющиеся кушитские параллели.

46. З.-чад. **gur*- «пруд» [5, с. 218] — ностр. **guru* «течь, литься» [1, с. 240—241]. Ностр. **u* восстанавливается по драв. **ūr*- «таять, плавиться» и алт. **ūRu*- «течь» при сохранении **-w*- в картв. **γwar*- «лить; поток» (реконструируется по груз. *γwar*-).

47. З.-чад. **gur*- «сжигать, уголь» [5, с. 219] — ностр. **gurV* «горячие угли» [1, с. 239]. Ностр. **u* определяется по алт. **gur(V)*- «горячие угли, загораться» при лабиовелярном в и.-е. **gʰher*- «гореть, горячий, горячие угли». Чадские данные использованы при сопоставлении в [1]. Любопытно наличие в кушитском огласовок *-u*- и *-i*-, см. [1].

48. З.-чад. **gur*- «антилопа» (па'а *gur-masi*, сири *zən-gəri*, нгизим *gərafiya*) — ностр. **gurHa* «антилопа, самец антилопы» [1, с. 234—235]. Ностр. **u* восстановлен по драв. **kūr*- «антилопа, олень» и алт. **gūra*- «самец антилопы». Заслуживают внимания кушитские данные с начальным лабиовелярным, см. [1].

49. З.-чад. **hur[i]* «яма, копать» [5, с. 224] (гласный 2-го слога реконструируется на основе производных) — ностр. **gurV* «протыкать» [4, с. 357] (с иной реконструкцией анлаута). Вокализм в ностратическом восстанавливается по алт. **ur*-/**or*- «яма, отверстие» и драв. **urV*- «протыкать» при картв. **qwr*- «продырявливать» с сохранением *-w*-.

50. З.-чад. **pund*- «бедро» [5, с. 244] — ностр. **pundV* «scrotum» [4, с. 349]. Ностр. **u* реконструируется по урал. **pu(n)δV*- тж. и драв. **puṭṭai* тж. Расхождение в значении представляется допустимым и известным в большом числе случаев.

51. З.-чад. **rus*- «разрушать» (при интенсиве **ru-a-s* > **raws*- [5, с. 236] — ностр. **ru[é]V* «разрушать» [4, с. 358]. Ностратический гласный 1-го слога устанавливается по урал. **ruśV*- «разрушать, давить». Чадский материал частично использован в [4].

52. З.-чад. **tuf*- «плевать» [5, с. 162] — ностр. **tupV* «плевать» [4, с. 354]. Ностр. **u* определяется по алт. **tūru*- тж. и драв. **tupp*- тж. Интересны кушитские формы с *-u*: бедауё, оромо, сомали *tuf* тж. [7, с. 6].

53. З.-чад. **tur*- «толкать» [5, с. 166] (старое значение может сохранять рон *toor* «протыкать») — ностр. **turV* «протыкать» [4, с. 357]. Ностр. **u* реконструируется по алт. **tūrV*- «протыкать, нанизывать» <**čūrV*-> и драв. **tūr*- «проходить через отверстие».

Если во 2-м слоге в ностратическом имелся **a*, ностр. **u* 1-го слога

соответствует 3.-чад. **wa*, в сочетании с велярными развивающееся, как и **wa* < nostr. **o*. В других случаях структура *CwVC*, видимо, преобразовывалась теми же способами, что и *CyVC* (см. выше).

54. 3.-чад. **gwar* > **g^war* «глотка» (хауса *mākōgwārō* тж.) — nostr. **gurV* «глотать» [1, с. 235—236]. Нostr. **u* сохранен в урал. **kurkV* «глотка» и драв. **hurV* «глотка, горло» при лабиовелярном в и.-е. **g^wher* «глотать». Чадские данные учтены при сопоставлении в [1]. Интересны кушитские формы с лабиовелярным и -*u*- 1-го слога, см. [1, с. 235].

55. 3.-чад. **haw-ĭ* «река» [5, с. 229] — nostr. **Huwa* «поток воды» [1, с. 256]. Нostr. **u* реконструируется по соотношению урал. **uwa* «течение, поток» и алт. **ū(a)* «вода, волна». Для чадского следует предполагать диссимиляцию **hwaw* > **haw*.

56. 3.-чад. **kwal*/**k^war* > **k^wal*/**k^war* «ложь» [5, с. 213] — nostr. **kiла* «тайный, красть» [1, с. 328—329]. Ностратический вокализм устанавливается, исходя из алт. **k'ula*/**k'ola* «красть, лгать» и драв. **kuŋ-* «тайна» при -*w*- в картв. **k^wel* «прятать, скрывать». Чадские данные использованы при сопоставлении в [1].

Если допустить, что в афразийском произошла перестройка вокализма 1-го слога, аналогичная тому, что наблюдается в уральском и алтайском, к этой группе примеров следует присоединить еще один:

57. 3.-чад. **kwal* > **k^wal* «слышать» [5, с. 213—214] — nostr. **c[iw]V* «слышать» [4, с. 366], ср. алт. **[k']ul* «ухо» < **k'ujV*-, урал. **kūla* «слышать» при -*u*- в картв. **qur* «ухо», но драв. **kēl* «слышать» при палатальном в и.-е. **k^leu*- тж.

В одном случае для ностратического допустимы альтернативные реконструкции **o* или **u*. Чадские данные, видимо, указывают на **u*.

58. 3.-чад. **Kus[i]* «корзина» (анкве *ta-kuši* тж., фьер *kičči* и т. п.) — nostr. **KUCV* «плетеная корзина» [1, с. 365]. Нostr. **u* восстанавливается по урал. **kuśa*/**kośV* «берестяная корзина, берестяной сосуд» при лабиовелярном в и.-е. **k^wos* «плетеная корзина». Чадские данные учтены в [1]. Заслуживают внимания кушитские параллели, указывающие на -*i*-, см. [1].

Еще в одном случае равновозможны nostr. **o*, **u* и **ū*. Чадские данные, судя по всему, свидетельствуют в пользу **o* (или **u* перед **a* 2-го слога).

59. 3.-чад. **lab* «любить» [5, с. 247] — nostr. **LUBV* «испытывать жажду» [2, с. 34], ср. и.-е. **leubh-* «страстно желать». В чадском следует предполагать развитие **hwab* > **lab*.

Нostr. **ū* соответствует 3.-чад. **u*, но после велярных — **wi* (с последующей лабиализацией велярного).

60. 3.-чад. **bur* «хоронить» (тангале *pure* «могила», ша *bur* «хоронить», фьер *bur* тж. и т. п.) — nostr. **būri* «покрывать» [1, с. 191—192]. Вокализм в ностратическом устанавливается, исходя из драв. **pūr-* «покрывать, погребать» и алт. **būri* «покрывать».

61. 3.-чад. **kwin* > **k^win* «собака» (фьер *k^weeŋ* тж.) — nostr. **KūjнA* «волк, собака» [1, с. 361—362]. Ностратический вокализм сохранен в урал. **kūjnä* «волк» при сочетании палатального с **u* в и.-е. **k^wōn*/**k^un* «собака».

62. 3.-чад. **kwin* > **k^win* «одна из жен» [5, с. 256] (ср. также тангале *kin* «сестра») — nostr. **kūni* «жена, женщина» [1, с. 306—308]. Гласные в ностратическом реконструируются по алт. **kūni* «одна из жен» при лабиовелярном в и.-е. **g^wep-* «женщина, жена».

Мы убедились, таким образом, в наличии закономерных звукосоот-

ветствий между чадским и ностратическим. Это обстоятельство представляется небезразличным для ностратического языкознания, так как 1) чадские данные могут теперь использоваться для уточнения реконструкций вокализма в некоторых ностратических корнях; 2) чадские данные показывают, что ностратический вокализм сохранялся не только «восточно-ностратическими» языками; 3) чадско-ностратические соответствия в области вокализма — это еще одно подтверждение правильности ностратической реконструкции, не предусмотренное ее создателем. С другой стороны, чадско-ностратические соответствия гласных прямо указывают на то, что обнадеживающие результаты могут быть получены в области, которая пока вызывала в сущности лишь пессимизм исследователей, — в области реконструкции афразийского вокализма как таковой. Эту задачу авторы и попытаются решить в последующих частях работы.

2. Вокализм непроезвонных им-н в семитском и чадском

В большом числе случаев обнаруживается соответствие сем. *a — з.-чад. *a, на основе которого реконструируется а.-а. *a. В последнем, как можно думать, исходя из наших наблюдений, слились ностр. *a и *ä.

1. Сем. *dam- «кровь» (аккад. *dām-*, др.-евр. *dām*, араб. *dām-* «кровь, сок, жизнь», араб. *dam-*, геэз *dam*) [7, с. 71] — з.-чад. *(h)-dam- [5, с. 171]. По-видимому, отыменный характер имеют в семитском глаголы аккад. *d'm* «быть темно-красным», араб. *dmm* «ранить, окровавить».

2. Сем. *daš- «сосуд» (араб. *dasī^c-at-* «большая деревянная лохань», тигре *dasī* «кастрюля, котел») [7, с. 63] — з.-чад. *das- «тыква» (хауса *dásá* «вид тыквы с коротким горлышком» [9, с. 195], гера *ndósi* «горшок»).

3. Сем. *dakk- «ступень, скамья» (араб. *dukk-* «место» с вторичным -u-, араб. *dakk-at-* «скамья, возвышение из камня», тигре *dəkk-a* «скамеечка для ног», *dakk-at-* «палуба») [7, с. 65] — з.-чад. *dak[al]- (хауса *daká-li* «низкая глиняная платформа у дверей дома зажиточного человека»).

4. Сем. *dadd-/*dād- «родич» (аккад. *dād-*, *dadd-* «любимец, любимый родич», др.-евр. *dōd* «любовь, любимый; дядя», араб. *dād* «дядя», араб. *dad-a(h)* «кормилица, мамка», чаха *dada* «почетный титул», энн *dāda* тж.) [7, с. 62] — з.-чад. *dād- «обращение к старшему» (сура *n-dāa*, ангас *(di)dē* «титул вождя», нгизим *dādú* «обращение к матери»). Сюда же относится ц.-чад. *dad- (гисига *dada* «мать»).

5. Сем. *dawm- «дерево» (араб. *dawm-* «большое толстое дерево», тигре *dāta* «баобаб»; едва ли сюда же относится аккад. *dim-t-* и угар. *dm-t* «башня, столб») [7, с. 76] — з.-чад. *damw- «дерево» (ангас *dam*, *ndam* «шалка», карекаре *dāmī* «тамаринд», болева, нгамо *dēmī* тж., кирфи, гера, галамбу *dāmà* тж., мия *dum* «дерево, древесина»; на *-w- указывает закрытый слог в ангасе), ср. также ц.-чад. *dam- (гисига *dum* «высокое дерево») и в.-чад. *dam- (сокоро *dāmē* «шалка»).

6. Сем. *ganah- «рука (выше локтя), подмышка» (араб. *ganāh-* [10, с. 469; 11, с. 92]) — з.-чад. *hV-gan- «рука, плечо» [5, с. 218].

7. Сем. *'aws- «волк» (араб. 'aws- [11, с. 16]) — з.-чад. *'awc- (>*'acc-) «собака» [5, с. 230—231] (ср. тала *àss* тж.), ср. в.-чад. *'a(w)c- тж. (зиме *əddā*).

8. Сем. *'alVw- «лист, листва» (др.-евр. 'ālē, араб. сир. 'elw-) — з.-чад. *Halaw- «лист» (перо *ālūw*, тангале *ala* «трава», джимбин *alūhu*). Здесь и далее используются материалы докладов А. Ю. Милитарева и О. В. Столбовой «Proto-Afrasian Cultural Terms» и «Common Afrasian Phonological System», прочитанных на 5-м Международном семитохамитском конгрессе (Вена. 1987).

9. Сем. **ma'(y)*- «вода» (аккад. *mū*, мн. ч. *māmū*, др.-евр. *mayim* (мн. ч.), араб. *mayyā* (мн. ч.), араб. *mā'*) [12, с. 185] — з.-чад. **mā'*- «вода» (геджи *maa*, польчи *mā*, гурунтур *maa*, ангас *mwē* «сок»), ср. ц.-чад. **ma'(y)*- тж. (гуде *mā'in*, мн. ч.), в.-чад. **mi-* тж. (сомрай *mīmī*, мн. ч.). Видимо, отыменным является геез *māhwa* «становиться жидким».

10. Сем. **marr-* «лопата, мотыга» (аккад. *marr-*, араб. сир. *marr-*, *ma'r-*, араб. *marr-*, тигре *məran* «часть плуга») — з.-чад. **mār(r)*- «поле» [5, с. 233], ср. далее в.-чад. **mar-* «мотыга» (сомрай *mārā*). Пельзя исключить отглагольное происхождение данной основы, ср. в семитском — амх. *marattara* «копать», в чадском — болева *mar* «мотыжить», нгамо *mira* тж.

11. Сем. **šakk-* «ряд» (араб. *sakk-*, геез *sāk^w-at-* «улица, поселение» — з.-чад. **sak-* «ряд, строй» [5, с. 176].

12. Сем. **sarar-/saran-* «вождь» (др.-евр. *səṛānīm* «водители филистимлян» (мн. ч.), араб. *sarār-* «знать», мн. ч. *saraw-at-* «водители» — з.-чад. **cāra[m]*- [5, с. 183].

13. Сем. **šap(V)*- «вид птицы» (аккад. поздн. *šap-t-*) [8, с. 18] — з.-чад. **šāf-* «сокол» (хауса *šāfò*, *šāhò* [9, с. 922]). В семитском представлено также префиксальное производное — араб. *'a-sfa'* «сокол».

14. Сем. **šap[w]*- «вид дерева» (араб. *šaf-ān-* «дерево с шипами») [8, с. 6] — з.-чад. **šāpw[i]* «вид дерева» (хауса *šāfò* «дерево» [9, с. 921], кирфи *šōrrīnā* «лес», гера *šāfā* тж., герума *šāppā* «дерево»).

15. Сем. **šab[w]*- «лезвие меча» (араб. *šabā-t-*) [8, с. 35] — з.-чад. **šabw-* «меч, топор» [5, с. 195] (с несколько иной реконструкцией значения и без *-w*, что оставляет без объяснения *-u-* в хауса *zūbē* «ритуальные насечки» < **zawb-* и фонетические свидетельства в пользу закрытости 1-го слога). Ср. также хауса *zābō* «род меча» [9, с. 1119] и ц.-чад. **zab-* «резать, топор» (фали джилбу *zabi* и т. п.).

16. Сем. **šā[w]k-* «нога» (др.-евр. *šōq*, араб. *saq-* [11, с. 351; 13, с. 830]) — з.-чад. **šaku* «нога» (боккос *sakur*, ша *saka'u*), ср. также ц.-чад. **sak[u]* тж. (кусери *msāke*, зехвана *sugè*, матакам *sak* и т. п.).

17. Сем. **ṭabb-* «полоса кожи» (араб. *ṭabb-at-* [11, с. 442]) — з.-чад. **ṭab-* «повязка» (хауса *tōbi* «женская набедренная повязка» [9, с. 1117], *tābārē* «белая материя, которую носят, сложив вдвое» [9, с. 967]).

18. Сем. **ṭašš-*, **ṭaš-* «миска» (араб. *ṭass-*, *ṭās-*) [7, с. 43] — з.-чад. **tāš[a]* «чашка, миска» (хауса *tāšā* [9, с. 1001], геджи *tāssè* «большой горшок для воды»), ср. также в.-чад. **ṭas[a]*- «крышка» (сокоро *dasāṅa* «крышка от корзины»). Предположение о заимствовании в хауса из арабского [7], видимо, неверно.

19. Сем. **ṭabal-* «барабан» (аккад. *ṭabal-*, араб. сир. *ṭabl-* «тимпан, тамбурин, бубен», араб. *ṭabl-*) [7, с. 40] — з.-чад. **tambal-* «барабан» (хауса *tāmbārī* «полусферический барабан» [9, с. 987], нгизим *tāmbāl*). Восстанавливается также в.-чад. **tambal-* «барабан» (тумак *tāməl*, сокоро *tāmbal*).

20. Сем. **zabVr-* «слово, речь» (араб. *zabr-*) [8, с. 26], ср. также без *-r*- гураге *zobe* «ритуальный танец на похоронах знатного человека» — з.-чад. **zāb[a]*, **zāb[i]* «песня, танец» (хауса *zābāyā*, *zābiyā* «женщина, запевающая в хоре» [9, с. 1119], цагу *zābè* «танец», мия *zābū* «танцевать», сири *zāba* тж. и т. п.). Ср. также тумак *zob* «вид танца на похоронах».

21. Сем. **sahVr-* «луна», (др.-евр. *sah^rrōnīm* (мн. ч.) [13, с. 796], араб. *šahr-* «новая луна» [11, с. 391; 10, с. 1612]) — з.-чад. **caH[u]*- «луна» [5, с. 201] (ср. туле *sāsūr*). Видимо, производный характер имеет глагол др.-евр. *šhr* «сиять».

22. Сем. **tāhin-* «зуб» (араб. *tāhin-at-* «коренной зуб» [11, с. 445]) — з.-чад. **[t]āhin-* «зуб» [5, с. 168].

23. Сем. **taḵVr-* «палка» (арам. сир. *taqr-* «палка, скипетр, пастушеский посох») [7, с. 14] — з.-чад. **takar-* «шест» (нгузим *tākárwá* «длинный пастушеский шест»). Сомнительной представляется предполагаемая в [7] связь с **tVḵ-* «бить, разбивать».

24. Сем. **baraḵ-* «баран» (аккад. редк. *baraq-*, араб. *baraq-*) [6, с. 90] — з.-чад. **bārk-* «козел, баран» [5, с. 155—156].

25. Сем. **ša'ar-* «волосы» (араб. *ša'af-at-* «прядь волос, чуб, волосы») [8, с. 42] — з.-чад. **šaHVf-* «волосы» [5, с. 202].

26. Сем. **gabar-* «мужчина» (др.-евр. масор. *gēbēr*, самар. *gābār*, араб. сир. *gabar*, араб. *gabr-*, геез *gābr*) [14, с. 79] — з.-чад. **gVbar-* «человек, мужчина» (>**gbar-* >**g^war-* [5, с. 219]).

27. Сем. **'abun-* «камень» (аккад. *abn-u*, др.-евр. масор. *'ōbēn*, самар. *'ōbēn*, геез *'ābn*) [14, с. 78] — з.-чад. **'abun-* «жернов» [5, с. 230], ср. также ц.-чад. **Vbun-* тж. (гидар *būna*, мусгум *fūni*, зиме *vəndā*).

28. Сем. **lahim-* «еда» (др.-евр. масор. *lēhēm*, самар. *lēm*, араб. сир. *lahem*, араб. *lahm-* [14, с. 75]) — з.-чад. **laHVm-* «мясо» (зар *lam*).

29. Сем. **malik-* «царь» (аккад. *malk-*, др.-евр. масор. *mēlēk*, самар. *mālēk*, араб. *malik-*, *malk-*) [14, с. 75] — з.-чад. **mal(V)k[u-* «вождь» (с метатезой в **maHal-* «брат» [5, с. 234]).

30. Сем. **nu-ball-* «перо» (аккад. *nu-ball-* «орлиное перо» [6, с. 99]) — з.-чад. **ḏV-bal-* «плечо, рука» [5, с. 156] (в результате ассимиляции), ср. также ц.-чад. **b[u]l-bal-* «плечо, рука» (леле *bubla* «плечо», кусери *pala* «рука», логоне *phala* тж., гульфей *ball* тж.), что может указывать на *-u-* в 1-м слого в и в западночадском. В семитском начальный *n-* < **m-* вследствие распада в последующим губным.

31. Сем. **ša'ar-* «волос» (араб. *sa'af-* «конский волос» [8, с. 19]) — з.-чад. **saf-* (<**saHal-*) «силос» (хауса *sāfū*, *sāhū* [9, с. 882]), ср. также в.-чад. **safi* «веревка» (сокоро *šifi*).

32. Сем. **hābi-* «кувшин» (араб. *hābi'-at-*, *hābiy-at-* «большой кувшин» [11, с. 148; 10, с. 602]) — з.-чад. **hābiH-*, **hābiy-* «горшок» [5, с. 214].

33. Сем. **pašk-* «полено» (аккад. *pašk-*) — з.-чад. **pask[u]* «щепка» (хауса *fāškà-rē* «лучинки» [9, с. 311], дера *piek* «стрела», карекаре *fāskū* тж., джими *pussko* тж.).

34. Сем. **sa'ar-* «ячмень» (др.-евр. *sə'ōr-ā*, араб. *sə'ār-ət-*, араб. *ša'ir-*) — з.-чад. **caHVr[a]* (хауса *čārāriyā* «вид бобов» [9, с. 1030]). В арабском огласовка 2-го слога *-i-*, видимо, вторично образована по продуктивной модели *qatīl*.

35. Сем. **karr-* «ягненок» (аккад. *karr-*, др.-евр. *kar*) — з.-чад. **kar-* «овца» (сайанчи *kərò*, вандай *karò*). Как в семитском, так и в чадском имеется параллельное образование с близким значением и с тем же консонантным костяком, но с огласовкой *-i-*, относительно которого неясно, является ли оно самостоятельным словом или отражает колебание *-i-/a-* в афразийском, см. № 72.

36. Сем. **šayr-* «меч» (араб. *sayf-*, харсуси *sēf* — из арабского?) [8, с. 17] — з.-чад. **sayf-* «топор» (ангас *sap*, *sep*, сура *səp*, чип *sép*, монгол *sep*. анкве *sap*), ср. также ц.-чад. **sayf-*, **HV-sayf-* «железный» (логоне *xsūfu*, будума *šūi* и т. п.).

37. Сем. **ḥay(V)š-* «яйцо» (аккад. *pēšū* «белый», др.-евр. *bēš-ū*, араб. сир. *bī'-t*, араб. *bayd-*, тиграй *bīča* «желтый») — з.-чад. **m-bayač-/m-biyač-* «яйцо» [5, с. 261]. В том случае, если в чадском первичен вокализм 1-го

слога *-u-*, мы имеем здесь соответствие сем. **a* — з.-чад. **u* после губного, см. ниже.

38. Сем. **haym-* «палатка, навес» (араб. *haym-at-*) — з.-чад. **ḡawm-* «хижина» (>**ḡʷam-* [5, с. 221]) с неясным соотношением сонантов (*-w* <*-y-* перед губным в чадском?).

Как видно из примеров № 36—38 а.-а. **a* в положении перед **y* развивалось, как и в других позициях. Однако ситуация была иной, если за **y* следовал **i*. В этом случае старое сочетание **ayi-* сохранялось в семитском, но подвергалось стяжению в **ī* в чадском.

39. Сем. **bayit-* «дом» (аккад. *bīt-, bēt-*, др.-евр. *bayit*, араб. *bayt-, bēt-*, араб. *bayt-*, геэз *bet*) [6, с. 102] — з.-чад. **HV-b[īt-* «хижина» [5, с. 149].

40. Сем. **gay[il]-* «долина» (др.-евр. масор. *gay*, геэз *ge* «страна») [14, с. 81] — з.-чад. **gī-* (ангас *kī* «bush land»).

41. Сем. **layil-* «ночь» (аккад. *lila-ti*, др.-евр. *layil, laylā*, араб. *layl-*, геэз *lēlēt*, араб. сир. *līlʿyō* [12, с. 147]) — з.-чад. (**lī-*, **līl-* «луна» (зар *lī, līl*)).

Аналогичное стяжение отмечается для группы **uwa-*, которая в чадском отражается как **u*.

42. Сем. **puwad-* «сердце» (араб. *fuwād-*) [6, с. 31] — з.-чад. **pūd-* «сердце» (сура *pūt, ангас pūt*).

В большом числе примеров отмечается соответствие сем. **i* — з.-чад. **a* (предположительно из **ya*). На основе этого соответствия мы реконструируем а.-а. **e*. В некоторых примерах соответствие сем. **i* — з.-чад. **a* отмечается в тех случаях, когда во 2-м слове с достаточной надежностью реконструируется а.-а. **a*. При этом в отдельных чадских словах сохраняются следы палатализации начального согласного, свидетельствующие о том, что з.-чад. **a* здесь из **ya*. Кроме того, **y* может быть перемещен во 2-й слог, где он сохраняется как **y* или как гласный 2-го слога **i*. В свете результатов, полученных выше, можно, таким образом, заключить, что в нижеследующих соответствиях источником корневого гласного — в ностратической перспективе — может быть как **i* (перед **a* 2-го слога), так и **e* (с нормальным развитием в з.-чад. **ya* > **a*).

43. Сем. **kib-* «пшеница» (аккад. *kib-t-*, тигре *kābbā* «каша») — з.-чад. **kab(H)-* «вид каши» (хауса *kābū* «вид каши из проса» [9, с. 484], *kābʿī* «вид проса» [9, с. 515]).

44. Сем. **ḡib-* «растение» (аккад. *zibū* «тмин») [8, с. 31] — з.-чад. **ḡab[a]* «растение» (хауса *jābārē* «сорняки на рисовой плантации» [9, с. 484], нгизим *ḡābī*). Однако ввиду ц.-чад. **ḡib-* тж. (бачама *jiba* «лист») не исключено развитие з.-чад. **ḡab[a]* из **ḡib[a]*.

45. Сем. **šib-* «злак» (аккад. *šibš-* «налог в зерне») [8, с. 12] — з.-чад. **sab-*, **samb-* «злак» [5, с. 176].

46. Сем. **si-* «овца» (аккад. *šū'-*, др.-евр. *šē*, араб. *si-t-*, араб. *šā-t*, мн. ч. *šā'*) — з.-чад. **šaw[aly-* «мясо» [5, с. 200]. На исходное **i* в арабском может указывать другая форма мн. ч. *šiyāh*.

47. Сем. **dim-* «кошка» (араб. *dimm-at-*, геэз *damm-at*) [7, с. 73] — з.-чад. **dām[i]-* «леопард» [5, с. 171], ср. также в.-чад. **dam-* тж. Неясно, как соотносится с семитским **dim-* аккад. *dumām-* «гепард».

48. Сем. **dim-* «дождь» (арам. сир. *dīm-ēt-* «легкий туман с росой», араб. *dīm-at-* «продолжительный легкий дождь») [7, с. 72] — з.-чад. **dām[i]-n-* «дождь» (хауса *dāminā, dāmūnā* «сезон дождей» [9, с. 208]), ср. также ц.-чад. **dīma-n-* тж. (<? **dami-n-* (логоне, кусери *deman*)).

Неясно, как соотносится семитский материал с араб. *damm-, dimām-* «облако без дождя».

49. Сем. **hiṣṣ-* «песок» (аккад. *hiṣṣ-*, геес *hoṣa*) — з.-чад. **ḡyaṣ* «песок» (хауса *kásá* «земля» [9, с. 575], вандай *ngēsi*, двот *ngèzi*, зар *ngāci*, *ng^uačū*).

50. Сем. **dim-*, **dim-at-* «насекомое» (аккад. *dim-ī-t-* «саранча», *dim-ān-* «насекомое», араб. *dim-at-* «вошь») [7, с. 72—73] — з.-чад. **d[ɪ]lam-* «паук» (хауса *dāmanā* [9, с. 203], монгол *ṭam*, герка *tam*).

51. Сем. **girr-* «злак» (др.-евр. *gērā* «зерно, боб, жвачка» [13, с. 161], араб. *girr-at-* «жвачка» [11, с. 75]) — з.-чад. **gyar-* «просо» [5, с. 219]. Видимо, возможна параллельная реконструкция ц.-чад. и в.-чад. **gir[a]-*.

52. Сем. **tikk-*, **tik-* «затылок» (аккад. *tikk-*, *tik-*) [7, с. 10—11] — з.-чад. **t(i)yak-* «шея, затылок» [5, с. 241].

53. Сем. **sippar-* «птица» (др.-евр. *sippōr*, араб. сир. *šippār*) [8, с. 22] — з.-чад. **cyar[alr]*, **cyar[al-]* «цесарка» (варджи *čarur*, богом *šār*, кир *šarṭi*). Сюда же относится ц.-чад. **šipar-/šapar-* «цесарка» (что, может быть, указывает на общечадскую реконструкцию **cyar-ar-*).

54. Сем. **tikk-* «шнур» (араб. *tikk-at-* «шнур, сдерживающий ширинку штанов») [7, с. 11; 10, с. 310] — з.-чад. **tāk-* «шнур» (хауса *tākā* «кожаная набедренная повязка, силон, ловушка» [12, с. 977]).

55. Сем. **pī-* «угол, край» (др.-евр. *pē'ā*, араб. *pā'-t-*) — з.-чад. **fyaH-* «стрела» (дафо-бутура *vyàh*, боккос *vyà*).

56. Сем. **iš-* «огонь» (аккад. *iš-āt-*, др.-евр. *'ēs-*, араб. *'iṣ-āt-*, геес *'asāt-*) — з.-чад. **yas-* «огонь» [5, с. 238].

57. Сем. **pīrr-* «мышь» (араб. *bīrr-*, ср. также аккад. *pērūr-ūt-*) — з.-чад. **p(yar)* «мышь» (хауса *bērā* [9, с. 101]). Тумак *bārāṅ* тж. свидетельствует в пользу **pīra-* в восточночадском.

58. Сем. **li'(w)-* «корова» (аккад. *lū* < *li'um* «дикий бык», *li-tt-*, др.-евр. и.с.ж. *lē'-ā*, араб. *lā'(in)* «дикий бык») — з.-чад. **la'[u]* «мясо» [5, с. 238]. В арабском, видимо, вторичное *-a-*. На исходное семитское **i* может указывать также явно родственное аккад. *laliw-*, *lalū* «теленка» (не связанное с з.-чад. **laH-* «овца»).

Имеется большое число примеров, в которых сем. **i* соответствует з.-чад. **i*. В этих случаях мы реконструируем а.-а. **i*. Из вышесказанного ясно, что данное соответствие выдерживается в тех случаях, когда во 2-м слог в чадском (и афразийском) отсутствует **a*.

59. Сем. **birk-* «колени» (аккад. *birk-*, др.-евр. *bērēk*, араб. сир. *birk-*) [6, с. 88] — з.-чад. **h-bir-* «колени» [5, с. 156]. В семитском наличествуют также варианты с *-u-* (аккад. *burk-*, араб. сир. *burk-* «колени, колени-преклонение»), которые могут объясняться влиянием начального губного. Вторично *-a-* в арабском производном *bark-* «грудь верблюда в том месте, где он касается земли, становясь на колени» (араб. *brk* «становиться на колени»).

60. Сем. **till-* «тень» (аккад. *šill-*, др.-евр. *šill-*, араб. *ṭall-*, араб. *zill-*, геес *səlāl-*) — з.-чад. *(*n*)*čil-* «тень» (ангас *žil*, ша *čala*), ср. также ц.-чад. и в.-чад. **čilim-* «черный» (будума *čulum*, *čélām*, *čilim*, гульфей *səlām*, дангла *zilim*).

61. Сем. **liš-an-* «язык» (аккад. *lišānu*, др.-евр. *lišōn*, араб. *lišān*) [12, с. 184] — з.-чад. **ha-lis-* «язык» [5, с. 237], ср. также в.-чад. **lis-* тж. (муби *liši* и т. п.)

62. Сем. **pīt-* «полотно» (др.-евр. *pēšēt*, ж. р.) [6, с. 34] — з.-чад. **pīč-* «полотно» (дафо-бутура *pīs* «саван»).

63. Сем. **pid[V]r-* «жир, грязь» (др.-евр. *pēdēr* «жир», араб. иуд. *pīdr-* «навоз») [6, с. 13] — з.-чад. **pid(-Vn)-* «жир, грязь» (хауса *findi*

«экскременты», дафо-бутура, боккос *fiḏól* «жир», кулере *fiḏyol* т.ж.), ср. также ц.-чад. **pidVr*- «масло» (хона *fiḏara*, габин *fiḏete* и т. п.).

64. Сем. **šidṭ*- «шесть» (аккад. *šeššu*, др.-евр. *šēš*, араб. *šitt*- [12, с. 191]) — з.-чад. **sid*- «шесть» [5, с. 176]. Ср. также в.-чад. **sid*- (кван *sidē* т.ж.).

65. Сем. **šinn*- «острие» (др.-евр. *šēn* «колючка» [13, с. 707], возможно, также араб. *šinnār-at*- «рыболовный крючок, кончик веретена» [11, с. 422]) — з.-чад. **čin*- «острие, зуб» [5, с. 184]. Ср. № 67.

66. Сем. **šip*- «берег» (араб. *šif*-, джиб. *šif-t*- «побережье») — з.-чад. **sip*- «река» (анкве *šip*). Ввиду долготы в арабском возможна и альтернативная реконструкция сем. **šip*-, **šipp*-.

67. Сем. **šinn*- «зуб» (аккад. *šinnu*, др.-евр. *šēn*, араб. сир. *šennā*, араб. *sinn*- [12, с. 184]) — з.-чад. **sin*- «зуб» [5, с. 261]. Ср. в.-чад. **ka-sin*- (тумак *hiin*, дорма *gā-sene* т.ж. и т. д.).

68. Сем. **ti'in*- «смоква» (аккад. *titt*-, др.-евр. *tīn-at*-, др.-евр. *tā'ēn-ā*-, араб. иуд. *tēn-t*-, сир. *tētt*-, араб. *tīn*-, харири *tīn(i)* «плод кактуса») [7, с. 17] — з.-чад. **ti'un*- «смоква» (сура *tiṅ*, ангас *teung*).

69. Сем. **di'ib*- «волк» (аккад. *zīb*- «шакал», др.-евр. *zā'ēb*-, араб. *di'b*-, араб. *di'b*-, геез *zā'b* «гиена») — з.-чад. **zi'Vb*- «вид животного» (хауса *zībzīb-tā* «грифон, белоголовый сип» [9, с. 499], нгизим *zīb-dā* «виверра»). В чадском на наличие 2-го гласного указывает отсутствие эмфатизации **b*.

70. Сем. **zibn*- «плетение» (аккад. *zibn*- «циновка») [8, с. 27] — з.-чад. **zimb*- < **zibn*- «плетение» [5, с. 188] (в хауса *zūbā* «корзина» [9, с. 1142] с *u* — из **zimb*- под влиянием губного).

71. Сем. **ni*(-')*s*- «мужчины, люди» (аккад. мн. ч. *nis-ū* [14, с. 86]) — з.-чад. **nis[u]* «брат» (боккос *nīs*, дафо-бутура *nīs*). Прочие семитские формы (типа др.-евр. *'anōš* «мужчина, человек») образованы от производной по отношению к **ni*(-')*s*- основы **'an(i)s*-.

72. Сем. **kirr*- «овца» (аккад. *kirr*-) — з.-чад. **kir*- «баран» [5, с. 209]. Ср. № 35.

На развитие а.-а. **i* см. еще № 22, 39—41.

Наряду с обычным соответствием сем. **i* — з.-чад. *(*y*)*a* (< а.-а. **e*, **i*) в нескольких примерах встречается обратное соотношение: сем. **a* — з.-чад. **i*. Нетрудно установить, что такое соотношение имеет место в тех случаях, когда 2-й слог содержит долгое **a*. Естественно предположить, что в этом положении сем. **a*, з.-чад. **i* являются позиционными рефлексамии какого-то переднего гласного (вероятно, а.-а. **i*).

73. Сем. **šamVn*- «жир» (аккад. *šamn*-, др.-евр. *šēmēn*-, араб. *šamn*- «топленое масло») — з.-чад. **šimān*- «масло» (дири *šimata*), ср. также в.-чад. **šiwān*- т.ж. (муби *šiwīn*, кван *šiwane* и т. п.).

74. Сем. **zaman*- «время» (др.-евр. *zāmān*-, араб. сир. *zāman*-, араб. *zāmān*-, геез *zāmān*) — з.-чад. **zīmān*- «рассвет» [5, с. 190].

75. Сем. **dakal-in*- «борода, подбородок» (др.-евр. *zāqēn* «старик», араб. *daqan*-) — з.-чад. **zī[K]an*- «подбородок» [5, с. 195]. В семитском существуют также формы с огласовкой *-i*:- аккад. *ziqn*- «борода», араб. *dign*- т.ж., араб. *dign*- «глубокий старик».

76. Сем. **patt*- «моча» (араб. *fazṣ*- «конская моча») — з.-чад. **pičā-r*- «моча» [5, с. 145].

В ряде имен отмечается соответствие сем. **u* — з.-чад. **u*, на основе которого реконструируем а.-а. **u*.

77. Сем. **dud*- «горшок, котел» (аккад. *dūd*-, др.-евр. *dūd*-, араб. сир. *dūd*-) [7, с. 61] — з.-чад. **dūd*-, «калебаса» (сура *tūu*, ангас *tīt*, *da-dūt*

«маленькая калембаса»), ср. также ц.-чад. **dud*- тж. (гуду *údā*, гуде *'udda*, нзанги *úda*, бачама *dwāto*).¹

78. Сем. **duhan*- «жир» (др.-евр. *dōhan* «смазка», араб. сир. *dūhān*, араб. *duhn*-) — з.-чад. **duHn*- «жир» (хауса *dūngūlè* «любой жир или масло» [9, с. 278], сура *dōj*). Не исключено отглагольное происхождение данного имени, ср. араб. *dhn* «смазывать», тигре *dhn* «давать масло».

79. Сем. **turr*- «кремень» (аккад. *šurr*- «кремень», др.-евр. *šōr* «кремень, кремневый нож», араб. *tūr*- «гора») — з.-чад. **çūr*- «острие» (хауса *çārá* «нож без ручки» [9, с. 1046]). Отклоняется вокализм в араб. *zīrr*- «кремень» (но ср. параллельную форму *zurar-at*- тж.); возможно, старое колебание а.-а. **u*/**ü*?

80. Сем. **kuṭ(V)r*- «жир» (араб. *kuzr*- «почечный жир») [11, с. 465] — з.-чад. **k[u]ṣ-Vr*- «жир» (хауса *kíçè*, дера *čudot*, саянчи *kucṣ*). В [5, с. 208] ошибочно реконструировано **-i*-: хауса *-i* — из **u* под влиянием *-e* 2-го слога.

Пример на развитие а.-а. **u* см. также в № 27.

В позиции при губных согласных отмечается также соответствие сем. **a* — з.-чад. **u*. Ввиду рассмотренной выше ностратической этимологии з.-чад. **hur*- (№ 81), а также учитывая спорадические варианты в семитском с *-u*-, есть основания считать, что это соответствие представляет собой результат развития афразийского лабнализированного гласного (вероятно, а.-а. **u*).

81. Сем. **barr*- «открытое пространство» (аккад. *barr*-, др.-евр. *bar*-, *barr*-, араб. сир. *bar* тж., араб. *barr*- «суша, пустыня»; ср. араб. *būr*- «земля под паром») [6, с. 81] — з.-чад. **bur*- «песок, пыль» [5, с. 157—158].

82. Сем. **bat(V)n*- «живот» (др.-евр. *bētēn* «лоно, живот», араб. *biṭn*- «лоно», араб. *batn*-) [6, с. 45] — з.-чад. **buṭ*[-] «живот» [5, с. 157].

83. Сем. **baṭṭ*- «сосуд» (аккад. *bāṭ-iy*-, араб. сир. *bāṭ-i-t*-, араб. *baṭṭ-at*- «кожаный сосуд», *bāṭ-iy-at*- «сосуд для вина») [6, с. 44] — з.-чад. **būt*- «сосуд» (хауса *būtā* «бутыль», гера *mbōotā* «бутылочная тыква»), ср. также ц.-чад. **but*- «горшок» (га'анда *būta*, габин. *būta*, бока *ṭita*).

84. Сем. **para*'- «онагр» (аккад. *parū*, др.-евр. *pērē'*, араб. *fara*'-) — з.-чад. **purVH*- «лошадь» (герка *pəru*, дафо-бутура *purí*), ср. также в.-чад. **pur*- тж. (мокилко *purá*, мвульен *puró*).

85. Сем. **ram(m)*-/**pum(m)*- «рот» (арам. сир. *pūm*-, иуд. *pimm*-, араб. *fām*-, *fum*-, *fumm*-) [6, с. 124] — з.-чад. **fun[a]*-H- «рот, отверстие» [5, с. 160] (с диссимильцией из **fum[a]*-H-?). Ср. далее № 92.

86. Сем. **šabb*- «ящерица» (араб. *šabb*-) — з.-чад. **šumb*- «лягушка» (хауса *šumbē* [9, с. 1045]), ср. также ц.-чад. **ciw(V)b*- тж. (габин *tsowəbe*, *šux'əbe*, га'анда *šuhəba*).

Возможно, к этой же группе примеров должен быть отнесен и № 37.

Ряд семитско-чадских соответствий указывает на соотношение сем. **i* — з.-чад. **u*, что свидетельствует о наличии афразийской фонемы **ü*. Имеющиеся в семитском колебания в отражении **ü* получают удовлетворительное объяснение с учетом афразийского гласного 2-го слога.

87. Сем. **hiṭ*[-]/**hiunt*[-] «ячмень» (аккад. *'uṭṭ-ut*-, *'uṭṭ-at*-, др.-евр. *hiṭṭ-at*-, араб. *hiṭṭ-ət*-, араб. *hiṭṭ-at*-, геэз *haṭṭ-at*-) — з.-чад. **hiunt*- «вид злака» (хауса *gūndu* «вид проса» [9, с. 408]). Согласно Вяч. Вс. Иванову, данное афразийское слово имеет индоиранские параллели и, возможно, является заимствованием из (индо)иранского.

88. Сем. **bir*- «крепость, укрепленное здание» (аккад. *bīr*-, др.-евр. *b̄ r-ā*, араб. сир. *bīr-ət*-) [6, с. 92] — з.-чад. **bur* — «место, дом» [5, с. 155].

Заслуживает внимания ц.-чад. *bir-? < *buri- «хижина» (мандара *bre*, *birem*, будума *beri*, логоне *bere*).

89. Сем. *'a-bir- «жеребец» [др.-евр. 'abbīr «жеребец; сильный (о коне)»] — з.-чад. *IV-bur[i] «лопадь» (сура *bāriy*, ангас *brūng*, фьер *buri*, боккос *mbiri*). Аналогичную реконструкцию следует предполагать для ц.-чад. *bur- тж. (дангалеат *boora*, логоне *mbūri* «осел» и т. п.).

90. Сем. *'il- «холм» (аккад. *tīl-*, др.-евр. *tēl*, араб. сир. *tell-*; вероятно, вторично -a- в араб. *tall-*) [7, с. 26] — з.-чад. *tul- «холм» (хауса *tūllūwā* [9, с. 1953]).

91. Сем. *riway- «вода» (др.-евр. *rī* «обилие воды», араб. *riway-* тж.) [15, с. 203] — з.-чад. *ruwa[y]- «вода» (хауса *rūwā*, мн. ч. *rūwāyē* [9, с. 871], галамбу *rwā* «река»).

92. Сем. *pi'- «рот» (аккад. *pī* наряду с *pū*, *pā'*-, др.-евр. *pī*, *pē*, араб. *fūw-*, *fūh-at-*) [6, с. 124] — з.-чад. *fuH- (фьер, боккос *fo*, дафо-бутура *fo*, *foh*). Поскольку следует предполагать а.-а. *fū' u-, допустимо считать, что в семитском варианты с *u* — результат раннего выравнивания вокализма по 2-му слогу.

93. Сем. *šim- «имя» (аккад. *šumu*, др.-евр. *šēm*, араб. сир. *šēmō*, геэз *sem*) [12, с. 264] — з.-чад. *sum[i]-n- «имя» [5, с. 178]. При васлированной форме в классич. араб. 'ism-, ср. йем. диал. *sm*. Аккадская огласовка объясняется диссимилятивным развитием исходного а.-а. *sūmi. Ср. также в.-чад. *sum[i]- тж. (сомрай *sūmī*, тумак *hīm*).

Еще один пример развития а.-а. *ū см. в № 68.

На основе соответствия сем. *u — з.-чад. *wa реконструируется а.-а. *o. Далее з.-чад. *wa утрачивает лабиальный элемент (что в большинстве случаев сопровождается удлинением гласного или переносом -w- во 2-й слог), но сохраняет его после ларингальных и велярных, получающих губную артикуляцию.

94. Сем. *bud- «плечо» (аккад. *būd-*), иначе ср. [6, с. 14] — з.-чад. *sV-bād- «плечо» (варджи *za-bādāi*, кария *zā-bādā*, мня *lām-bādī*, *zā-bādī*), ср. в в.-чад. тумак *bed* «рука», ндам *bād* тж.

95. Сем. *su'b- «ливень» (араб. *šu'būb-*) [10, с. 1489] — з.-чад. *saHb- «сезон дождей» (кирфи *šābū*, гера *sāhū*). Возможно, это слово является отглагольным производным, ср. геэз *š'b* «иметь поллюцию».

96. Сем. *'ur[a]ḥ- «путь» (аккад. 'urḥ-, др.-евр. 'ōrah, араб. 'urḥ-) [15, с. 216] — з.-чад. *'war- «дорога» [5, с. 231].

97. Сем. *sur(V)š- «корень» (аккад. *šurš-u*, др.-евр. *sōrēš*, араб. *šeršā*) [8, с. 17] — з.-чад. *cār[w]i- «корень» [5, с. 200], ср. также ц.-чад. и в.-чад. *c[w]ar- тж. (гера *šāsār*, гуду *sāli*, дхведе *šalā*, зиме *sōr*, леле *sara*, тумак *həraw*, кван *kisar-ke*). В чадском, вероятно, -w- перенесено из 1-го слога во 2-й.

98. Сем. *'uru- «овца» (араб. 'uru-*iyu-at* «дикая овца») — з.-чад. *'aru- «козел» (хауса *ārà-ārà* «баран» [9, с. 34], монтол, герка *ur*, кулере *wār*). Неясно, относится ли сюда аккад. 'aru-*iy-* «газель».

99. Сем. *huš(s)- «пальмовый лист» (аккад. *hušs-* «тростниковая хижина», араб. *hūs-*, араб. *hūs*, сокотри *hēs-* «лист») — з.-чад. *h^uaç[i]- «лист баобаба» < *hwaç[i]*- (хауса *gāçikā* [9, с. 372], зар *g^uas*).

100. Сем. *kurr- «осел» (араб. *kurr-* «осленок», *a-kurr-* «жеребенок») — з.-чад. *k^uar- «осел» < *kwar- [5, с. 210], ср. также ц.-чад. *k^uar- тж. и в.-чад. *kur- тж.

101. Сем. *suhp- «равнина» (араб. *suhb-* «обширная равнина» [11, с. 347]) — з.-чад. *sap- «почва» (хауса *šābūwā* «песчаная почва» [9, с. 920]), ср. также ц.-чад. *sap- «глина» (бата *saḥo*).

102. Сем. **zukk-* «голубь» (араб. *zukk-* «молодой голубь» [11, с. 294]) — з.-чад. **zak[la]-* «пегух» [5, с. 188].

103. Сем. **šuff-* «корзина» (араб. *suff-at-* «корзина из пальмовых листьев») [8, с. 18] — з.-чад. **samf-* «корзина» (хауса *sámfò, sáŋhò* «двуручная корзина» [9, с. 898]). Сюда же ц.-чад. **samf-* тж. (мусгум *zamfa*). Не исключено, что данное слово является отглагольным производным, ср. араб. *sff* «сплести (корзину)».

Особой была судьба афразийских гласных в чадских трехсогласных корнях, начинающихся с ларингала. В тех случаях, когда ларингал утрачивался (превращая в эмфатическую аффрикату **ç* 2-й согласный, если он представлял собой сибилант), афразийская структура $HV_1C_1V_2C_2$ -преобразовывалась в чадском в $(H)C_1V_1C_2(V_2)$. В семитском морфеме этого типа развивались обычным путем (в частности, действовало правило о влиянии долгого **ā* 2-го слога на **i* > **a* в 1-м слоге). Допустима, однако, и иная интерпретация: соотношение в № 104, 110 могут рассматриваться как отклонения от закономерных соответствий, в то время как для № 105, 106, 107, 108, 109 и 111 должны реконструироваться соответственно а.-а. **arič-*, **ħasab-*, **ašer-*, **‘abed-*, **‘alok-* (ср. реконструируемый в аудлауте чадского слова *-w-*, который мог быть перенесен из 1-го слога) и **‘ačar*.

104. Сем. **‘ačam-* «кость» (аккад. *ešem-šēr-u* «хребет, позвоночник», др.-евр. масор. *‘ēšēm*, самар. *‘āšām*, араб. *‘azm-*, геэз *‘āšm*) [14, с. 79] — з.-чад. **‘cim[a]* «нога, кость» [5, с. 182]. Для афразийского следует предполагать **‘ičam-*.

105. Сем. **‘ar(V)š-* «земля» (аккад. *‘erš-et-*, др.-евр. масор. *‘ērēš*, араб. *‘arč-*, араб. *‘ard-*) — з.-чад. *(H)*rič-* «земля» [5, с. 236]. В афразийском реконструируется **‘irač-*.

106. Сем. **ħasab-* «дерево» (араб. *ħasab-* «строительный лес» [10, с. 741]) — з.-чад. **H[al]əab-* «дерево» [5, с. 201], ср. также ц.-чад. **Hača[b]-* тж. (мандара *hāzà* «дрова», *hazà* «дерево»).

107. Сем. **‘asir-* «друг» (араб. *‘asīr-* [11, с. 497]) — з.-чад. **HVčar-* «друг» [5, с. 202]. Реконструируем а.-а. **‘ačir-*. В центральночадском, видимо, сохраняется исходная огласовка (в связи с префиксацией?) **m-HVčir-* (хиги, футу *nčwira*, каписки *msera, mtšera*).

108. Сем. **‘abid-* «раб» (др.-евр. *‘abed*) [14, с. 76] — з.-чад. *(H)*bad-* «раб» (зар *badan*, фьер *bāta-nnēēg* «рабыня»).

109. Сем. **‘aluč-* «верблюд» (араб. *‘alūq-* «верблюдица», мехри *‘ēlīč*) — з.-чад. **lak[w/u]-m-* «верблюд» (хауса *rākūmī* [9, с. 836]), ср. в.-чад. **laku-m-* (дангалеат *lokumo*, тумак *loguma*).

110. Сем. **‘ičur-* «вид птицы» (аккад. *‘iššur*) — з.-чад. *(H)*cir[uw]-* > **čiriw-* «вид птицы» (хауса *čiryū* «вид попугая», [9, с. 1041]), ср. ц.-чад. и в.-чад. **čiwur-/čiruw-* тж. (га’анда *siwir-ta* «коршун, сокол», габин *siwur-te* тж., хона *siwle* тж., муби *ūzūrum* «птица-носорог», калабай *čirra* «вид птицы»).

111. Сем. **‘ašar-* «десять» (аккад. *ešer, ešar*, др.-евр. масор. *‘ēšēr*, самар. *‘āšār*, араб. *‘ašr-*, геэз *‘āsr-u*) [14, с. 79] — з.-чад. **čaH(a)r-* «десять», с метатезой (ангас *sār*, анкве *sarr*, монтол *sai*, герка *tara*).

Таким образом, на основе сопоставления семитских и чадских производных имен реконструируется следующая афразийская система гласных фонем: **a*, **e*, **i*, **o*, **u*, **ū*. Соотношение афразийского вокализма с семитским и чадским может быть схематически представлено следующим

образом.

Семитский	Афразийский	Чадский (зап.)
* a	* a	* a
* i	* e	* ya
* i	* r	* i
* i	* u	* u
* u	* u	* u
* u	* o	* wa

Следует подчеркнуть, что полученная таким образом «сетка» звукоответствий не вступает в противоречие с нашими наблюдениями над чадско-ностратическими корреспонденциями в области вокализма. Вместе с тем мы, разумеется, не можем гарантировать, что сопоставление чадских и семитских непроезженных имен позволило выделить в с е имеющиеся в афразийском гласные фонемы (вполне возможно, что некоторые из них пока представлены в предложенной выше таблице в недифференцированном виде — в том смысле, что одному символу в столбце «афразийский» на самом деле может соответствовать более одной афразийской фонемы). Так ли это, мы сможем с большей определенностью сказать лишь после того, как к сравнению будут привлечены другие группы афразийских языков. Заметим, что результаты части 1-й могут, вообще говоря, указывать на наличие каких-то гласных, не различаемых в семитском и чадском. С другой стороны, необходимо подчеркнуть условность принятой здесь афразийской реконструкции. Мы не можем поручиться, что, например, реконструкция а.-а. *ya как источника чад. *ya и сем. *i не окажется в конечном счете более реалистичной, чем реконструкция для этого соответствия фонемы *e. Однако очевидно, что и эта проблема, т. е. проблема собственно фонетической интерпретации имеющихся соответствий, вероятно, сможет получить более достоверное решение лишь после того, как в последующих частях исследования расширится круг сопоставляемых афразийских языков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b — k.). М., 1971.
2. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь (l — z). М., 1976.
3. Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. Сравнительный словарь. (p — q). М., 1984.
4. Иллич-Свитыч В. М. Материалы к сравнительному словарю ностратических языков // Этимология. 1965. М., 1967. С. 321—374.
5. Столбова О. В. Сравнительно-историческая фонетика и словарь западночадских языков // Африканское историческое языкознание. М., 1987.
6. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. 1. / Под ред. Дьяконова И. М. // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XV Годишная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. Ч. III. М., 1981.
7. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. 2. / Под ред. Дьяконова И. М. // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XVI Годишная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. Ч. III. М., 1982.
8. Сравнительно-исторический словарь афразийских языков. Вып. 3. / Под ред. Дьяконова И. М. // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. XIX Годишная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. Ч. III. М., 1986.
9. Bargey G. P. A Hausa-English dictionary and English-Hausa vocabulary. L., 1957.
10. Lane E. W. Arabic-English lexicon. N. Y., 1865.
11. Belot J. B. Vocabulaire Arabe-Français. Beyrouth, 1898.
12. Fronzaroli P. Studi sul lessico comune semitico // Rendiconti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. 1964—1968. V. 19, 20, 23.
13. Gesenius W. Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Berlin, 1954.
14. Dolgopolsky A. Semitic nomina segolata in Ethiopic // Ethiopian studies. Proceedings of the Sixth International Conference. Boston, 1980. P. 71—90.
15. Майзель С. С. Пути развития корневого фонда семитских языков. М., 1983.

ВЕРНЕР Г. К.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЩЕЕНИСЕЙСКОЙ
ДЕКЛИНАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Возможность постановки вопросов реконструкции тех или иных фрагментов общенеисейской грамматики обеспечивается сегодня не только наличием значительного фактического материала по современным и исчезнувшим енисейским языкам, особенно по коттскому языку [1], но и наличием целого ряда серьезных специальных работ по кетско-югской грамматике, основывающихся на полевых исследованиях последних десятилетий [2—8]. Наиболее полно и обстоятельно, несомненно, исследованы категории имени в енисейских языках; тем не менее по многим вопросам именной морфологии нет пока однозначной интерпретации фактов. Думается, что обобщение достигнутых результатов в изучении имени в плане сравнительно-исторического их осмысления может пролить дополнительный свет на природу грамматических категорий енисейского имени и технику их выражения по языкам и диалектам.

Из грамматических категорий имени в енисейских языках больше всего споров продолжает вызывать категория падежа; это вновь подтвердила последняя обобщающая работа по морфологии кетского имени [8]. Сомнения у некоторых кетологов все еще существуют относительно статуса ряда падежей прежде всего в связи с нерешенностью вопроса об отграничении падежных форм от послеложных конструкций. В целом ситуация в енисейских языках мало чем отличается от состояния этой проблемы во многих других языках, например, в самодийских и финно-угорских. Более того, в последних, особенно в селькупском, обнаруживается поразительное сходство с енисейскими языками, в частности, в общей схеме построения деklinационной модели имени: она основывается в тех и других языках на оппозиции основного и родительного падежей, которая выступает как основная оппозиция всей парадигмы склонения [9, с. 64]. Другая типологически важная параллель между этими языками заключается в том, что послелого, как правило, управляют в них род. падежом имени, с которым образуют послеложную конструкцию (см., например [10]). Этот факт приобретает немаловажное значение в историческом обосновании статуса как падежей, основанных на форме основного падежа (в дальнейшем: падежи группы I), так и падежей, основанных на форме род. падежа (в дальнейшем: падежи группы II), но из него еще не вытекает с неизбежностью вывод об идентичных путях развития системы склонения в тех и других языках; скорей всего эти сходства позднего конвергентного порядка.

В специальном исследовании, посвященном послеложным конструкциям кетского языка [11], правда, отмечается, что из всех кетских послелогов четыре послелога — *duḡde*, *baḡdiŋe*, *es'aŋ*, *as'ka* — управляют основным падежом; но при более тщательном анализе соответствующих при-

меров из кетского и югского языков этот вывод оказывается сомнительным. Форма *dugde* — это образование прономинально-наречного характера, выступающее в роли союза-скрепы в предложениях типа *bu do:l'in dugde, at boyon'* «Пока он стоял, я ушел». Послелог же *ugde* (от качественного имени «длинный; длина») всегда управляет род. падежом соответствующего имени: *utal s'i-d ugde* «в течение всей ночи» (букв. «всей ночи длинна»). Послелог *ba,di,e* «до» не может быть вычленен из образований типа *yre ba,dige* «до весны», как это обычно делается, так как в данном случае представлено сложное существительное *yrebaq* «весна» (букв. «весенняя земля»), оформленное показателем дат. падежа *-di,e*. А причисление к послелогам *es'aj* и *as'ka* вообще проблематично (см. о них ниже).

В котских материалах М. А. Кастрена [1] нет прямых указаний на то, что послелог управляет род. падежом соответствующего имени или местоимения. Нет у него таких указаний и относительно енисейско-остяцких (т. е. кетских и югских. — В. Г.) послелогов, однако некоторые из них приведены с притяжательным преф. *d-*, который, несомненно, представляет собой показатель род. падежа, оторванный от предшествующего имени или местоимения, например, *de:d'* «на» (< *-d e:d'*), *daget'* «на» (< *-daget'*), *dygel* «возле» (< *-dygel*), сым.¹ *inbar*, имб. *dinbal'* «между» (< *-dinbal'*), *de:tpei* «до» (< *-de:tpei*), *dagit'* «назад, за» (< *-dagit'*), ср. *agei xolap* «задняя сторона» [1, с. 144] и т. д. Не исключено, что и некоторые из приведенных М. А. Кастреном котских послелогов [1, с. 148—149] можно истолковать таким же образом, например: *i:kat* «на» (< *-i ikat*), *i:kacaj* «от, с» (< *-i ikacaj*), *i:tal* «внизу» (< *-i ital*), *i:talcaj* «снизу» (< *-i italcaj*), *~area* «в» (< *- , area*, < *ai*) *area*, «мое нутро», где *i, y* — показатели род. падежа. Правда, М. А. Кастрен приводит словосочетание *še:t he:pa,* «до реки» вместо ожидаемого *še:ti he:pa,*, но его примеры типа *t'i:k i:kat* «на снегу» можно бы возводить к *t'i:ki ikat* по аналогии с его сымским (югским) примером *tigde:d'* «на снегу» (< *tigde:d'*) [1, с. 142].

Из факта, что в енисейских языках послелог управляет род. падежом соответствующего имени или местоимения, вытекает следующий вывод: засвидетельствованные в енисейских языках падежи группы I не могут в историческом плане возводиться к послеложным конструкциям; к таким конструкциям могут возводиться только падежи группы II, основанные на форме род. падежа (кроме самого род. падежа).

Действительно, показатели падежей группы II без особых трудностей возводятся к сочетаниям показателя род. падежа с формализованными элементами, восходящими к послелогам. Так, показатели дат. падежа в кетском и югском языках *-da,a*, *-di,a* развились из *-da + iy/iya*, *-di + iy/iya*, где *iy/iya* восходит к послелогу (ср. югск. *ab i: y bə:s'e* «меня нет», *uk i: y bə:s'e* «тебя нет», *dai: η < buda i: η bə:s'e* «его нет», *di: y bə:s'e < budi i: y bə:s'e* «ее нет» и т. д.; показатели назнательного падежа *-data-*, *-dita / -dat*, *-dit* развились из *-da + at/ata*, *-di + at/ata*, где *at/ata* восходит к послелогу со значением «за» (ср. сур. *bu oyon' dqimd a: te* «он пошел за своей женой», кел. *ad di: laq e: l'd at* «я ходил за брусничкой» и т. д.); показатели исх. падежа югск. *-dayə: r*, *-diyə: r*, кет. *-dayal'*, *-diy'al'* восходят к показателям дат. падежа, к которым присоединился в постпозиции послелог-наречие югск. *ər*, кет. *əl'* (ср. кет. *əl'ga*, югск. *ərgəj* «вне, снаружи», в которых данный послелог-наречие, оформленный показателем местн. падежа *-ga ∞ -gej*, выступает как наречие); и показате-

¹ Сокращения: сым. — сымский, имб. — имбатский, югск. — югский, кот. — котский, кет. — кетский, сур. — сургутянский (говор), кел. — келлогский (говор), бак. — бакланихинский (говор), кур. — курейский (говор).

Показатели форм единственного числа¹

Языки		коттский		кетский		югский	
		муж.р.	жен.р.	муж.р.	жен.р.	муж.р.	жен.р.
Падежи группы I	Основной	—	—	—	—	—	—
	Орудный	o:	—	as' < has'	—	jas/ʃaj	—
Падежи группы II	Совместный	oš/aš	—	as' < has'	—	jas/ʃaj	—
	Лишительный	p ^h un/ʃun ²	—	an < han	—	ʃan/pan	—
	Местный	—	—	ka/ʒa	—	keʃ/gej	—
	Продольный	—	—	bes'	—	bes	—
	Звательный	—	—	o	ʌ	o	ʌ
Падежи группы II	Родительный	a:	i	da	di	da	di
	Дательный	a:ʔa	iga	daʒa	diʒa	daʒ	diʒ
	Исходный	a:ʒaʒ	iʒaʒ ³	daʒal'	diʒal'	daʒə:r	diʒə:r
	Местно-личный	a:ha:t	iha:t	daʒta	diʒta	—	—
	Назначительный	—	—	data	diita ⁴	dat	dit

¹ Категория падежа переплетается в енисейских языках с категориями числа, класса (рода) и одушевленности/неодушевленности, что наглядно представлено на нижеприведенных таблицах. По этой особенности различаются фактически три склонения; мужское, женское и вещное. Мужское и женское склонения противопоставлены вещному еще и как одушевленное склонение неодушевленному (у последнего нет различий по числу; склоняемое слово в ед. и мн. числе получает одни и те же показатели во всех падежах, в то время как в одушевленном склонении падежные показатели совпадают в ед. и мн. числе лишь у падежей группы I).

² М. А. Кастрен не указал в своем перечне коттских падежей лишительного падежа; однако в его работе достаточно фактов, которые позволяют выделить этот падеж в коттском языке по аналогии с кетским и югским: *aifun* «без меня» (*ai* «я»), *taʒaifun* «без головы» (*taʒa* «голова»), *aii: ifun* «без жены» (*aii: t* «жена»), *anaʒaifun* «без ума» (*anaʒa* «ум») и т.д.

³ Местный падеж в коттском языке, отмеченный М. А. Кастреном, можно рассматривать как местно-личный на том основании, что в его показателях проведено различие между мужским и женским классами, как в кетском местно-личном падеже.

⁴ Кетские данные даны по среднекетскому диалекту (говору Сургутихи и Баиланихи).

ли местно-личного падежа *-daʒta*, *-diʒta* восходят к показателям дат. падежа, к которым присоединился послелог *at/ata* [12, 13; 5, с. 245].

Для показателей коттских падежей группы II приведенная общая структурная схема кетского и югского языков остается неизменной, но послеложные элементы в ней материально не совпадают с кетско-югскими, что свидетельствует о довольно позднем характере падежей группы II в енисейских языках. Об этом свидетельствует и прозрачность этимологии их показателей. Напротив, показатели падежей группы I сохраняют в различных енисейских языках в большинстве случаев значительное материальное сходство, хотя их этимология затемнена. И это может говорить в пользу их древнего происхождения. Сравним показатели падежей в кетском, югском и коттском языках (табл. на с. 86, 87).

Показатели форм множественного числа.

Для показателей форм мн. числа характерно в енисейских языках выражение оппозиции «одушевленный»: «неодушевленный», т. е. имена мужского и женского классов имеют во мн. числе общие показатели, а у имен вещного класса повторяются показатели ед. числа, общие для женского и вещного классов, которые присоединяются к форме мн. числа имени. Эти различия не выражены, однако, в группе падежей I.²

	Языки	Коттский		Кетский		Югский	
	Падежи	одуш. кл.	неодуш.	одуш. кл.	неодуш.	одуш. кл.	неодуш.
Падежи группы I	Основной Орудный Совместный Лишительный Местный Продольный Звательный	— o: oš/aš pʰuɲ/sʰuɲ		— as' < has' as' < has' an < han		— fas/faj fas/faj fan/pan	
		— — —		ka/ga bes'		kej/gej bes	
				Λ	—	Λ	—
Падежи группы II	Родительный Дательный Исходный Местно-личный Назначительный	a:ɟ	i	na	di	ɟa	di
		a:ɟa a:ɟəaɟ¹ a:ɟha:t	iga iɟəɟ iha:t	naga naɟal' naɟta	diɟa diɟal' diɟta	naɟ naɟə:r —	diɟ diɟə:r —
		—	—	nata	dita	nat	dit

¹ В коттском языке наблюдается перед *ɟ* переход *ɟ > n* [1, с. 34].

Есть основания, кроме перечисленных, предполагать наличие в енисейских языках в прошлом и некоторых других падежей в группе I, а именно — локатива на *-l*, компаратива, транслатива, эксклюзива, инструктива и др.

Для реконструкции локатива на *-l* очень важны указания М. А. Кастрена на локативные формы типа *g̃a : l* «вверху» (от *e : š* «небо, бог»), *ha : nal* «внизу» (от **ha : n* «низ»), *uɟal* «в верховье (реки)» (от **uɟ* «верховье»), *tʰi : gal* «в низовье (реки)» (от **tʰi : g/tʰi : k* «низовье»), *i : tal* «внизу, под» и т. д. [1, с. 200, 208]. Некоторые реликты этого древнего локатива можно обнаружить в кетских и югских наречиях и послелогах, например, югск. *uɟul* «рядом», *uɟul* «возле», *ɟul* «внизу»; кет. *hytil* «внизу, нижний», *qotil* «впереди, передний», *tos'il* «вверху, верхний». Локативный характер этих форм подтверждается и тем, что кет. *qotil* «впереди, впродоль, передний» соответствует югск. *xotke* с тем же значением, где *-ke* — показатель современного югского локатива.

К падежу локативной семантики общего плана, выражавшему также инструктивно-компаративные значения, можно возводить и кетско-югский пролатив на *-bes*. Во всяком случае его компаративное значение хорошо сохранилось в коттском эквативе на *-baš/paš*, например: *alšip* «собака» — *alšipbaš* «как собака; собаке подобный»; *hat* «огонь» — *hatpaš* «как огонь; огню подобный». Интересны в этом отношении югские прилагательные *surbes/surbeš* «красный» (< *sur* «кровь» + *bes* — показатель пролатива, т. е. букв. «как кровь; крови подобный»), *tigbes/tigbeš* «белый» (< *tik* «снег» + *bes* — показатель пролатива, т. е. букв. «как снег; снегу подобный»). Отмечены подобные образования и в кетском языке, например, *ul'bes'* «жидкий» (< *ul'* «вода» + *bes'*, т. е. букв. «как вода; воде подобный»). Любопытны примеры употребления кетских прилагательных в форме пролатива (мы полагаем, что это наречия), на которые указала В. С. Библикова: *daqim eddabes' kətej dejs'komndaRan* «его жену живую

(живьем) прочь бросили», *bu keʔi utalbes' dul'doq* «он человека целиком съел», *buŋ i : s' bən' taɣtubes' bilaŋin* «они рыбу несоленой ели» [14, с. 19]. Следовало бы поэтому кетско-югские слова типа *orras* «отчим», *ammas* «мачеха», *hyrras'*, *ŋyrras* «пасынок», *hunnas*, *funnas* «падчерица» и другие рассматривать не как застывшие формы социатива [15, с. 10], а скорее как формы раннего инструктива-компаратива, т. е. как формы со значением «отцу подобный; отцом приходящийся»), «матери подобная; матерью (приходящаяся)», «сыну подобный; сыном (приходящийся)», «дочери подобная; дочерью (приходящаяся)» и т. д.

Наличие нескольких локативов на более раннем этапе развития енисейских языков не должно удивлять, если учесть, что в этих языках была довольно развернутая система дейксиса, дававшая точную информацию о местонахождении соответствующего денотата по отношению к говорящему. Это подтверждают и указательные местоимения в кетском и югском, содержащие указание на сферу говорящего, общее указание и указание на удаленность от говорящего или указание на сферу «тот»: *ki* «этот» (близкий, видимый), *tu* «этот, тот» (подальше находящийся), *qa* «тот» [16].

Хотя в перечне коттских падежей *Instructiv* и *Comitativ* указаны как разные падежи с показателями *o :* и *oš/aš*, в своем коттском словаре М. А. Кастрен отмечает, однако, что *oš* «посредством» — это послелог инструктива (*ist eine Postposition für den Instructiv* [1, с. 202]). Видимо, в коттском языке не было четкой грани между этими падежами. Вопрос осложняется еще тем, что в коттском языке представлены наречия на *-a* с явным комитативным значением: *ali : i* «жена» — *ali : ta* «женат», *hatkit* «мужчина» — *hatkita* «замужем», *araçai* «ум» — *araçaja* «умно», *tu* «дым» — *tua* «дымно», *hunaŋ* «дыры» — *hunaça* «дыряво», *šeç* «камни» — *šeça* «каменисто» и т. д. Очевидно, этот же показатель *-a* представлен в сложных именах типа *hatapiš* «трут» (< *hat* «огонь» + *a* + *piš*), *hatašiš* «кремень» (< *hat* «огонь» + *a* + *šiš* «камень»), *hatagem* «ружье» (< *hat* «огонь» + *a* + *xem* «стрела»). Интересно, что комитативный характер обнаруживают и некоторые кетские и югские соответствия приведенным коттским словам: югск. *čettas* «замужем» (< *čet* «муж» + *fas* — показатель социатива, т. е. букв. «с мужем»), *xemmas* «женат» (< *xem* «жена» + *fas* — показатель социатива, т. е. букв. «с женой»). Можно, следовательно, предположить, что коттские падежи — инструктив на *-o :*, комитатив на *-oš/aš* и исчезнувший комитатив на *-a* — это падежи более раннего этапа развития енисейских языков, которые могли различаться как собственно инструктив, медиатив (инструменталис) и собственно комитатив.

Показатель *-la* в коттском языке, отмеченный М. А. Кастреном как энклитика со значением «только», можно рассматривать как реликт бывшего эксклюзива: *ton-la* «только нож». В кетском языке этот показатель сохранился, на наш взгляд, в формах наречий и прилагательных на *-la*, выражающих деминутивность, ослабленность или неполноту меры признака [2, с. 575; 14, с. 6]: бак. *aqta* «хороший» — *aqta-la* «получше», кур. *bi : l'* «далеко» — *bi-la* «подальше», кур. *qā* «большой» — *qeç-la* «побольше», бак. *inat* «медленно» — *inat-la* «помедленнее», сур. *s'u : lem* «красный» — *s'u : lem-la* «красноватый», *tum* «темный» — *tum-la* «потемней» и т. д. Правда, наряду с *-la* М. А. Кастрен приводит с таким же значением наречие *inipei* «только, именно столько», образованное с помощью показателя *-pei* от наречия *ini* «здесь»; однако другие формы на *-pei* позволяют предполагать, что этот показатель имел значение компаративно-следственного характера, например, кот. *bilipei* «сколько» (< *bili* «гдс» +

+ *pei*), *hätepei* «столько» (ср. *häteä*, «так», *häteä, o : l* «так же»). К тому же сам М. А. Кастрен склонен был рассматривать показатель *-pei* как окончание, выражающее следствие (*Consecutivendung*), и привел его в списке послелогов [1, с. 149].

Транслативное значение в енисейских языках уже в раннюю эпоху их развития выражали, очевидно, главным образом глагольные конструкции, которые довольно однообразны в коттском, кетском и югском языках. Сохранились, однако, и такие конструкции, которые могут возводиться к падежной форме. В кетском и югском языках это образования на *-es'aḡ*, которые ведут себя как падежные формы транслативно-целевой семантики [17], например: югск. *xu : d'esaḡ* «щукой чтобы обернуться», *kədəsaḡ* «человеком чтобы стать», кет. *hi : tes'a* «за клеєм (пошел)», *konRus' s'ejes'aḡ* *bu, soḡo* «для шалаша место выматривает», *ul'es'aḡ* «за водой», югск. *d'e-ḡsaḡ* «за людьми (пошел, чтобы их привести)», *tudaesaḡ oo : nde* «за этим (вещь) пошел» и т. д. В коттском языке данным формам соответствуют образования на *-o*: *ja*; *hiḡo : jaḡ* «ради, из-за лошади», *o : p o : jaḡ* «от отца»; М. А. Кастрен был склонен рассматривать *o : ja* как послелог со значениями «для, ради, из-за, от». Хотя значение кот. *o : jaḡ* и отличается от значений кет.-югск. *es'aḡ*, в историческом плане их можно возводить к формантам с транслативно-целевым значением.

Югск. *a : s* и кет. *as'* (кет. *as'ka* является формой локатива от *as'*), имеющие компаративно-эссивное значение, также выступают в некоторых случаях как падежный формант, например, югск. *at dyla : s badabe* «*t* «я как девочка» (букв. «я как девочка сделана», ср. *at dylbata : x* «я девочкой стану»), *bu figa : s dujabe* «*t* «он как мужчина», *ətn figyna : s dḷ, abet'n* «мы как мужчины» и т. д. Возможны и формы типа *ətn figyna : s bet'si* «мы как мужчины» (букв. «мы как мужчины, мужчинам подобно сделаны»). Такому толкованию элемента *a : s* противоречат, однако, примеры типа *bu daamdi, a : s ajabe* «*t* «он на свою мать похож», *bu daabda, a : s ajabe : t* «он на своего отца похож» и т. д., или примеры типа *ugy dyl ab dyl daa : s dia : bək* «твой ребенок (мальчик) похож на моего ребенка» (букв. «твой ребенок похож на моего ребенка, на его облик»), где *a : s* выступает как существительное. В примерах же *bu ab a : s kyjasyge't* «он по мне рассказывает», *kida ab a : s* «это по мне», *kida obda a : s* «это по отцу», *kida amdi a : s* «это по матери», *kida buda a : s* «это по нему» и т. д. *a : s* можно рассматривать как послелог. При наличии таких разнородных фактов говорить в первом случае о падежном форманте, очевидно, не приходится.

Заканчивая обзор падежей группы I в енисейских языках, можно заключить, что среди них в общеенисейскую эпоху было представлено несколько семантических групп, выражавших: (1) локативные отношения (локатив на *-l*, локатив на *-ke*, локатив на *-bas*); (2) компаративно-инструментальные отношения (комитатив, комитатив-инструктив, медиатив-инструменталис); (3) компаративные отношения (экватив, преклюзив, компаратив-консекутив и, возможно, эссив); (4) каритивно-лимитативные отношения (каритив, эксклюзив); (5) транслативные отношения (транслатив)². Все эти формы характеризовали состояние субъекта и восходили генетически к ремо-тематическим образованиям, в которых тема выражалась словами

² В настоящей статье особо не заостряется внимание на вопросе о статусе отдельных падежей. Ситуация в енисейских языках точно напоминает ситуацию, существующую, например, в уральских языках, и вопрос о том, правомерно ли отнесение рассматриваемых форм имени и местоимений к разряду падежных, возможно, потребует специального изучения. Мы придерживаемся в статье традиционного взгляда на эти формы имени и местоимений.

качественно-дейктической семантики. По мере их развития от словосочетаний к аналитическим, а затем — синтетическим словоформам, с формализацией конечных составных компонентов они превращались в темо-рематические образования; формализованные конечные морфоэлементы приобретали при этом способность присоединяться к любому имени в форме ед. или мн. числа, исключая случаи ограничения по семантическим причинам.

Итак, при учете, кроме реально засвидетельствованных со времен М. А. Кастрена падежных форм, различных реликтовых морфоэлементов, которые возводятся к показателям исчезнувших падежей, состав формантов падежей группы I в енисейскую эпоху может быть ориентировочно восстановлен в следующем виде:

1. Основной	—
2. Локатив I	* l
3. Локатив II	* ke
4. Локатив III	* bas
5. Комитатив I	* p ^h as
6. Комитатив II	* a
7. Медиатив (инструменталис)	* o:
8. Транслатив	* o aγ asaγ isaγ
9. Коллпаратив-преклюдив	* baj
10. Каритив	* p ^h an/p ^h on
11. Эксклюдив	* la
12. Вокатив	* o

Обращает на себя внимание тот факт, что на этой стадии развития енисейского склонения отсутствуют падежи лативной семантики, так как различные отношения, связанные с перемещением денотата в пространстве, выражались глагольными провербами [18]. Эта особенность енисейских языков не случайна, если учесть, что глаголы движения относились к классу активных глаголов, у которых одной из главных грамматических категорий была категория версии [19, с. 60—61], выражавшаяся и на морфологическом, и на словообразовательном уровнях [18].

В отличие от описанных форм, у которых грамматические форманты не были дифференцированы по числу, лицу и классу, в енисейских языках развиваются и формы имени, выражавшие эти различия. Они сохранились в енисейских языках в виде так называемых лично-предикативных форм:

Кетский	Югский	Коттекский	
<i>aqta-di</i>	<i>axta-di[?]</i>	<i>hama:-taγ</i>	«я хороший»
<i>aqta-γu</i>	<i>axta-gu[?]</i>	<i>hama:-u hamau</i>	«ты хороший»
<i>aqta-du</i>	<i>axta-du[?]</i>	<i>hama:-tu</i>	«он хороший»
<i>aqta-da</i>	<i>axta-da[?]</i>	<i>hama:-ta</i>	«она хорошая»
<i>aqta-daγ</i>	<i>axta-da:γ</i>	<i>hama:-toγ</i>	«мы хорошие»
<i>aqta-γaγ</i>	<i>axta-ga:γ</i>	<i>hama:-oγ</i>	«вы хорошие»
<i>aqtaγaγ</i>	<i>axt-e:γ</i>	<i>hama:γ aγ hama:γ aγ</i>	«они хорошие»
<i>aqi-am</i>	<i>axt-e[?]</i>	* <i>hama:γa</i>	«(это) хорошее»

В современном кетском и югском языках этих форм не удалось обнаружить у имен существительных, но М. А. Кастреном такие формы зафиксированы и для енисейско-остяцкого (т. е. кетского и югского) и для коттского. В историческом плане они тоже восходят к ремо-тематическим словосочетаниям, но в качестве темы в них выступали прономинально-дейктические слова, которые сами по себе были дифференцированы по лицу, числу и классу. В функциональном плане они выражали различные состояния субъекта.

Наряду с исходными ремо-тематическими в древних енисейских языках были представлены и темо-рематические образования, характеризовавшие активного деятеля. В качестве темы в них выступали имена активных классов — мужского или женского, — а в качестве ремы — активные глаголы. Вопрос о том, оформлялись ли активные имена в этой позиции в общененейскую эпоху особым активным падежом, если допускать, что енисейский праязык был языком активной типологии [20], остается открытым; но можно с большей степенью вероятности предполагать наличие в общененейскую эпоху двух рядов личных местоимений — активного, когда обозначался субъект активного действия, и инактивного, когда обозначался субъект, пребывающий в определенном состоянии [21], которые послужили истоком зарождения падежной оппозиции «основной падеж»: «родительный падеж», ключевой для понимания енисейской деклинационной модели в целом [5, с. 242].

Типологически сходные параллели в области личных местоимений обнаруживаются, например, в ностратических языках [22]. Интересны в связи с рассматриваемым вопросом и различные варианты личных местоимений в древних сино-тибетских языках, в частности, в древнекитайском, где каждому из вариантов были «... свойственны свои особые синтаксические функции (как англ. *I — me* или франц. *je — me — mǎ*)» [23]. В праянисейском эти ряды личных местоимений были переосмыслены как различные формы категориального характера, что как раз и явилось исходным пунктом для возникновения оппозиции «основной падеж»: «родительный падеж». С другой стороны, эти ряды личных местоимений послужили основой для возникновения двух серий субъектно-объектных показателей в структуре енисейских финитных глагольных форм — показателей Б и Д [20, с. 38—39]. Правда, показатели активной серии (показатели Б) были в свою очередь представлены еще вариантами центробежной и центростремительной версий, и очень важно подчеркнуть, что в качестве форм активного (>родительного) падежа стали осмысливаться лишь те варианты личных местоимений, к которым восходят глагольные показатели Б центростремительной версии (как уже отмечалось нами, центростремительные версияльные глагольные формы выражали действие, замкнутое на активном актанта или происходящее на месте его пребывания, в отличие от форм центробежной версии, которые, напротив, обозначали действие, направленное за пределы активного актанта или от места его пребывания [19, с. 60]).

Таким образом, падежная оппозиция «основной падеж»: «родительный падеж» зародилась сначала в сфере личных местоимений и только позднее появилась в сфере активных имен. В данном случае исходными были, как правильно предполагали В. Н. Топоров и Т. В. Цивьян, образования типа кет. *ob-da-hyp* «отец-его-сын», где *-da-* восходит к форме активного (>родительного) падежа личного местоимения 3-го л. ед. числа. В таких образованиях в качестве первого компонента могли появляться и личные местоимения 3-го л. в форме основного падежа, замещавшие активные имена мужского или женского класса: *bu-da-hyp* «он-его-сын». При учете данных коттского склонения и рядов глагольных субъектно-объектных показателей серии Б общененейские формы активного (>родительного) падежа местоимений 3-го л. ед. числа могут быть реконструированы в виде **a* (муж. класс) и **i* (жен. класс). В коттском языке они сохранили свою исконную форму, а в кетском и югском были осложнены морфоэлементом *d-*, который А. П. Дульзоном рассматривался как показатель одушевленного класса [24]. Несколько неожиданной является активная форма лич-

ного местоимения 1-го л. ед. числа в коттском: вместо губного согласного, представленного в кетском и югском ($ap \infty ab \infty av^3$), в коттской форме *aij* наблюдается заднеязычный носовой *ɲ*. Этот же согласный представлен и в лично-предикативном суффиксе 1-го л. ед. числа (например, кот. *hamataj* «я хороший», ср. кет. *aqtadi*, югск. *axtadi*? «я хороший»). Это объясняется, очевидно, тем, что в коттском языке в указанных случаях употреблялись переосмысленные исконные эксклюзивные формы местоимения «мы», а соответствующие исконные инклюзивные формы сохранились как формы местоимения 1-го. л. мн. числа.

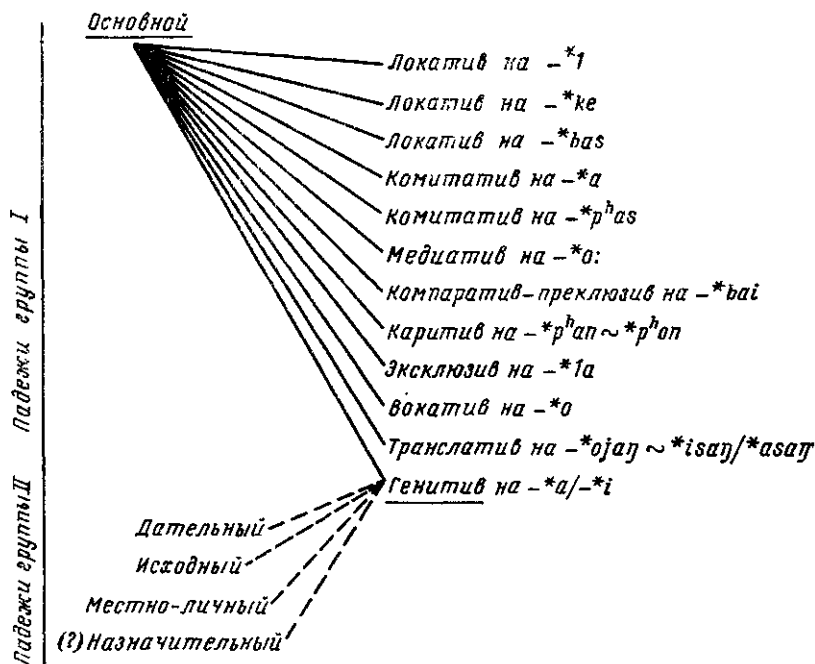
По аналогии с образованиями типа *ob-da-hyp* «отец-его-сын» строились, на наш взгляд, и глагольные формы активного действия, и прав был в известной мере Е. А. Крейнович, выдвинувший гипотезу, в соответствии с которой в енисейских языках в таких случаях обозначалась принадлежность действия лицу [25]. Поначалу в подобных образованиях посессивность, разумеется, не выражалась. Но они послужили исходным пунктом ее выражения в енисейских языках. Категория посессивности развивается позднее, когда происходят изменения в общем типологическом состоянии енисейских языков и в их строе появляются черты номинативности. Из исходных образований типа *ob-da-hyp*, в которых центральный компонент представлял собой активную форму соответствующего личного местоимения с семантикой центростремительной версии, могли постепенно вычлениваться и функционировать в самостоятельном употреблении образования типа *da-hyp* «его сын», послужившие основой для образования посессивных форм имени. А при членении исходных образований как *ob-da hyp* «отца сын», *buda hyp* «его сын» возникали формы род. падежа (обоснование см. [26]).

Новые атрибутивные синтагмы, в которых имя в форме род. падежа сочеталось с именем в основном падеже, конкурировали со старыми атрибутивными словосочетаниями, состоявшими из двух имен в форме основного падежа, и в силу более высокой информативности первых старые образования атрибутивного характера типа *s'enəŋ ty?s'* «шаманский камень» (букв. «шаман-камень») стали вытесняться из сферы активного употребления. Семантические преобразования внутри самих атрибутивных синтагм с формой род. падежа приводят в ряде случаев к ослаблению конкретного предметного значения у определяемых имен в форме основного падежа, что создавало предпосылки для образования послеложных конструкций. Интересно, что поначалу в послеложных конструкциях как бы продолжается тенденция к выражению версионных различий по аналогии с превербами. Следы этих различий хорошо сохранились в падежах группы II, возникших из послеложных конструкций. Так, новый локатив в падежной группе II, так называемый местно-личный падеж, имеет по существу адессивное значение (местонахождение, принадлежность), а дат. падеж сочетает в себе аллативное значение со значениями иллатива, инессива и терминатива. Сходную семантику обнаруживает иногда и значительный падеж, и в целом все перечисленные падежи группы II несут в себе рудиментарные черты выражения центростремительной версии. Напротив, исходный падеж, сочетая в себе значения аблатива, элатива и эгрессива, сохраняет признаки выражения центробежной версии. К исходному падежу примыкает в этом плане кетско-югский продольный падеж, исходная локативная семантика которого полностью преобразовалась

³ Судя по аринским формам *b'ar* «отец» (букв. «мой отец») и *b'am'a* «мать» (букв. «моя мать»), где вычленился посессивный преф. *b-*, такое же положение было в аринопумпокольской подгруппе енисейских языков.

(в коттском языке этот падеж на *-baš* ∞ *-paš* приобрел значение компаратива). Его исконная связь с локативами проявляется, однако, в том, что его показатель *-bes* легко присоединяется в кетском и югском к локативу на *-ka*, образуя формы типа *s'es'kabes* «вдоль по реке».

Хотя в сфере падежей группы II и наблюдаются некоторые рудиментарные черты, связанные с выражением версии, в целом появление этих падежей в системе енисейского склонения было связано с общей перестройкой языкового типа и его ориентацией на передачу субъектно-объектных отношений. Именно среди падежей группы II появляются род. и дат. падежи, т. е. падежи, характерные для парадигмы склонения языков номинативной типологии. Учитывая единообразный характер показателей род. падежа во всех енисейских языках, время его становления из образований, выражавших активное отношение между двумя именными денотатами, можно относить к общеенисейской эпохе. Предпосылки для



развития падежных форм, основанных на родительном падеже (форм дательного, исходного, местно-личного и назначительного падежей), несомненно, тоже возникли в общеенисейскую эпоху, хотя их конкретная реализация по языкам осуществляется уже на этапе обособленного развития енисейских языков, о чем свидетельствуют и различия в составе этих падежей по языкам, и различия в выборе морфоэлементов, вошедших в структуру соответствующих падежных показателей. Так, например, в югском языке отсутствует местно-личный падеж, а в коттском — назначительный, но если для югского языка можно предполагать более позднее вытеснение местно-личного падежа дательным падежом, то отсутствие назначительного падежа в коттском говорит о том, что этот падеж вообще может рассматриваться как кетско-югская инновация в деклинационной системе енисейских языков.

При учете изложенных соображений относительно состава и времени

формирования падежей можно деklinационную модель поздней общенеисейской эпохи представить в следующем виде (см. с. 93).

При реконструкции общенеисейской деklinационной модели нельзя обойти молчанием и вопрос о позиционных падежах. Думается, что с появлением род. падежа и началом процесса формирования падежей группы II, что было связано, как уже отмечалось, с общей перестройкой енисейского языкового типа, с развитием в нем черт номинативности, должен был измениться и статус основного падежа, падежа субъекта и прямого объекта. Ориентация языкового типа на передачу субъектно-объектных отношений приводит к преобразованию основного падежа в именительновинительный. Эти изменения в функциональном статусе основного падежа подтверждаются на синтаксическом уровне определенными правилами порядка слов в предложении, сохраняющимися в енисейских языках до настоящего времени: при нормальном (неэмфатическом) порядке слов в простом кетском или югском предложении подлежащее всегда занимает начальную (маргинальную левую) позицию, сказуемое — конечную (маргинальную правую) позицию, а прямой объект располагается между ними, как правило, непосредственно перед сказуемым [27]. Очевидно, эта схема порядка слов в простом предложении существовала уже в общенеисейскую эпоху тем более, что она копирует схему расположения субъектно-объектных показателей в кетско-югских глагольных словоформах с основой в конце слова, которые считаются в кетологии наиболее древними [3, с. 97].

В связи с вопросом о различиях между номинативом и аккузативом в современных енисейских языках не только в плане содержания, но и в плане выражения очень интересными представляются случаи употребления в речи кетов и югов дублетных падежных форм, на которые впервые обратил внимание В. Н. Топоров [9, с. 36]. Обычно для выражения прямого объекта используется форма основного падежа, но нередко вместо этой формы появляются:

а) форма назначительного падежа, например: *s'e : l' des'ijol'ys // s'e : l' des'ij ol'ystat* «олень зовет олененка» [9, 36];

б) форма дательного падежа: *ad u dkuγoγo // ad ukuza duγoγo* «я тебя жду»; *at u dejγusot // at ukuza dejsoγot* «я тебя ругаю».

Дублетность в таких случаях исключает ссылку на особые случаи глагольного управления типа югск. *aseradiγə : r u xoskide* «кого ты боишься?» (букв. «от кого ты боишься?»). Следовательно, можно в данном случае говорить о тенденции в развитии падежного употребления либо для выражения определенности-неопределенности, как, например, в самодийских языках [9, с. 36], либо для разграничения номинативных и аккузативных функций. Видимо, именно в этом смысле назначительный падеж иногда условно определяется как «винительный» [5, с. 244—245]. При этом нами не исключается и возможность того, что появление указанных дублетных форм в определенных случаях индуцируется воздействием со стороны русского языка в условиях активного и массового русско-кетского двуязычия [28].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Castrén M. A. Versuch einer jénissei-ostjakischen und kottischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnis aus den genannten Sprachen. SPb., 1858.*
2. *Дульзон А. П. Кетский язык. Томск, 1968.*
3. *Крейнович Е. А. Глагол кетского языка. Л., 1968.*
4. *Успенский Б. А. О системе кетского глагола // Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968.*

5. *Топоров В. Н., Цивьян Т. В.* Об изучении имени в кетском (некоторые результаты и перспективы) // Кетский сборник. Лингвистика. М., 1968.
6. *Старостин С. А.* Праенисейская реконструкция и внешние связи енисейских языков // Кетский сборник. Антропология, этнография, мифология, лингвистика. Л., 1982.
7. *Иванов Вяч. Вс.* Заметки по типологии кетского глагола // Проблемы типологии и контрастивного описания языков. Новосибирск, 1984.
8. *Валл М. Н., Канакин И. А.* Категории имени в кетском языке. Новосибирск, 1985.
9. *Топоров В. Н.* Заметки по лингвистической географии Енисея. I. Из наблюдений над структурой падежной парадигмы // Лингвотипологические исследования. I. М., 1973.
10. *Кузнецова А. И., Хелимский Е. А., Грушкина Е. В.* Очерки по селькупскому языку. Тазовский диалект. Т. I. М., 1980. С. 315.
11. *Шерер В. Э.* Послеложные конструкции в кетском языке: Автореф. дис... канд. филол. наук. Л., 1983. С. 9.
12. *Вернер Г. К.* К типологической характеристике родительного падежа в кетском языке // Структура палеоазиатских и самодийских языков. Томск, 1984. С. 16.
13. *Шерер В. Э.* Послелогои и падежные показатели в кетском языке // Структура палеоазиатских и самодийских языков. Томск, 1984. С. 61—62.
14. *Бибикова В. С.* Образование и употребление прилагательных в кетском языке: Автореф. дис... канд. филол. наук. Томск, 1971.
15. *Виноградова Л. Е.* Словообразование имен существительных кетского языка: Автореф. дис... канд. филол. наук. Л., 1981.
16. *Живова Г. Т.* Местоимения в кетском языке. Автореф. дис... канд. филол. наук. Л., 1978. С. 17—18.
17. *Валл М. Н.* О некоторых значениях *эс'аң* в функции падежного аффикса в кетском языке // Уч. зап. Омского пед. ин-та. 1969. Вып. 52. С. 167—169.
18. *Павленко Л. Г.* Типология кетских глаголов движения: Автореф. дис... канд. филол. наук. М., 1986. С. 14—16.
19. *Вернер Г. К.* Типология элементарного предложения в енисейских языках // ВЯ. 1984. № 3.
20. *Вернер Г. К.* Реликтовые признаки активного строя в кетском языке // ВЯ. 1974. № 1.
21. *Валл М. Н., Вернер Г. К.* Об истоках падежной системы в енисейских языках // Происхождение аборигенов Сибири и их языков: Материалы Всесоюзной конференции. 14—16 июня 1973 г. Томск, 1973. С. 30.
22. *Паллмайтис Л.* Личные местоимения в связи с вопросом реконструкции бореальной грамматической системы // Конференция по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков: Предварительные материалы. М., 1972. С. 63.
23. *Яхонтов С. Е.* Древнекитайский язык. М., 1965. С. 11—12, 66—69.
24. *Дульзон А. П.* Общность глагольных форм индоевропейских языков с урало-алтайскими // Уч. зап. Томского гос. ун-та. 1969. № 75. Вып. 2. С. 135.
25. *Крейнович Е. А.* О модели глаголов кетского языка с основой в начале слова // Проблемы сравнительной филологии. Сборник статей к 70-летию чл.-корр. АН СССР В. М. Жирмунского. М. — Л., 1964. С. 140.
26. *Вернер Г. К.* К проблеме границ слова в енисейских языках (на материале современных диалектов) // Семантико-синтаксические связи в языках разных систем. Кемерово, 1983. С. 25—26.
27. *Вернер Г. К.* О реализации глубинных падежей в поверхностных структурах кетского языка // Изв. СО АН СССР. Серия истории, филологии и философии. 1985. Вып. 1. С. 52.
28. *Минаева В. П.* Интерферирующее воздействие русского языка на кетский язык: Автореф. дис... канд. филол. наук. М., 1986. С. 14—16.

ДОМАШНЕВ А. И.

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА ЯЗЫКА

Говоря об исследовании синхронного состояния и процессов развития языка, лингвисты уже давно подчеркивали необходимость рассматривать, наряду с факторами пространства и времени, вопросы социальной дифференциации языка как некое «третье измерение», обязательное для всякого языкового исследования. В германистике, например, это требование наиболее настойчиво формулировалось в недрах лейпцигской школы Т. Фрингса. «Социально-лингвистическое расслоение языка, — писал П. Поленц, — необходимо всегда учитывать и для более ранних периодов при объяснении историко-лингвистических состояний и процессов; это — третье измерение (dritte Dimension) всякой географической карты» ([1], ср. [2]). Подобной же концепции придерживается и Г. В. Степанов, когда говорит об изучении вариативности как одного из фундаментальных свойств языка. Он пишет: «В регулировании процесса создания вариантов, в закреплении или упразднении вариантных форм, в использовании или неиспользовании их в коммуникативных целях главную и решающую роль играет фактор социальный» [3]. Понятие социального измерения (социального пространства) охватывает как различные социальные группы общества и его социально-классовую структуру, так и совокупный социум — носителя данного языка (национально-государственную общность, нацию).

В этой связи важно отметить, что современное языкознание учитывает лингвистические ситуации, когда две и более наций одновременно используют в качестве национального государственного или официального литературный язык, который в отношении основного инвентаря элементов является единым. К таким языкам следует отнести, в частности, английский в Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, французский во Франции, Бельгии, Швейцарии, Канаде, испанский в Испании и целом ряде латиноамериканских стран, немецкий в ГДР, ФРГ, Австрии, Швейцарии, а также португальский в Португалии и Бразилии, нидерландский в Нидерландах и Бельгии, итальянский в Италии и Швейцарии, шведский в Швеции и Финляндии. Единство таких полинациональных или национально негетерогенных языков не предопределяет обязательного тождества их национальных «ипостасей», а, напротив, основано на признании того, что «... язык может не быть идентичным самому себе на всей территории своего распространения» [4, с. 393]. Состояние неидентичности языка — это и факт многократных наблюдений, и общий постулат, т. к. «было бы нематериалистично и недиалектично считать, что язык, обслуживающий одну нацию, одно общество, одну национальную культуру и цивилизацию, одну науку и литературу, может иметь ту же природу, что и язык, распределяющий те же функции между двумя нациями» [5].

Для обозначения подобного состояния литературного языка на национальном уровне в советском языкознании используется понятие национального варианта языка. Самый термин «национальный вариант» появился в нашей лингвистической литературе в начале 60-х годов, но уже в 50-х годах, обратившись к исследованию испанского языка стран Латинской Америки, Г. В. Степанов говорил об особенностях испанского языка на «национальном уровне», о «национальных особенностях» испанской речи в Латинской Америке, отдельные национальные формы которой он называл в то время «разновидностями» [6], т. е., согласно толковым словарям, видоизменениями, частными видами какого-либо типа или явления, вариантами. Говоря о закономерностях таких образований, Г. В. Степанов подчеркивал, что «диссоциирующие тенденции» в этих разновидностях языка не могли получить свободного развития и распада языковой общности не произошло, хотя совершенно закономерно выявились факты расхождений как между испано-американскими формами языка и испано-европейским языком, с одной стороны, так и между отдельными испано-американскими разновидностями, с другой. В целом национальные языки испаноязычных латиноамериканских стран Г. В. Степанов предлагал в то время «квалифицировать как разновидности испанского языка с совпадающими тенденциями развития до сих пор единой в своей основе языковой структуры» [7]. И хотя в этих оценках еще не используется определение «национальный вариант», но именно это имеется в виду, поскольку говорится об особенностях «на национальном уровне», о «национальных особенностях». Следует отметить, что в это же время, и даже ранее Г. В. Степанова, к изучению процессов, происходящих в языке на национальном уровне, обращались и другие специалисты. Так, Э. Г. Ризель еще в 1953 г., занимаясь вопросами национального языка в Австрии, по существу первая употребила термин «вариант», подчеркнув наличие особых «национальных черт», «австрийских особенностей в рамках немецкого языка». Э. Г. Ризель рассматривала «сосуществование разных форм в словарном составе» языка австрийцев и немцев в качестве своеобразных дублетов, находящихся «на разных ступенях внедрения в общий словарь литературного немецкого языка» [8]. Конечно, для своего времени это суждение следует рассматривать в качестве шага вперед, т. к. ранее любые своеобразия в немецкой литературной речи нередко рассматривались в качестве «нарушений» нормы языка. Так, Г. Леви, анализируя характер австрийской литературной речи и сравнивая ее с немецкой, считал, что «в отношении языка в Австрии многое неблагоприятно». Свою собственную задачу он видел в том, чтобы способствовать «повышению духовного уровня» австрийцев путем «чистки» и «облагораживания» их языка, т. е. унификации его с немецкой литературной нормой [9]. Подобные оценки особенностей языка австрийцев следует признать, конечно, крайностью, тем не менее, в соответствии со взглядами других ученых, рассмотрение различительных черт немецкого языка в Австрии оказалось замкнутым в рамках вопроса «литературный немецкий язык и территориальные дублеты». Так, П. Кречмер, который, в отличие от Г. Леви, не считал австрийские элементы неполноценным явлением речи, определял их в качестве «географических соответствий» [10]. Однако и это определение является недостаточным, т. к. географические соответствия практически всегда выделяются в языке и нередко рассматриваются в качестве местных, территориальных особенностей разговорной формы литературного языка (hochdeutsche Umgangssprache). Следовательно, ставить в один ряд с ними австрийские особенности, выявляемые в литературном языке, означает,

в сущности, не признавать их как регулярные элементы литературного языка в Австрии на уровне нормы. Возвращаясь к взглядам Э. Г. Ризель, отметим, что они, по существу, не отличаются от позиции П. Кречмера, коль скоро у нее речь идет о «дублетах», находящихся «на разных ступенях внедрения в общий словарь», т. е. практически не обладающих еще статусом нормы. Более того, концепция Э. Г. Ризель теоретически ориентирована на перспективу нивелирования национальных особенностей языка путем вхождения их, в конечном счете, в «общий словарь» литературного немецкого языка. В связи с этим заметим, что подобные предсказания судьбы национальных вариантов не подтверждаются, хотя современные условия межнационального общения на основе одного языка и возможности координации языкового строительства создают для этого все необходимые предпосылки. Справедливости ради отметим, что позднее Э. Г. Ризель к этим взглядам более не возвращалась, как, впрочем, и не занималась теоретической разработкой этих вопросов.

В эти годы в нашем языкознании проявился интерес к вопросам различительных черт английского языка за пределами Англии. Правда, еще в 30-х годах В. Д. Аракин опубликовал статью, в которой рассмотрел в общих чертах вопрос об английском языке в Америке [11], а в послевоенное время этой теме посвятил свою работу Б. В. Братусь, который, справедливо критикуя псевдонаучные воззрения Менкена на английский язык США как на отдельный «американский язык», сам приходит к необоснованному заключению о существовании так называемого «американо-английского диалекта» [12]. Однако только в 50-е годы в результате взвешенного отношения к проблеме и пристального изучения американского варианта английского языка и его расхождений с британским вариантом лингвисты пришли к выводу о существовании особого литературного образца (нормы) английского языка в США. Не случайно А. И. Смирницкий в 1955 г. впервые употребил термин «варианты» применительно к английскому языку в Англии и английскому языку в США, рассматривая их как разновидности одного и того же языка, отличительные черты которых находят свое отражение в принятых в этих странах языковых нормах. Правда, еще в 1953 г. появилась статья Н. М. Булавина [13], в которой также используется термин «вариант» в отношении английского языка США. Дело, естественно, не в том, что это словоупотребление относится к одному и тому же времени, когда Э. Г. Ризель писала о вариантах немецкого языка, и что это было сделано ранее, чем у А. И. Смирницкого. Важнее подчеркнуть, что А. И. Смирницкий высказал при этом (пусть не в специальном исследовании, а попутно, при изучении строя древнеанглийского языка) суждения, на основе которых позднее, в 60-е годы, формировалась общая теория национальных вариантов языка: «Самый образец английского языка в США является иным, чем в Великобритании... Таким образом, литературный английский образец в Соединенных Штатах и литературный английский образец в Великобритании... противостоят друг другу как два основных варианта английского языка: а м е р и к а н с к и й а н г л и й с к и й и б р и т а н с к и й а н г л и й с к и й — варианты одного и того же языка» [14]. В самом начале 60-х годов вышла в свет книга Т. М. Беляевой и И. А. Потаповой, в которой рассматриваются вопросы распространения английского языка в качестве национального литературного или официального (административного) языка в современном мире. Книга весьма информативна, но при избранной ориентации понятие национального варианта языка не становится более определенным. Говоря об особенностях английского языка в США или Канаде, Т. М. Беляева и

И. А. Потапова называют эти разновидности вариантами, но избегают какого-либо терминологического комментирования различительных черт английского языка в Австралии и Новой Зеландии. С другой стороны, в Индии, где английский язык не имеет этнической языковой опоры, они интерпретируют положение английского языка как англо-индийский вариант [15, с. 62]. Безусловно, права В. Н. Ярцева, когда она решительно возражает против подобного унифицированного толкования статуса английского языка: «Прежде всего следует сказать, что надо строго отличать английский язык как первый, родной язык населения от употребления английского языка (даже как второго государственного языка) теми языковыми группами, для которых он не является родным. Поэтому нельзя приравнивать английский язык Индии... к английскому языку Австралии или США» [16, с. 250—251]. С другой стороны, самый термин «вариант» языка авторы вообще не считают «удачным» и используют его «за непремением какого-либо другого» [15, с. 4]. Добавим, что недифференцированная интерпретация упомянутых отношений на основе понятия варианта не способствует правильному пониманию природы и характера различных языковых образований и оказывается неконструктивной.

Началом специального теоретического изучения полинациональных литературных языков в их национальном пространстве с учетом уже сделанного в советском языкознании в 50-е годы следует признать прежде всего монографические исследования Г. В. Степанова [17] и А. Д. Швейцера [18], за которыми последовала книга автора этой статьи [19]. Таким образом, в поле зрения исследователей оказались наиболее распространенные полинациональные языки — испанский, английский, немецкий. В начале 70-х годов вышла в свет книга Е. А. Реферовской «Французский язык в Канаде» [20], послужившая примером при изучении других национальных разновидностей французского языка (Бельгии, Швейцарии).

Согласно наиболее общему представлению, сформулированному в различных работах этого периода, национальные разновидности (варианты) представляют собой особые формы функционирования единого языка [21, с. 20], формы адаптации единого литературного языка к условиям, потребностям и традициям наций — носителей данного языка [22]. Так, говоря об испанском языке Америки, Г. В. Степанов подчеркивал: «У американской разновидности испанского языка за четыре с лишним столетия сложилась своя история, в странах Латинской Америки возникла своя языковая традиция, своя языковая политика, свое эстетическое понимание норм общенародной речи» [17, с. 8]. Таким образом, обобщая эти высказывания, следует сказать, что вследствие раздельного (в территориальном, историческом и социальном аспектах) применения единого языка в нем развиваются свои характерные черты, в соответствии с которыми язык данной общности дифференцируется от данного языка другой национальной общности.

Однако при определении понятия национального варианта недостаточно констатировать специфические особенности каждой языковой разновидности. Подобно тому, как и при определении сущности литературного языка вообще мы отмечаем его нормированный (кодифицированный) характер, национальные варианты тоже проверяются на наличие собственной кодифицированной нормы. В связи с этим Г. В. Степанов писал: «Испаноамериканская разновидность испанского языка, в силу целого ряда обстоятельств культурного, исторического, политического, геоэтнографического порядка, сама превратилась в особую норму (исторически — в норму второго порядка), которая находит свое отражение в устной

речи образованных латиноамериканцев и в литературе латиноамериканских стран» [17, с. 8]. При этом он одновременно подчеркивал, что эти нормы имеют автономный характер и собственный авторитет: «Национальная (общенародная) языковая норма собственно Испании не является в настоящее время единственной нормой для всех стран, говорящих на испанском языке» [17, с. 8]. Безусловно, еще предстоит отдельно изучить вопрос о том, как практически обстоит дело с кодификацией нормы, например, шведского языка в Финляндии или итальянского в Швейцарии и какие условия здесь для этого имеются, притом что данные этнические группы составляют лишь часть соответствующих наций этих государств и занимают, как, например, в Швейцарии, только определенную часть национальной территории. В целом же в самостоятельных национальных государствах вопросы культуры речи решаются на основе собственной кодификации нормы языка.

Национальная нормализация литературного языка представляет собой один из важнейших актов культурно-языкового строительства данной нации. Процессы такой нормализации происходят в русле общих норм и не преследуют целей языкового обособления. Однако национальная норма (национальная разновидность нормы), отражающая сущность варианта языка, является суверенной и самостоятельной, она осознается и поддерживается в пределах каждой национальной общности, т. е. она «считается одинаково образцовой, общественно утвержденной, помещающейся на той же плоскости, что и другая разновидность нормы данного языка [23]. «Прошло то время, — подчеркивает в связи с этим В. Н. Ярцева, — когда американский вариант английского языка считался „испорченным английским“» [16, с. 250].

Признание паритета отдельных вариантов единого национально негомогенного литературного языка делает совершенно закономерным требование национальной культуры речи, отвечающей общей задаче как языкового, так и национального строительства в странах распространения данного языка. Между тем реализация этого принципа может наталкиваться на определенные трудности, возникающие нередко по причинам не столько лингвистического, сколько экстралингвистического, как правило, культурно-политического свойства. Это было, в частности, характерно для Австрии, где длительное время в прошлом в самой стране и за ее пределами ставился под сомнение самый факт существования австрийской нации и австрийского государства, чем определялось и отрицательное отношение к национальным чертам и особенностям немецкого языка Австрии [24]. Специфика австрийской культуры речи еще в недавнем прошлом определялась неоднозначно, поскольку наряду с трезвым мнением о необходимости сохранять и поддерживать реально существующие австрийские языковые особенности отмечались крайние взгляды «справа» и «слева». Первые — «пангерманисты в области языка» («Sprachgroßdeutsche») — настаивали на соблюдении «чистой» немецкой нормы, полностью соответствующей собственно немецкому языковому стандарту. Другие же, исходя из требования австрийской национальной идентификации и в области языка, высказывали мнение о возведении в ранг литературного языка австрийской обиходно-разговорной речи (Umgangssprache), основным экспонентом которой является венский городской полудиалект (das Wienerische). С ростом австрийского национального самосознания укреплялось понимание необходимости объективного и научного подхода к данной проблеме, в первую очередь со стороны австрийских лингвистов, писателей, деятелей культуры и просвещения, которые, исходя из своей высо-

кой ответственности перед нацией, взяли на себя обязанность оказывать влияние на дальнейшее развитие языка в рамках национальной культуры речи. Это требовало организации систематической и планомерной работы, началом которой могло служить составление различных типов словарей, включая также и словарь обиходно-разговорной речи, поскольку ее языковой материал является питательной средой для литературного языка и во всяком случае влияет на характер устной литературной речи. Опыт разработки и переизданий нормативного словаря немецкого языка Австрии [25], впервые опубликованного в 1951 г. и регулярно переиздаваемого с тех пор (в 1979 г. вышло его 35-е издание), показывает, что реализация поставленных задач происходит непросто, вызывает новые осложнения и дискуссии [26].

В процессе формирования национального варианта литературного языка определенную роль играли диалекты и другие местные формы существования языка (городские диалекты, обиходно-разговорные формы языка). Однако значение этого источника не следует преувеличивать или обобщать. Важнее подчеркнуть, что большая часть выявляемых между национальными вариантами расхождений возникает в результате неадекватного выбора факультативных вариантов на уровне нормы из некоего набора «...инвариантных конститутивных признаков, присущих данному языку на любой территории его распространения» [27]. Факультативные варианты на уровне нормы, будучи реализованными и принятыми в том или ином национальном коллективе, превращаются в «аксиологическую норму» [28] для данного узуса. Такой выбор часто сопряжен с поляризацией дублетных форм между данными вариантами языка. Межвариантные расхождения возникают также и на системном уровне на основе языковых элементов, являющихся либо результатом развития собственных материальных и творческих возможностей языка, либо результатом влияния других языков на основе собственных контактов [29]. Таким образом, в целом национальный вариант литературного языка — это вариант нормы и самой системы языка.

Понятие варианта литературного языка не создает условий для сравнения его с диалектом, даже если допустить, что при этом имеется в виду метафорическое описание отношений национальных разновидностей одного литературного языка, т. к. все они равноправны и равноположены и между ними нет отношений взаимодополнения на речевой оси, которые устанавливаются между литературным языком и диалектом. Национальный вариант имеет свои диалекты и соотносится с распространенными в национальных пределах диалектами точно так же, как литературный язык соотносится с диалектами в рамках национального однородного языка. Так, в пределах распространения австрийского варианта немецкого языка мы имеем дело преимущественно с так называемыми баварско-австрийскими диалектами, тогда как в зоне немецко-швейцарской общности Швейцарии литературный язык соотносится только с алеманнскими диалектами.

Национальные варианты литературного языка необходимо отличать и от так называемых территориальных вариантов или, точнее, определенных совокупностей местных особенностей, которые могут развиваться во всяком литературном языке с достаточно обширной территорией распространения или на основе заметно различающихся между собой диалектов (как, например, в немецком языке обоих германских государств — ГДР и ФРГ). Хотя как национальному варианту, так и территориальным разновидностям литературного языка свойственно культивирование мест-

ных (диалектных, ареальных) языковых особенностей, в национальных вариантах эта местная специфика дифференцирующих факторов является лишь одним из источников развития, в то время как питательной средой для территориального варианта служат именно местный (диалектный, ареальный) языковой материал. Совокупность этих местных черт, как правило, не обладает статусом составной части кодифицированной нормы, но может входить на правах варианта в общую норму литературного языка (В. Гавранек, В. Матезиус, А. Едличка) либо, не будучи охваченной общей нормой, используется в литературном узусе данной территории в качестве субстандарта. К этому следует добавить, что в национальных вариантах, как и в национально-гомогенном литературном языке, могут развиваться собственные территориальные особенности (ср., например, местные особенности немецкой литературной речи в различных регионах Австрии).

В этой связи необходимо отметить, что, как и в национально-гомогенных языках, в структуре вариантов между полярными разновидностями форм существования языка — литературным языком и диалектами — выделяются промежуточные образования в виде различных форм обиходно-разговорной речи. При этом реальный состав форм иерархической структуры языка в каждом отдельном варианте оказывается неодинаковым. Так, в австрийском варианте сфера обиходно-разговорного языка (Umgangssprache) включает такие формы, как полудиалект (Stadtmundart), территориальные обиходно-разговорные языки (Verkehrsmundarten), австрийский обиходно-разговорный язык (österreichische Umgangssprache). Таким образом, всего, вместе с местными диалектами (Bauernmundarten), литературным языком (Hochsprache), структура национального языка австрийцев включает пять языковых формаций [30]. С другой стороны, в немецкоязычной Швейцарии в структуре речи выделяются лишь местные (кантональные) диалекты и литературный язык, а в функции обиходно-разговорного языка используются местные (алеманнские) диалекты (Schwyzertütsch), которые в силу своей однородности взаимопонятны в национальных пределах [34, 32]. Таким образом, в целом национальный вариант воспроизводит социально-функциональную модель (совокупность форм существования языка) любого национального языка, отдельные формы которого в функциональном отношении находятся в условиях взаимодополнения при ведущем положении литературного языка, которому принадлежат главные общественные функции. Обобщая сказанное, можно заключить, что понятие варианта распространяется и на совокупную структуру национальной речи. Именно в этой связи Г. В. Степанов подчеркивал: «Испанский язык Америки есть разновидность (вариант) структурно единого испанского языка в совокупности особенностей его новых общенародных форм и местных диалектов и говоров» [17, с. 9]. Следовательно, говоря о национальном измерении литературного языка, мы используем определение национального варианта литературного языка; если же иметь в виду совокупность форм, в которых существует язык данной нации (литературный язык, обиходно-разговорные формы языка, диалекты), можно говорить о варианте языка (национальном варианте языка).

Придерживаясь такого представления о характере строения национальных вариантов языка, можно заключить, что их совокупность в рамках единого языка образует своеобразную корреляционную архисистему. В лингвистическом плане это соответствует ситуации, при которой один общий (единый) язык существует как абстракция и практически реализуется в виде отдельных вариантов. Необходимо подчеркнуть, что как объекты

лингвистического исследования они должны сопоставляться на равных правах друг с другом. Отмечая это, в частности, в отношении вариантов испанского языка, Г. В. Степанов подчеркивал, что пиренейская национальная речь, «являясь исторической „точкой отсчета“, не воплощает в себе в нынешнем своем состоянии безусловного идеала общего испанского языка» [33]. Настаивая на автономности и практической самостоятельности языка в его национальном измерении, Г. В. Степанов писал: «Если не существует отдельного аргентинского языка, то реальностью является испанский язык аргентинской нации» [34].

Обобщая характеристику существенных свойств и признаков национальных вариантов языка, необходимо отметить и те принципиальные различия, которые разделяют их. Речь идет о своеобразии языка, в том числе и литературного, обслуживающего членов языковой общности (этнические группы), компактно живущих в инациональных (иноязычных) государствах. Эти так называемые островные языки не обладают идентичными с национальным вариантом общественными функциями и используются принципиально в иных условиях (применение в повседневной жизни родного диалекта, влияние инационального государственного или официального языка, ситуация субординативного билингвизма). Развивающиеся под влиянием этих факторов своеобразие использования нормы литературного языка не отличается стабильностью. В условиях отсутствия собственной кодификации нормы наблюдается ориентирование на основную («метропольную») кодифицированную норму данного литературного языка [35].

Особый случай состояния вариативности литературного языка образует применение его в качестве официального или государственного языка (максимальная общественная функция) в инациональном государстве (ситуация неродного государственного языка). Примером могут служить английский, французский или португальский языки в развивающихся странах Азии и Африки, освободившихся от колониального господства. Применение в повседневном общении родного (национального) языка, а также неглубокий социальный охват населения, владеющего этим инациональным официальным языком, создают характерную диспропорцию между престижным положением такого языка и ограниченностью сфер его использования. Безусловно, самостоятельное, не зависящее от бывших метрополий использование инационального языка, самое его существование и функционирование в местных условиях приводит к развитию в нем характерных различительных и даже устойчивых черт, совокупность которых может осознаваться и поддерживаться кругом говорящих на нем людей. Это лишь внешне сближает создаваемую таким образом разновидность литературного языка с национальным вариантом, хотя необходимо подчеркнуть, что ее узкая норма, как правило, не бывает кодифицированной. Но дело, естественно, не сводится к наличию собственного стандарта языка, а затрагивает существенные стороны национально-языковых отношений. По нашему убеждению, состояние вариативности языка нуждается в отдельной терминологической интерпретации [36]. Конструктивной попыткой в этом отношении можно рассмотреть исследования А. И. Чередниченко, который на материале использования французского языка в развивающихся странах Африки высказал мысль о целесообразности определить неидентичность системы французского языка в этих странах в качестве вариантов неродного языка [37]. Ближкие к его общим оценкам взгляды высказывает О. Е. Семенов, изучающий проблемы функционирования английского языка в развивающихся стра-

нах Азии и Африки и выдвигающий идею так называемых вариантов политнического английского языка [38]. Общим предостережением при любых терминологических предложениях следует считать слова В. Н. Ярцевой, которая настаивает на необходимости строго отличать английский язык и его национальные варианты в качестве родного языка от употребления этого языка теми социальными общностями, для которых он не является родным [16, с. 250—251].

В заключение необходимо подчеркнуть, что национальные варианты обладают совокупностью таких признаков, которые обеспечивают им не только известную стабильность, но и выработку определенных тенденций дальнейшего развития в русле этих форм. Рассуждая о действии сил конвергенции и дивергенции при дифференциации языка в современных условиях, А. Мартине, в частности, писал: «Причиной языковой дифференциации является не расстояние как таковое, а ослабление внутриязыковых связей. Если увеличение расстояния компенсируется упрочением коммуникативных связей, языковое поведение остается тем же: пока на то, чтобы пересечь Атлантический океан, требовались недели, развитие английского языка Англии отличалось от развития английского языка Америки; железнодорожная лексика Англии отличается от американской как в целом, так и в деталях. Иные условия мы имеем теперь, когда на преодоление расстояния между Нью-Йорком и Лондоном требуется всего несколько часов, а звук голоса пересекает океан почти мгновенно. Поэтому сегодня можно говорить скорее о конвергенции, чем о дивергенции. Если в один прекрасный день граждане Советского Союза откроют обсерваторию на Луне, то едва ли возникнет особый лунный диалект русского языка, при условии, конечно, что между Луной и Землей будет поддерживаться постоянная связь» [4, с. 512]. Нельзя не оценить остроумную образность А. Мартине, но в случае с национальными вариантами языка мы имеем дело не только с фактором расстояния и интенсивности взаимного общения различных социумов, но со всей совокупностью условий самостоятельного существования национально-государственных общностей людей — носителей данного языка. Конечно, в современных условиях, о которых говорит А. Мартине, национальные варианты единого языка развиваются более или менее параллельно, а общие наднациональные тенденции в языковой нормализации будут постоянно приводить к нивелированию различий между ними. Однако варианты языка, как показывает и опыт нашего времени, не сливаются полностью, а местные национальные диалекты и другие формы существования языка, национальная литература, духовная и материальная культура всегда будут давать новый материал для существования национальных вариантов.

Оценивая наблюдающиеся уровни дифференцированного развития литературных языков в своем собственном социальном (национальном) пространстве, лингвисты отмечают, что, например, европейские разновидности французского не обнаруживают значительных расхождений, тогда как британский и американский варианты представляют собой вполне сформировавшиеся национальные разновидности [39, с. 259]. Но сколь бы малыми ни были различия в вариантах тех или иных языков, они приобретали и могут приобретать «престиж национальных форм речи» [21, с. 23], становясь и средством национальной идентификации.

Разработка теории национального варианта языка, осуществленная в нашем языкознании в 60-е годы, позволила, как подчеркивается Е. М. Вольф и Ю. С. Степановым, «...по-новому подойти к пониманию национального языка в сложных условиях существования многих вариан-

тов как языка, имеющего возможности самостоятельного и независимого развития, причем отношение вариантов единого языка друг к другу должно осмысляться как паритетное в социальном, культурном, политическом и лингвистических аспектах» [40].

Следует согласиться с В. Флайшером, когда он, говоря о процессе формирования теории национального варианта языка в советском языкознании, замечает, что пройденный путь не был «прямолинейным» [39]. Действительно, потребовалось пройти не только через сдержанное отношение со стороны части тех, кто занимался традиционным кругом вопросов национальных языков, но и преодолеть ошибки и заблуждения других в их попытках дать сущностную и терминологическую интерпретацию состояния неидентичности системы одного языка, обслуживающего различные социально-языковые общности. Говоря о значении этой концепции, В. Флайшер призывает лингвистов к более интенсивному теоретическому отклику (Reflexion) на нее и подчеркивает, что она «соответствует традициям советской социолингвистической школы (Forschung) и является очередным свидетельством ее продуктивности» [41].

ЛИТЕРАТУРА

1. *Polenz P. V.* Die altenburgische Sprachlandschaft. Tübingen, 1954. S. 105.
2. *Große R.* Die meissnische Sprachlandschaft. Halle, 1955. S. 29.
3. *Степанов Г. В.* К проблеме языкового варьирования. М., 1979. С. 3—4.
4. *Мартине А.* Основы общей лингвистики // Новое в лингвистике. Вып. 3. М., 1963.
5. *Брозовиц Д.* Славянские стандартные языки и сравнительный метод // ВЯ. 1967. № 1. С. 17.
6. *Степанов Г. В.* Проблема изучения испанского языка Латинской Америки // ВЯ. 1957. № 4. С. 24.
7. *Степанов Г. В.* О национальном языке в странах Латинской Америки // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. 1960. Т. X. С. 157.
8. *Ризель Э. Г.* К вопросу о национальном языке в Австрии // Уч. зап. I МГПИИЯ. Т. V. Харьков, 1953. С. 163.
9. *Levi H.* Das österreichische Hochdeutsch. Wien, 1875. S. 8.
10. *Kretschmer P.* Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen, 1918. S. 22.
11. *Аракин В. Д.* К вопросу об английском языке в Америке // ИЯШ. 1937. № 2
12. *Братусь Б. В.* Теория «американского языка» на службе у империалистов // ИЯШ. 1948. № 4.
13. *Булавин Н. М.* Об американском варианте английского языка // ИЯШ. 1953. № 2.
14. *Смирницкий А. И.* Древнеанглийский язык. М., 1955. С. 16.
15. *Белая Т. М., Потапова И. А.* Английский язык за пределами Англии. Л., 1961.
16. *Ярцева В. Н.* Развитие национального литературного английского языка. М., 1969.
17. *Степанов Г. В.* Испанский язык в странах Латинской Америки. М., 1963.
18. *Швейцер А. Д.* Очерк современного английского языка в США. М., 1963.
19. *Домашнев А. И.* Очерк современного немецкого языка в Австрии. М., 1967.
20. *Реферовская Е. А.* Французский язык в Канаде. Л., 1972.
21. *Степанов Г. В.* Испанский язык Америки в системе единого испанского языка: Автореф. дис... докт. филол. наук. Л., 1966.
22. *Домашнев А. И.* О некоторых чертах национального варианта литературного языка // ВЯ. 1969. № 2. С. 39.
23. *Филин Ф. П.* О структуре современного русского языка // Русский язык в современном мире. М., 1974. С. 109.
24. *Домашнев А. И.* Несколько слов к причинам дискуссии в Австрии «Sprechen wir deutsch oder österreichisch» и о проблеме «Österreichische Sprachpflege» // Уч. зап. ГПИИЯ. 1963. Вып. 25.
25. *Österreichisches Wörterbuch.* Wien, 1951.
26. *Reiffenstein I.* Deutsch in Österreich. Tendenzen, Formen und Strukturen der deutschen Standardsprache nach 1945. Marburg, 1983.
27. *Швейцер А. Д.* Литературный английский язык в США и Англии. М., 1971. С. 17.
28. *Степанов Г. В.* О двух аспектах понятия языковой нормы // Методы сравнитель-

- но-сопоставительного изучения современных романских языков. М., 1966. С. 226.
29. *Степанов Г. В.* К проблеме языкового варьирования. Испанский язык Испании и Америки. М., 1979. С. 62.
 30. *Hornung M.* Besonderheiten der deutschen Hochsprache in Österreich // Österreich in Geschichte und Literatur. 1973. Hf. 1. S. 18.
 31. *Strubin E.* Zur deutschschweizerischen Umgangssprache // Schweizerisches Archiv für Volkskunde. 1976. Hf. 3—4.
 32. *Haas W.* Wider den «Nationaldialekt» // Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik. 1978. Hf. 1.
 33. *Степанов Г. В.* Социально-географическая дифференциация испанского языка Америки на уровне национальных вариантов // Вопросы социальной лингвистики. Л., 1969. С. 306.
 34. *Степанов Г. В.* Типология языковых состояний и ситуаций в странах романской речи. М., 1976. С. 121.
 35. *Домашнев А. И.* «Языковой остров» как тип ареала распространения языка и объект лингвистического исследования (на материале немецкого языка) // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Язык и этнос. Л., 1983.
 36. *Домашнев А. И.* К понятию варианта языка // Вариантность как свойство языковой системы: Тез. докл. Ч. I. М., 1982. С. 95.
 37. *Чередниченко А. И.* Язык и общество в развивающихся странах Африки. Киев, 1983.
 38. *Семенец О. Е.* Социальный контекст и языковое развитие. Территориальная и социальная дифференциация английского языка в развивающихся странах. Киев, 1985.
 39. *Andersson S.-G.* Deutsche Standardsprache — drei oder vier Varianten? // Muttersprache. 1983. № 5—6. S. 67.
 40. Георгий Владимирович Степанов / Вступ. ст. Вольф Е. М. и Степанова Ю. С. М., 1984. С. 17.
 41. *Fleischer W.* Zum Begriff «nationale Variante einer Sprache» in der sowjetischen Soziolinguistik // Linguistische Arbeitsberichte. 1984. № 43. S. 71.

УЛУХАНОВ И. С.

ГРАММАТИЧЕСКИЙ РОД И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

Одной из важнейших проблем как словообразования, так и морфологии является проблема соотношения грамматических свойств мотивирующего и мотивированного слов¹ и, в частности, вопрос о том, в какой степени грамматические свойства мотивирующих слов способствуют или препятствуют словообразовательным процессам.

В данной статье исследуются действующие в современном русском языке закономерности родовой сочетаемости словообразовательных формантов, т. е. сочетаемости формантов со словами (или формами слов), характеризующимися определенным грамматическим родом. Описываются все виды родовой соотносительности мотивирующего и мотивированного слов, выявляются ограничения в образовании слов, обусловленные родовой принадлежностью мотивирующего слова, и причины этих ограничений. Рассматриваются как возможности родовой сочетаемости, так и степень их реализованности в узальной лексике.

Связь словообразовательных единиц с категорией рода отмечалась в грамматических исследованиях. Наиболее тесной является эта связь у суффиксальных существительных. Это естественно: только у существительных категория рода является классифицирующей (т. е. характеризующей слово в целом, а не его отдельные формы), а суффикс тесно связан с флексией — выразителем родового значения. Связь категории рода существительных с их суффиксальным словообразованием наиболее детально рассмотрена, как известно, В. В. Виноградовым. «Категория рода, — писал он в книге „Русский язык“, — отражается в дифференциации основных типов склонения. На различие типов склонения и даже на степень продуктивности каждого из них влияют и формы суффиксального словообразования. В классе имен существительных формы словоизменения обусловлены в некоторой мере приемами словопроизводства. Например, все имена существительные с суффиксом *-ств(о)* относятся к среднему роду, с суффиксом *-ш(а)* — к женскому и т. п.» [2, с. 82]. Типы словообразования существительных В. В. Виноградов выделял в соответствии с грамматическим родом относящихся к ним слов [2, с. 82—124].

Родовой характеристике мотивирующих слов в грамматических исследованиях уделялось гораздо меньше внимания, чем родовой характеристике мотивированных; соотношение и взаимодействие категорий рода мотивированных и мотивирующих слов специальному анализу и систематическому исследованию не подвергались.

Для описания категории рода мотивированных слов в их соотношении с мотивирующими необходимо ввести термины, характеризующие связь суффиксов мотивированных слов с категорией рода (речь идет, естествен-

¹ См. об этом, например, в одной из недавних работ [1].

но, только о суффиксах существительных, поскольку только у этих суффиксов имеется данная связь).

подавляющее большинство суффиксов существительных выступает в словах одного и того же грамматического рода; ср., например, указанные В. В. Виноградовым *-ств(о)* и *-ш(а)*. Такие суффиксы назовем *о д н о р о д о в ы м и*. Меньшая часть суффиксов существительных выступает в словах разных грамматических родов. Такие суффиксы назовем *р а з н о р о д о в ы м и*. Эти суффиксы делятся на *д в у р о д о в ы е* (выступающие в существительных двух грамматических родов, например, *-ушк-*: *братушка, девчушка*) и *т р е х р о д о в ы е* (выступающие в существительных трех грамматических родов, например, *-ищ-*: *дружище, рыбища, веслище*).

Большая часть суффиксов существительных выступает с одной и той же флексией (или одним и тем же набором флексий, если принимать во внимание всю парадигму). Такие суффиксы назовем *о д н о ф л е к с и о н н ы м и*. Меньшая часть суффиксов может выступать в соединении с двумя флексиями. Такие суффиксы назовем *д в у ф л е к с и о н н ы м и*, например, *-ишк(-а, -о)*: *бородишка, письмишко*.

Все однородные суффиксальные морфы являются однофлексийными; двуродовые морфы делятся на однофлексийные [*-ушк(а)*] и двухфлексийные [*-ишк(-а, -о)*]; все трехродовые морфы являются двухфлексийными [*-ищ(-а, -е)*].

Наиболее разнообразными видами родовых связей характеризуются мотивированные и мотивирующие существительные. Отсубстантивным существительным уделено поэтому основное внимание в данной статье (раздел 3.2). Их рассмотрению предшествует описание родовых связей, имеющих место в остальных подсистемах словообразования, т. е. в неотсубстантивных словах (раздел 2.) и отсубстантивных прилагательных, глаголах и наречиях (раздел 3.1).

2. В подсистеме *н е о т с у б с т а н т и в н ы х* слов родовые свойства как мотивирующих (раздел 2.1.), так и мотивированных (раздел 2.2.) лишь в редких случаях связаны со словообразовательными процессами.

2.1. Категория рода мотивирующих прилагательных, числительных и глаголов, будучи словоизменительной, в словообразовательных процессах играет незначительную роль, поскольку в подавляющем большинстве случаев эти части речи выступают в качестве мотивирующих во всей совокупности своих форм. Имеются лишь отдельные случаи мотивации какой-либо формой рода прилагательного или причастия (*скорый, управляющий, мочная, новое*), порядкового прилагательного (*сотая, полторого*) и числительного (ж. р. *две — двенадцать*, м. и ср. р. *два — двадцать*).

2.2. Словоизменительная категория рода мотивированных прилагательных, числительных и глаголов никак не связана со словообразовательными формантами этих частей речи — в отличие от классифицирующей категории рода мотивированных существительных, тесно связанной с их суффиксами. Большинство суффиксов отадективных и отглагольных существительных является однородным и однофлексийным [*-тель, -изн(а), -ств(о)* и мн. др.]. Вместе с тем существуют и немногочисленные разнородовые суффиксы отадективных и отглагольных существительных, например, однофлексийные *-к(а)* и *-нищ(а)* в словах мужского и женского рода, двухфлексийный *-л(-а, -о)* в словах мужского и среднего рода (*кутила, поддувало*).

3. Категория рода мотивирующих существительных оказывает раз

личное влияние на словообразовательные процессы. Многие суффиксы сочетаются с существительными любого рода, другие обладают родовой избирательностью.

3.1. Категория рода тех существительных, которыми мотивируются слова других частей речи (прилагательные, глаголы, наречия), в словообразовании самостоятельной роли, по-видимому, не играет. Форманты отсубстантивных прилагательных, глаголов и наречий не имеют ограничений сочетаемости, обусловленных родом мотивирующего существительного, хотя можно указать некоторые форманты этих частей речи, не сочетающиеся с основами существительных какого-либо одного или двух грамматических родов. Это ограничение, однако, является следствием других ограничений, обусловленных значением или типом склонения мотивирующих существительных.

Такого рода ограничения можно назвать опосредствованными ограничениями. Например, суффиксы притяжательных прилагательных не сочетаются с основами существительных среднего рода. Однако это ограничение вызвано не категорией рода мотивирующих слов, а их принадлежностью к определенному лексико-грамматическому разряду: притяжательные прилагательные мотивируются только одушевленными существительными, а как известно, существительные среднего рода относятся (за небольшим исключением) к числу неодушевленных существительных. Суффиксы наречий *-ом, ой/-ою* (*задом, утром, зимой*) распределены не относительно рода мотивирующих существительных (хотя первый представлен в словах, мотивированных существительными мужского и среднего рода, а второй — женского), а относительно типов склонения; поэтому суффикс *-ой/-ою* мог бы сочетаться и с существительными мужского рода II склонения (типа *вельмжа*), если бы существовали наречия, мотивированные этими словами.

3.2. Виды родовых отношений мотивированных и мотивирующих существительных достаточно сложны и разнообразны. Эти отношения передаются суффиксами отсубстантивных существительных. Префиксы, как известно, всегда сохраняют род мотивирующих существительных (*вид — подвид, группа — подгруппа, множество — подмножество*) и поэтому не требуют специального описания.

Родовая сочетаемость суффиксов отсубстантивных существительных тесно связана с их семантикой — модификационностью или мутационностью (транспозиционные суффиксы в отсубстантивных существительных, естественно, не представлены, поскольку они передают отношения только между разными частями речи).

3.2.1. Наиболее разнообразными закономерностями характеризуется родовая сочетаемость модификационных суффиксов. Эти суффиксы весьма отчетливо делятся на три группы, отличающиеся друг от друга закономерностями родовой сочетаемости с основами мотивирующих существительных: суффиксы, выступающие в существительных, мотивированных существительными одного грамматического рода — иного, нежели род мотивирующих существительных (группа 3.2.1.2.), суффиксы, выступающие преимущественно в словах того же рода, что и мотивирующее существительное (группа 3.2.1.2.), суффиксы, родовая сочетаемость которых никак не связана с родом мотивирующего слова (группа 3.2.1.3.).

Эти различия в родовой сочетаемости тесно связаны с семантикой суффиксов: к первой группе относятся суффиксы со значением женскости; ко второй — суффиксы со значением уменьшительности (и/или ласкательности), увеличительности и суффиксы стилистической модификации;

к третьей — все остальные модификационные суффиксы, т. е. суффиксы со значением собирательности, незрелости, подобия и единичности.

К первой и третьей группе относятся только однородовые суффиксы, ко второй — как однородовые, так и разнородовые.

3.2.1.1. Существительные, у которых в качестве словообразовательного форманта выступают суффиксы со значением женскости, мотивируются только существительным мужского рода: *чемпион* — *чемпионка*, *плут* — *плутовка*, *супруг* — *супруга*. Ограничение родом в этом случае сопровождается лексическим ограничением: мотивирующие — одушевленные существительные (обратные отношения типа *коза* — *козел* единичн.).

3.2.1.2. Тенденция к сохранению рода мотивирующего слова у отсубстантивных существительных только с суффиксами уменьшительности, увеличительности и стилистической модификации связана, надо полагать, со спецификой этих значений — наиболее модификационных среди всех значений, традиционно рассматриваемых как модификационные². Эти значения можно назвать собственно модификационными. Существительные с собственно модификационными суффиксальными морфами³ означают предметы (одушевленные и неодушевленные), сохраняющие все признаки (в том числе и пол) того, кто (что) назван(о) мотивирующим существительным. Добавляется лишь указание на величину, эмоциональная оценка и /или стилистическая окраска. Это отличает существительные указанных значений от существительных других модификационных значений (см. о них раздел 3.2.1.3.).

Можно считать, что существительные с суффиксом уменьшительности (ласкательности), увеличительности и стилистической модификации находятся на самом близком «семантическом расстоянии» по отношению к мотивирующим существительным среди всех отсубстантивных слов. Именно этим обстоятельством следует объяснить тот факт, что некоторые лингвисты относили «формы субъективной оценки» к формообразованию⁴,

² Ср. не вполне тождественный состав модификационных значений, рассматриваемых в наиболее полных описаниях словообразовательных систем славянских языков [3—5].

³ При рассмотрении родовой сочетаемости суффиксов всех значений, за исключением собственно модификационных суффиксов, нет необходимости рассматривать отдельно разные алломорфы одного суффикса, поскольку алломорфы каждого из суффиксов, не являющихся собственно модификационными, имеют одну и ту же флексию, относятся к одному и тому же роду и характеризуются тождественными закономерностями родовой сочетаемости. Только собственно модификационные суффиксы могут объединять алломорфы, различающиеся количеством и значением флексий и закономерностями родовой сочетаемости. Таковы, например, алломорфы суффикса *-ушек/-ушк(-а, -о)*: первый из них однородовой, имеет одну (нулевую) флексию; второй — трехродовой, имеет две флексии — /а/ и /о/. Родовая сочетаемость каждого из этих алломорфов имеет свои особенности. Поэтому, рассматривая родовую сочетаемость собственно модификационных суффиксов, необходимо описывать родовую сочетаемость каждого алломорфа.

Состав морфов и морфем, анализируемых в статье, в основном совпадает с данными [4]; некоторые отсутствующие в [4] или иначе интерпретированные морфы даются по материалам подготовленного к печати «Словаря словообразовательных морфем» (авторы В. В. Лопатин, И. С. Улуханов).

⁴ В. В. Виноградов писал: «Мысль, что уменьшительно-ласкательные и другие суффиксы этого рода относятся к средствам формообразования, а не словообразования, находила себе опору в общности грамматического рода у всех форм субъективной оценки, произведенных от одного слова (например: *дом* — *домишко* — *домище* — *домина*; *дурак* — *дурачище* — *дурачок* — *дурачина* и т. п.)» [2, с. 97]. Однако эта общность присуща не всем таким образованиям: лексикографически зафиксированы, например, *столбик* (муж. р.) — *столбушка* (жен. р.), *сарайшко* (муж. р.) — *сарайшка* (жен. р.) — *са-*

что, как известно, не получило всеобщей поддержки. Род мотивирующего слова у мотивированных существительных с собственно модификационными суффиксами сохраняется с разной степенью регулярности.

Для одушевленных существительных сохранение рода у мотивированных слов указанных значений является жестким и легко объяснимым (хотя ранее и не сформулированным) правилом: у одушевленных собственно модификационных существительных изменение грамматического рода означало бы и изменение указания на пол. В связи с этим значение категории рода сохраняется у названий лиц и названий тех животных, для которых существенна половая дифференциация (*старик — старичок, корова — коровушка*). Что касается образований от названий, обозначающих породу животного без различий по полу, то у них также сохраняется род мотивирующего слова: тем самым сохраняется и половая недифференцированность, ср. *белка — белочка, обезьяна — обезьянка и бегемот — бегемотик, ястреб — ястребок*. Изменение рода одушевленных существительных при образовании слов с собственно модификационными суффиксами может осуществляться лишь в экспрессивных целях (об этом см. ниже).

У неодушевленных существительных, содержащих суффиксы собственно модификационных значений, сохранение рода мотивирующего слова является довольно сильной тенденцией, но не жестким правилом: эта тенденция у неодушевленных существительных взаимодействует с другой, менее сильной, тенденцией приобретения женского рода в процессе образования существительных с помощью однофлексийных суффиксальных морфов, соединенных с флексией [а], от существительных мужского и среднего рода: *амбар — амбарушка, голод — голодуха, ухаб — ухабина, пальто — пальтушка* (см. ниже).

С тенденцией к сохранению рода мотивирующего слова связано наличие разнородовых суффиксов только у тех отсубстантивных существительных, которые имеют собственно модификационные значения. Способность выступать в существительных разных родов обеспечивает этим суффиксам широкую родовую сочетаемость. Разнородовой суффикс может сочетаться с мотивирующими существительными разных грамматических родов, сохраняя в мотивированном слове их родовую характеристику; например, возможно образование существительных трех разных родов с помощью одного и того же морфа *-ушк(-а, -о)* от существительных трех разных родов с сохранением рода мотивирующего слова: *тесть — тестюшка, вдова — вдовушка, чадо — чадушко*.

Описанные общие закономерности родовой сочетаемости собственно модификационных суффиксов неодинаково реализуются у однородовых и разнородовых суффиксов. Родовая сочетаемость собственно модификационных суффиксов может быть представлена в виде таблицы, в которой по горизонтали даны суффиксальные морфы мотивированных слов, а по вертикали — все теоретически возможные родовые отношения мотивирующих и мотивированных слов⁵. Для мотивированных слов указываются

рабшка (жен. р.), *пальтишко* (ср. р.) — *пальтушка* (жен. р.), *оладышка* (жен. р.) — *оладышек* (муж. р.) — *оладышек* (муж. р.), *шпорец* (муж. р.) — *шпорца* (жен. р.) и др.

⁵ В число родовых отношений, рассматриваемых в статье, не входят отношения с так называемым общим родом, не имеющим собственного значения (совмещает значения мужского и женского рода). Вместе с тем необходимо отметить те случаи, которые на первый взгляд можно было бы трактовать как преобразование мужского рода в общий (*агун — агуньшка*). Однако, строго говоря, изменения родовой характеристики в этом случае не происходит, поскольку у мотивированного сохраняется способность

Исмер родового строения	Родовые отношения		Флексии мотивированных слов			Суффикальные морфы			
	Род мсти-рующего	Род мсти-рованного	Написание	Фсгемный состав	Звуковой состав	Однородные			
						однофлексийные			
						м рода	ж рода	ср рода	
					1	2	3		
1	1а	М	М				<i>браток лесок</i>		
	1б	М	М	-а	[а]	[ъ], [ь]			
	1в	М	М	-о, -е	[а]	[ъ], [ь]			
	1г	М	М	-о, /-а	[а]	[ъ], [ь]			
2		М	С	-о, -е	[о]	[о], [ь], [ъ]			<i>божество</i>
3		М	Ж	-а	[а]	[а], [ъ], [ь]		<i>страхота</i>	
4		Ж	Ж	-а	[а]	[а], [ъ], [ь]		<i>сестрица лужица</i>	
5		Ж	М				<i>Нинок тенек</i>		
6		Ж	С	-о, -е	[о]	[о], [ъ], [ь]			<i>ариза</i>
7		С	С	-о, -е	[о]	[о], [ъ], [ь]			<i>капричиово</i>
8		С	М				<i>дитенок филенчик</i>		
9		С	Ж	-а	[а]	[а], [ъ], [ь]		<i>поведенция</i>	

их флексии. В клетках таблицы помещаются примеры существительных с данным видом суффикса, характеризующихся определенным родовым

обозначать лицо мужского рода (*этот лгун — этот лгунишка*), а приобретение уменьшительно-ласкательным существительным способности обозначать и лицо женского пола означает возникновение корреляции «лицо мужского пола — лицо женского пола» (*этот лгун — эта лгунишка*).

мотивированных слов

Двуродовые				Трехродовые	
однефлексийные	двухфлексийные			двухфлексийные	
м. и ж. рода	м. и ж. рода	м. и ср. рода	ж. и ср. рода	-шик (-а, -о) и др.	-иц (-а, -е)
4	5	6	7	8	9
	<i>червяк</i> <i>чурбак</i>	<i>братец</i> <i>хлебец</i>			
<i>братушка</i> <i>холодьюга</i>	<i>чертяка</i> [<i>морозьяка</i>]			<i>старичишка</i>	
				<i>домишко</i>	<i>дружище</i> <i>домище</i>
				<i>человечишка</i> -о <i>стапожишко</i> -а	
			[<i>концертино</i>]		[<i>дядище</i>]
[<i>верблюдина</i>] <i>сараяшка</i>				[<i>парнишечка</i>] <i>сарайишка</i>	[<i>стыдища</i>]
<i>девчушка</i> <i>комнатушка</i>	<i>мамаша</i> [<i>пыляка</i>]		<i>солыца</i>	<i>овчишка</i> <i>бородишка</i>	<i>рыбища</i> <i>лапища</i>
	[<i>песняк</i>]	[<i>бабец</i>]			
			<i>дрянце</i>		[<i>Аглаище</i>]
[<i>сердчушко</i>]		<i>ружьецо</i>	<i>словоцо</i>	<i>дитягто</i> <i>письмишко</i>	<i>весище</i>
[<i>дитюся</i>] <i>пальтушка</i>				<i>коленка</i>	

отношением с мотивирующим словом и имеющих определенную флексию. В квадратных скобках даются окказионализмы. Это означает, что данная клетка заполнена окказионализмами, а не узальными словами. Пустая клетка означает отсутствие в узальной и известной нам окказиональной лексике образованного с помощью данного морфа мотивированного слова, характеризующегося данным родовым отношением и данной флексией. В каждой клетке приводятся два примера — на одушевленное и неоду-

шевленное существительное; наличие только одного из них означает отсутствие другого.

3.2.1.2.1. Родовая сочетаемость однородных собственно модификационных суффиксальных морфов (столбцы 1, 2, 3 таблицы) обусловлена закономерностями, действующими у суффиксов этих значений: однородной собственно модификационный суффиксальный морф регулярно сочетается с одушевленными существительными того же рода, что и слова с данным суффиксом и с неодушевленными существительными любого рода, предпочитая и в этом случае сохранение рода его изменению.

Однородные собственно модификационные суффиксальные морфы выступают в словах мужского рода (с нулевой флексией), женского рода (с флексией | а |) и среднего рода (с флексией | о |).

Морфы, выступающие в словах мужского рода (столбец 1), могут соединяться с одушевленными и неодушевленными существительными мужского рода — *ок*: *брат* — *браток*, *лес* — *лесок*; *-чик*: *скакунчик*, *рукавички*; *-ушек*: *воробушек*, *хлебушек* и др.

Гораздо менее регулярна сочетаемость морфов, имеющих нулевую флексию, с существительными женского и среднего рода. Образования со сменой рода носят обычно экспрессивный и разговорный характер. Возможно лишь образование экспрессивных женских имен типа *Нинок*, *Лизок*, *Ольгунчик*. Узуальные нарицательные образования от существительных женского и среднего рода единичны: *тенок* [более системное *тенька* (И. Грекова) — окказионализм], *оладушек* и *оладышек* (узуально и более системное *оладушка*), *бочонок*, *свинтус* (разг.), *плетюган* (обл.), *дитенок*, *филейчик*.

Возможности экспрессивного образования со сменой рода реализуются и в окказионализмах: Если ты *девчонки* глупый, конопляшки на носу, я тебя в ладонях грубых очень бережно несу (Н. Панченко); Будь в ящерки крылья, она могла бы весело гоняться по воздуху за летучими *насекомышами* (В. Бианки); Ты напрямик по *целику* давай, — посоветовала Анна Сергеевна (Ю. Нагибин); Я... снял с гвоздя свой *пальтуган* на рыбьем меху (В. Шефнер).

Однородные однофлексийные суффиксы, выступающие в словах женского рода (столбец 2), регулярно передают отношение *ж* → *ж* (ряд 4): *сестра* — *сестрица*, *лужа* — *лужица*, *скука* — *сुकота*, *старуха* — *старушенция*. Единичны существительные женского рода с однородными однофлексийными морфами рассматриваемых значений, мотивированные существительными мужского и среднего рода (клетки 3/2 и 9/2): *смех* — *смехота*, *страх* — *страхота*, *стыд* — *стыдоба*, *поведение* — *поведенция* (разг., имеется в семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка»).

Однородные однофлексийные морфы, представленные в словах среднего рода (столбец 3), немногочисленны и непродуктивны. Эти слова мотивируются существительными разных родов — *-ств(о)*: *бог* — *божество*, *семья* — *семейство*; *-озо*: *ария* — *ариозо*, *каприччио* — *каприччиозо* и др.

3.2.1.2.2. Д в у р о д о в ы е м о р ф ы (столбцы 4, 5, 6, 7 таблицы) делятся на однофлексийные и двухфлексийные.

3.2.1.2.2.1. О д н о ф л е к с и о н н ы е д в у р о д о в ы е с о б с т в е н н о м о д и ф и к а ц и о н н ы е м о р ф ы (столбец 4) выступают только у существительных мужского и женского рода. Они имеют в им. п. флексию *-а*.

Все эти морфы способны сочетаться с существительными всех трех родов. В отличие от однородных однофлексийных морфов с флексией

-а двуродовые морфы с той же флексией (равно как и трехродовые, см. раздел 3.2.1.2.3.) способны регулярно сочетаться с существительными мужского рода, сохраняя их родовое значение. При этом одушевленные существительные м. рода (в соответствии с общим правилом) образуют слова мужского рода — *-ушк(а)*⁶: *братушка*; *-онк(а)*: *мужичонка*; *-онька*: *папенька*; *-ошк(а)*: *Игорешка*; *-ан(я)*: *папаня*; *-ул(я)*: *папуля*; *-ун(я)*: *дедуня*; *-ус(я)*: *дедуся*; *-уш(а)*: *Андрюша*; *-ур(а)*: *Сашура*; *ут(а)*: *Васюта*; *-аг(а)*: *ворюга*; *-уг(а)*: *ворюга*; *-уж(а)*: *сатанюка*; *-ах(а)*: *Ваняха*; *-ох(а)*: *Игореха*; *-ух(а)*: *Гришуха*; *-ин(а)* (в увеличительном значении): *мужичина*; *-ин(а)* (стилистическая модификация): *дурачин(а)*.

Как и у однородовых суффиксов с нулевой флексией, изменение рода одушевленного существительного (в данном случае мужского рода в женский) осуществляется в целях усиления экспрессии: Сидит этакая *лбина*, уши развесив (В. Алексеев); Парень... бормотал: «У, *верблюдина* старая, эскалоп ходячий» (В. Алексеев). Ср. аналогичные контексты без изменения рода и с несколько менее выраженной экспрессией: Ух ты, зверюга, *жеребчина* эдакий! (Ч. Айтматов).

Неодушевленные существительные мужского рода с двуродовыми однофлексийными суффиксами либо сохраняют свое родовое значение (клетка 16/4): *холод* — *холодюга*, *дом* — *домина* и др., либо изменяют его на значение женского рода (клетка 3/4): *сарай* — *сарайшка*, *амбар* — *амбарушка*, *череп* — *черепушка*, *ухаб* — *ухабина*, *голод* — *голобуха* и др., ср. окказ.: Я пойду. Расклеилась *вечеруха* (В. Розов); Трахнет *кирпичузой* и каюк (В. Лаврентьев); Мне-то совсем *стыдуха* (Р. Зернова)⁷.

У существительных с двуродовыми однофлексийными морфами, мотивированных существительными женского рода, регулярно сохраняется род мотивирующего слова (клетка 4/4 в таблице).

Существительные с теми же морфами, мотивированные существительными среднего рода (клетка 9/4), принадлежат к женскому роду и имеют разговорно-экспрессивный характер: *пальто* — *пальтушка*, окказ. *пальтуха*: Евгения первым делом стала снимать с нее мокрый платок и мокрую *пальтуху* (Ф. Абрамов), окказ. одушевл. *дитюся*: <Любовь Андреевна> *Ненаглядная дитюся* моя (А. Чехов); нов. *общага* («общезитие»), окказ. *общезиха* [...распорядился подкинуть эти корзины в *общезиху*] (В. Фоменко); *Жилуха* [Далеко до *жилухи* (В. Чивилихин)], *кинуха*, *киношка*, *кинушка* и т. п.

Однако изменение *с* → *ж* при образовании собственно модификационных слов имеет ограниченный характер; основная масса слов среднего рода образует собственно модификационные корреляты с помощью трехродовых морфов без изменения рода (см. раздел 3.2.1.2.3.). Вместе с тем потенциально такое образование возможно и с помощью некоторых из узואально двуродовых суффиксов (т. е. потенциально возможно заполнение клетки 7/4). В этом случае они приобретают флексию *о* и функционируют как трехродовые. Так, зафиксировано окказиональное слово среднего рода с суф. *-ушк-* — *сердчушко* [Нельзя так милая: *надсадишь сердчушко* свое (В. Шукшин)]; возможны образования среднего рода с суф. *-онк-*, *-оньк-* и *-ешк-* (не зафиксированные в словарях современного

⁶ Суффиксы *-ушк-* (см. раздел 3.2.1.2.3.) и *-ушк(а)*, не вполне совпадающие по значению, рассматривают как разные морфемы (см., например [4, с. 213]).

⁷ Довольно многочисленные случаи изменения *м* → *ж* не дают возможности согласиться с таким утверждением: «К какому бы типу склонения ни принадлежали производные формы с суффиксами эмоциональной оценки, образованные от существительных мужского рода, они сохраняют тот же род» [6].

русского языка): *пальтенко, барахленко, седленко, мясонык, пивонько, временько, барахлешко* и т. п.

Отсутствие в узуальной лексике многих потенциально возможных образований объясняется богатством суффиксов субъективной оценки; реализация возможных образований со всеми этими суффиксами привела бы к избыточной лексической синонимии словообразовательно возможных эмоционально-оценочных слов.

Неодушевленные существительные на *-а* | *а* | с двуродовыми морфами способны употребляться одновременно как существительные мужского и женского рода — ср. двуродовые существительные: *этот, эта домина, кирпичина, сугробина, горбина, мостина, лбина, дождина, стволлина, голосина, кусина; штормяга* и др., ср. употребления синонимов, мотивированных одним и тем же словом, в мужском и женском роде: *Этакий холодина* (Л. Зорин); — *Холодюка* какая, — повел плечами Панин (Г. Немченко); *Холодрыга* здесь такая (А. Ваксберг) и т. п.

3.2.1.2.2.2. У двуфлексионных двуродовых суффиксальных морфов (столбцы 5, 6, 7) совмещаются свойства, присущие уже рассмотренным однофлексионным морфам. В зависимости от рода существительных, в которых выступают двуфлексионные двуродовые морфы, они делятся на три группы: морфы, выступающие в словах мужского и женского рода; мужского и среднего рода; женского и среднего рода.

К числу двуфлексионных двуродовых морфов, выступающих в существительных мужского и женского рода (столбец 5), относятся *-ак(ø, -а)* и *-аш(ø, -а)*. Они имеют флексии *ø* и | *а* | и совмещают свойства однофлексионных однородовых морфов, имеющих нулевую флексию (раздел 3.2.1.2.1.) и однофлексионных двуродовых морфов, имеющих флексию *-а* (раздел 3.2.1.2.2.1.): морфы *-ак* и *аш* в сочетании с нулевой флексией ведут себя так же, как морфы *-ок* и т. п., а те же морфы в сочетании с флексией *-а* ведут себя как морфы *-уш(а)* и т. п.

Оба морфа могут сочетаться с одушевленными и неодушевленными существительными мужского и женского рода, сохраняя их родовую характеристику: *червь — червяк, муравей — мураш; чурбан — чурбак, целковый — целкаш* (устар.); *черт — чертяка, папа — папаша, мама — мамаша*. Возможность образования неодушевленных существительных мужского и женского рода с флексией *-а* с помощью указанных морфов реализована лишь в окказионализмах: язык покажи, И вмиг морозяка откусит (В. Сорокин)⁸; Только пыляку с себя смывайте (В. Фоменко). Существительные с *-ак(а), -аш(а)*, не указывающие на половую принадлежность, подобно существительным с однофлексионными двуродовыми морфами (ср. раздел 3.2.2.1.), могут употребляться как существительные мужского и женского рода, ср.: *пришел* (пришла) *чертяка, коняка; сильный, сильная морозяка* и т. п. Образования со сменой рода экспрессивны: нов. *стопак* «стопка» [7], окказ. *песняк*: Грянули такого *песняка* про любовь (С. Залыгин). С существительными среднего рода двуродовые однофлексионные морфы не сочетаются.

Из числа двуродовых морфов в существительных мужского и среднего рода выступают лишь морфы *-ец(ø, -о)* и *-ик(ø, -о)* (столбец 6). Данные морфы, выступая в соединении с нулевой флексией, выполняют все функции однородовых однофлексионных морфов с нулевой флексией (см. раздел 3.2.1.2.1.), т. е. регулярно сочетаются с одушевленными и неодушевленными существительными мужского рода (*слоник, коврик*;

⁸ Пример взят из [4, с. 217].

brateц, хлебец) и нерегулярно (обычно в экспрессивных целях) — с существительными женского рода: милый *Аготик* (от *Агота*; устн. речь); она — хороший *бабец* (устн. речь). Выступая в соединении с флексией -|о|, эти морфы сочетаются с существительными среднего рода: морф -ец(о) — регулярно (*ружьецо, письмецо* и др.), морф -ик(о) — лишь в словах *колесико, личико* и *плечико* [4, с. 212].

В существительных женского и среднего рода выступает продуктивный морф -ц(-а, -о) и непродуктивный заимствованный -ин(-а, -о) (столбец 7 таблицы). Морф. -ц(-а, -о) регулярно сочетается с существительными тех же грамматических родов, сохраняя у мотивированного род мотивирующего: *дверь — дверца, соль — сольца, слово — словцо*. Изменения рода единичны: *дрань* (ж.) — *дранцо* (ср.), *гниль* (ж.) — *гнильцо* (ср.) (ср. *гнильца*, ж.), *память* (ж.) — *памятцо* (ср.) (при *памятьца* ж.). Случаев сочетания этого морфа с существительными мужского рода не отмечено (если принять, что устаревшие *зальца* и *зальце* мотивируются соответственно устаревшими же *зала* и *зало*, а не существительным *зал*, которым мотивируется уменьшительное *зальчик*). Морф -ин(-а, -о), характерный главным образом для музыкальных терминов, выступает в существительных, мотивированных существительными всех трех родов, сохраняя женский и средний (*соната — сонатина, анданте — андантино*) и изменяя мужской на средний: *концерт — концерттино* (в значении «музыкальное произведение типа концерта, но менее сложное и меньшего размера»).

3.2.1.2.3. К числу трехродовых морфов относятся: уменьшительно-ласкательные морфы -к(-а, -о), -ишк(-а, -о), -ушк(-а, -о) (безударный) (столбец 8) и увеличительный морф -ищ(-а, -е) (столбец 9). Орфографические флексии -а и -о, одинаково произносящиеся в заударных слогах, у слов с морфами -к-, -ишк- и -ушк- распределены, как известно, следующим образом: в существительных женского рода выступает флексия -а (фонематически |а|, ср. *женá*), в существительных среднего рода — -о (фонематически |о|, ср. *селó*); в существительных мужского рода написания -а, -о различают одушевленность/неодушевленность и тип склонения: в одушевленных существительных мужского рода, склоняющихся по второму склонению, на письме в Им. п. ед. ч. выступает окончание -а (*старичишка*), а в неодушевленных, имеющих вариативные формы по первому и второму склонениям, — окончание -о: *домишко, сараюшко* (фонематически |а|, ср. *слугá*).

Различение с помощью орфографических -а и -о одушевленности и неодушевленности, а также типов склонения существительных мужского рода имеет место только у существительных с трехродовыми морфами⁹. Видимо, написание -о у неодушевленных существительных объясняется наличием окончания -о у слов среднего рода с тем же морфом, имеющих в косвенных падежах те же флексии, что и существительные мужского рода (ср.: *И. хлебушко, морюшко, Р. хлебушка, морюшка* и т. д.). У существительных с увеличительным морфом -ищ(-а, -е) орфографически (с помощью написания флексии) различается не одушевленность/неодушевленность, а род: у существительных мужского и среднего рода в Им. п. ед. ч. на письме выступает флексия -е (фонематически |а| в словах м. ро-

⁹ Совпадая в произношении, написания -а и -о в Им. п. ед. ч. м. рода в современных словарях и текстах нередко варьируются как в одушевленных, так и в неодушевленных существительных; например, *воробушка/-о; роляшко/-а* и мн. др.: ...какой ты на самом деле есть паскудный *человечишко* (В. Тишков. Встреча на Росетани // Юность. 1985. № 3. С. 41); мелкий *характеришка* Гералтогского (Ю. Трифонов. Нетерпение).

да и |о| в словах ср. рода: *дружище, мужичище, парнище, домище, кулачище; винище, плечище, пугалище* и т. п.), а у существительных женского рода — *-а* (фонематически |а|: *бабуца, рыбица, пылица*). В безударном положении эти флексии произносятся одинаково.

Существительные с трехродовыми морфами могут мотивироваться словами всех трех родов. В подавляющем большинстве слов сохраняется родовая характеристика мотивирующего слова.

Род одушевленных мотивирующих существительных мужского рода сохраняется во всех узуальных словах с трехродовыми суффиксами: *дед — дедка, лгун — лгуньшка, соловей — соловушка, кабан — кабанище*. Изменение мужского рода одушевленных существительных может осуществляться в экспрессивных целях: Дремучее ты мое *дядище* (Л. Леонов); Вот, думаю, какая *парнишечка* попалась (М. Зощенко).

У неодушевленных существительных мужского рода с трехродовыми суффиксами, в отличие от одушевленных, род мотивирующего существительного сохраняется не во всех узуальных словах. Лексикографически зафиксированы следующие слова женского рода с рассматриваемыми суффиксами, мотивированные словами мужского рода: *жилетка, головенька, каракулька, колышка* (ср. более употребительное *колышек*), *ревенька* (наряду с *ревенёк*), *сарайшка* (наряду с *сарайшко*), *шалашка* (наряду с *шалашик*), *штиблетшишка* (ср. *штиблет*), ср. окказ.: *Стыдица-то* какая (А. Лиханов).

От существительных женского и среднего рода с помощью трехродовых суффиксов регулярно образуются существительные тех же родов (см. клетки 4/7, 4/8, 7/7 и 7/8 в таблице).

Окказиональное образование от одушевленных существительных женского рода с изменением рода также используется в экспрессивных целях: *Аглаище* проклятое (Ю. Герман)¹⁰.

Лексикографически зафиксированы единичные слова женского рода (разговорные или просторечные) с трехродовыми суффиксами, мотивированные неодушевленными существительными среднего рода: *колени — коленка* (зафиксировано и *коленко* ср. рода), *шоссе — шоссейка*, ср. также не отмеченные в словарях *свиданка, фотка*: — Ну, я побежал! У меня деловая *свиданка* (Ю. Трифонов); Альбом с рассыпучими семейными «*фотками*» (Т. Жирмунская); Рискнете привезти бочку горючего? Привезем *горючку* и маханем машиною (Д. Холендро); Это сколько же можно ждать твои *обещанки, зятек?* (Ю. Антропов).

3.2.1.3. Подводя итоги рассмотрению всех видов родовых отношений существительных, имеющих собственно модификационные суффиксы, с мотивирующими существительными, выделим основные закономерности, характеризующие ограничение родовой сочетаемости этих суффиксов:

1) ограничения родовой сочетаемости свойственны однородным и двуродовым морфам и не свойственны трехродовым морфам;

2) эти ограничения имеют частичный характер: они распространяются не на все мотивирующие существительные (как у суффиксов со значением женскости), а лишь на одушевленные мотивирующие существительные: однородные морфы сочетаются с одушевленными существительными одного рода, а двуродовые — с одушевленными существительными двух родов; род мотивированного при этом не отличается от рода мотивирующе-

¹⁰ В польском языке подобное образование пейоративно-аугментативных существительных среднего рода от существительных всех трех родов узуально (ср. *powieść — powieścidło, chłop — chłopisko* и др.). См. [5, с. 369, 370].

го; сочетаемость собственно модификационных морфов с основами неодушевленных существительных более свободна.

3.2.1.4. Аффиксы всех остальных значений, относимых к модификационным, — однородные и не имеют ограничений в родовой сочетаемости. К числу этих значений относятся собирательность, невзрослость, единичность и подобие.

Особенностью суффиксов со значениями собирательности и невзрослости является их «безразличие» к грамматическому значению рода и лексическому значению пола, свойственным мотивирующим существительным. Из коррелятов типа *студент — студентка*, *пионер — пионерка*, *слон — слониха*, *перепел — перепелка* суффиксы собирательности и невзрослости «выбирают» коррелят мужского рода, более простой по структуре (*студент — студенчество*, *пионер — пионерия*, *слон — слоненок*, *перепел — перепеленок*). В собирательных существительных значение пола нейтрализовано полностью (в отличие от форм множественного числа, где обозначается пол лиц, образующих множество, ср.: *студенчество* и *студенты*, *студентки*; *пионерия* и *пионеры*, *пионерки*). В существительных со значением невзрослости различие по полу нейтрализовано в названиях детенышей животных (*зайчонок — детеныш* любого пола; *поваренок — ребенок* мужского пола). От коррелятов женского рода существительные со значением собирательности и невзрослости не образуются — в отличие от существительных собственно модификационных значений (ср.: *студентка — студенточка*, *перепелка — перепелочка*). Значением собирательности род мотивирующего существительного не предопределяется (узואально шире представлены существительные женского и среднего рода). Существительные со значением невзрослости относятся только к мужскому роду; о причинах этого явления писал В. В. Виноградов: «Так как в категории мужского пола представление о поле выражено менее определено, чем в обозначениях лиц женского рода, то, естественно, слова, служащие для выражения невзрослости, названия детенышей входят в мужской родовой класс» [2, с. 74].

Некоторые суффиксы рассмотренных значений имеют опосредствованные ограничения в сочетаемости: например, суффиксы *-иј-*, *-н(я)* с собирательным значением сочетаются только с названиями лиц и поэтому не сочетаются с существительными среднего рода.

Отсутствие ограничений родовой сочетаемости немногочисленных суффиксов со значениями единичности и подобия связано, по-видимому, с тем, что эти суффиксы почти не представлены в сочетании с одушевленными существительными (исключение: *мать — мачеха*, и *отец — отчим* с сохранением рода мотивирующего). Неодушевленные мотивирующие существительные принадлежат к любому из трех родов: *горох — горошина*, *железо — железина*, *солома — соломина*; *металл — металлоид*, *планета — планетойд*, *горло — горловина*.

3.2.2. Сочетаемость многочисленных м у т а ц и о н н ы х суффиксов либо никак не связана с родом мотивирующего существительного, либо связана опосредствовано [например, несочетаемость суффикса *-ин(а)/-атин(а)* с существительными среднего рода обусловлена его сочетаемостью только с названиями животных]. Свобода родовой сочетаемости этих суффиксов объясняется характером их значений: мутационные суффиксы, как известно, являются формантами существительных, означающих нечто отличное от того, что названо мотивирующим словом. Такое значение безразлично к роду мотивирующих: оно не способствует ни сохранению, ни изменению их рода (ср.: *десант — десантник*, *корова — коров-*

ник, пшено — пшеник).

4. Связь категории рода со словообразованием является одним из ярких примеров связей лексических значений слов с их словообразовательными и грамматическими свойствами. Изучение грамматических родовых ограничений показало, что в словообразовании наибольшую роль играет та сфера категории рода, которая в наибольшей степени связана с лексическими значениями слов и в наибольшей степени обусловлена экстралингвистически — сфера выражения значений пола у одушевленных существительных. Непосредственные родовые словообразовательные ограничения охватывают лишь одушевленные существительные и обусловлены обязательным изменением значения пола при образовании существительных со значением женскости и сохранением значения пола в существительных собственно модификационных значений: уменьшительность, ласкательность, увеличительность, стилистическая модификация (как указывалось выше, сохранение рода без ограничения родовой сочетаемости возможно лишь при образовании существительных с трехродовыми суффиксами). Во всех остальных случаях ограничение на род является опосредствованным.

Изложенный материал свидетельствует от том, что грамматический род играет неодинаковую роль в разных подсистемах словообразования. Аффиксы различных значений по-разному связаны с категорией рода.

Изучение грамматического рода мотивирующих и мотивированных слов показало, что словообразовательные аффиксы с точки зрения ограничений в родовой сочетаемости делятся на следующие группы:

1) аффиксы, родовая сочетаемость которых полностью ограничена; это модификационные аффиксы со значением женскости, сочетающиеся только с существительными мужского рода; данное ограничение сочетается с семантическим ограничением (одушевленность); аффиксы со значением женскости всегда изменяют род мотивирующего слова;

2) аффиксы, родовая сочетаемость которых ограничена частично; это однородовые и двуродовые собственно модификационные аффиксы существительных, сочетающиеся соответственно с одушевленными существительными одного или двух грамматических родов (без изменения рода мотивирующего) и с неодушевленными существительными любого рода (предпочитая, однако, с существительными того же рода, что и мотивированные слова с этим аффиксом);

3) аффиксы, родовая сочетаемость которых ограничена опосредствованно, например, суффиксы притяжательных прилагательных, суффиксы наречий *-ом*, *-ой/-ою*; суффикс существительных *-ин(а)/-тин(а)*. Изменение грамматического рода при образовании слов с такими суффиксами имеет место в том случае, когда опосредствованно ограничена сочетаемость с мотивирующими существительными того рода, к которому относится мотивированное. Например, суф. *-ств(о)* выступает в существительных среднего рода (типа *кокетство*), а среди мотивирующих существительных (названий лиц) нет существительных среднего рода. Суф. *-ур(а)*, *-и(а)* (*адвокатура*, *мэрия*) представлены в существительных женского рода, мотивированных названиями профессий, чинов, званий, относящихся к мужскому роду; суф. *-ец* (со значением лица) выступает в существительных мужского рода, мотивирующие существительные на *-ение* — среднего рода.

4) аффиксы, родовая сочетаемость которых ничем не ограничена; это все префиксы, все мутационные суффиксы (за исключением суффиксов с опосредствованно ограниченной сочетаемостью), все транспозиционные

суффиксы, часть модификационных аффиксов: трехродовые собственно модификационные суффиксы, а также суффиксы со значением собирательности, единичности, невзрослости, подобия. У префиксальных слов род мотивирующего сохраняется, а у суффиксальных (указанных значений) может как сохраняться, так и изменяться.

Классифицирующая и словоизменительная категории рода также по-разному функционируют в словообразовании. Роль классифицирующей категории рода неизмеримо выше, чем словоизменительной. Главную роль классифицирующая категория рода играет в собственно модификационной сфере указанных выше модификационных существительных, меняющих или сохраняющих значение пола. Лишь в этой сфере действуют закономерности, определяющие родовую соотносительность мотивирующих и мотивированных слов. У других существительных род мотивированного непосредственно не связан с родом мотивирующего существительного. Что касается словоизменительной категории рода, то ее роль в словообразовании минимальна и проявляется в отдельных (описанных выше) словообразовательных типах.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Scalise S.* Generative morphology. Dordrecht, 1986.
2. *Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1972.
3. *Tvoření slov v češtině.* Т. 2. Praha, 1967.
4. *Русская грамматика.* Т. I. М., 1980.
5. *Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia.* Warszawa, 1984.
6. *Яковсон Р. О.* Морфологические наблюдения над славянским склонением (состав русских падежных форм) // *Яковсон Р. О.* Избр. работы. М., 1985. С. 182.
7. *Новые слова и значения.* М., 1971. С. 457.

ДЬЯЧКОВ М. В.

**СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССОВ ПИДЖИНИЗАЦИИ
И КРЕОЛИЗАЦИИ ЯЗЫКОВ**

В последнее время креолистика как специфический раздел теории языковых контактов привлекает все большее внимание исследователей, работающих в самых различных областях языкознания. По-видимому, это объясняется тем, что в процессе пиджинизации и последующей креолизации языка в пределах одного-двух поколений совершаются такие изменения, которые в ходе эволюционного процесса растягиваются на века и тысячелетия. Вследствие этого они нередко оказываются вне поля зрения исследователя, тогда как в процессе пиджинизации и креолизации они вполне могут быть зарегистрированы в материалах полевых исследований. Изучение механизмов и свойств пиджинизации и креолизации языка в состоянии оказать неоценимую помощь в исследовании свойств человеческого языка вообще, соотношения структур языка и мышления, изоморфности или неизоморфности языковых и социально-культурных общностей и т. д.

Между тем, пожалуй, ни в одной области языкознания не существует столь значительной неоднозначности в терминологии и укоренившихся научных предрассудков, как в креолистике. Еще в 1930-е годы один из пионеров в области креолистики Дж. Рейнеке писал: «Почти каждое свойство процесса формирования, ... и функционирования маргинальных языков является предметом споров. Многие необоснованные идеи и схожие домыслы относительно этих форм речи продолжают существовать» [1]. Подобное положение сохраняется и до настоящего времени. В различных работах не только неоднозначно употребляются такие термины, как «субстрат», «адстрат», «суперстрат», «конвергенция», «интерференция» [2, с. 407—419], но и сам объект исследования, т. е. пиджины и креольские языки различными исследователями зачастую трактуются по-разному [3—14]. Нельзя не согласиться с мнением, что в современной лингвистике «стало модным называть любую нестандартную форму речи пиджином или креольским языком и определять любой процесс сравнительно глубоких изменений в языке как пиджинизацию или креолизацию» [15].

На современном этапе исследований, как представляется, нельзя обойтись без однозначных определений пиджинизации и креолизации языка на основании тех особенностей, которые отличают их от других видов языковых контактов. П и д ж и н и з а ц и я языка — это специфический процесс «столкновения» между языками в определенных условиях, приводящий к резкому сокращению функциональной валентности и редукции на всех языковых уровнях (например, в грамматике — в сторону изоляции) того языка, который занимает доминирующее положение в контакте. На практике пиджинизация языка происходит в тех случаях, когда носители каких-либо языков сталкиваются с необходимостью использовать незнакомый им язык в достаточно ограниченной сфере коммуникации (то-

варообмен, работоторговля, выполнение определенного вида работ и т. д.) в качестве единственного средства коммуникации без правильного и полного овладения соответствующим языком. По мере формирования пиджин усваивается и носителями того языка, на лексической основе которого он формируется, поскольку они видят в формирующемся пиджине единственное средство для поддержания контакта. По отношению к пиджину исходный язык определяется как язык-источник, или базовый язык, язык-лексификатор, ибо словарь пиджина на 90—95% создается на основе лексического материала исходного языка. Следует отметить, что источником в этом случае оказывается не нормированный стандартный язык, а его территориальные или социальные диалекты, с которыми приходится сталкиваться создателям пиджина [2, с. 396—400; 7, с. 16—19, 22; 9, с. 43—44]. После своего создания пиджин становится единственным средством коммуникации в рамках определенной языковой ситуации. Следует подчеркнуть, что выполнять свои функции он может, лишь обладая четкой структурой, высокой степенью стабильности и однозначности [3, с. 113; 16, с. 198]. Этому способствует также и отсутствие непосредственной интерференции, или диффузии, между языком-источником и языком или языками, выступающими в качестве субстратов (автохтонных языков менее престижных языковых общностей, участвующих в контакте). Непосредственный контакт и интерференция между этими языками отсутствуют потому, что каждая из контактирующих сторон владеет своим родным языком и пиджином, но не языком другой стороны [17]. Иными словами, при осуществлении коммуникации посредством пиджина из него исключается весь «отрицательный языковой материал» (по Л. В. Щербе [18]). Наличие такого материала в экстремальных и затрудненных условиях коммуникации делало бы ее совершенно невозможной. В формирующийся пиджин наследуется из языка-источника и в весьма незначительной степени из языков-субстратов только то, что оказывается доступным в условиях ограниченного контакта. Поэтому проникшие в него элементы теряют ту первоначальную социальную значимость, которой они обладают в тех языках, из которых заимствованы [2, с. 407—419].

Любой язык подвергается пиджинизации только при наличии ряда обязательных условий, которые выполняются, как правило, на историческом фоне завоеваний, торговой экспансии или массовых миграций коренного населения. Представляется возможным предложить следующий набор этих условий: (1) неравноправность контактирующих языков (язык-источник занимает более высокий социальный статус, чем субстраты); (2) спорадичность контактов и узость сферы коммуникации, осуществляемой посредством только устной речи; (3) пренебрежительное отношение носителей языка-источника к носителям субстратов; (4) отсутствие социальной потребности у носителей языков-субстратов правильно и полностью изучить язык-источник; (5) отсутствие контактного языка-посредника, который мог бы выступить в качестве средства коммуникации; (6) отсутствие взаимопонимания между носителями языка-источника и субстрата. Как видно, для пиджинизации языка необходимо выполнение достаточно большого набора условий, в связи с чем этот процесс возникает не так часто. Условия, необходимые для пиджинизации португальского, английского и французского языков, возникли на западном побережье Африки вместе с появлением первых рабовладельческих факторий в XV—XVI вв., тогда как к началу более поздней колониальной экспансии их уже не существовало. К этому времени в Африке уже возникла и функционировала достаточно эффективная инфраструктура колониальной

администрации. Поэтому не могло выполняться, в частности, условие (2). Именно поэтому, а не вследствие каких-то особых внутривидовых свойств, немецкий язык в Африке не подвергся пиджинизации. В иной ситуации возникали пиджины и на основе немецкого языка, в частности, на некоторых островах Океании [1, с. 160, 16, с. 63, 64]. При наличии соответствующих условий подвергался пиджинизации русский язык. Такой процесс имел место, в частности, в XIX в. в районе г. Кяхты, лежащего на торговом пути из Китая в Россию [19]. На Кавказе, несмотря на уникальную языковую плотность и многочисленные завоевания, которым он подвергался, условия, необходимые для пиджинизации, никогда не создавались.

Помимо пиджинизации, возможны и другие, существенно отличающиеся от нее механизмы контактов между языками, наблюдающиеся в других условиях и приводящие к иным результатам. В качестве примеров можно привести контактные идиомы типа русско-норвежского «руссенорска» или «недоусвоенные» варианты немецкого языка, так называемые «гастарбайтердойч», имеющие хождение в наши дни среди рабочих-иммигрантов различных национальностей в ФРГ [2, с. 438—439]. В структурном отношении такие идиомы, именуемые иногда «жаргонами», существенно отличаются от пиджинов, тем более расширенных пиджинов. Вряд ли можно согласиться с утверждением о том, что эти «жаргоны» могут в конечном счете превращаться в «стабильные пиджины» [1, с. 266—267; 20, 21].

Своеобразной разновидностью языковых контактов, не имеющей никакого отношения к пиджинизации, является интенсивное интерференционное проникновение элементов словоизменительной морфологии из одного языка в другой. В качестве примеров можно привести язык мбугу в Африке [3, с. 243—254] или алеутский язык на Командорских островах [22]. Следует подчеркнуть, что такая разновидность встречается достаточно редко и еще совершенно не изучена.

В процессе пиджинизации любого языка полностью элиминируется словоизменительная морфология (если, конечно, она имеется в исходном языке), в результате чего язык резко меняет свой тип в сторону изоляции. Изменение структуры исходного языка при пиджинизации приводит к тому, что для достижения одних и тех же референционных эффектов в пиджине и в исходном языке используются различные языковые средства [1, с. 135]. Основным средством выражения синтаксических отношений между словами в предложении в пиджинах становится их порядок. Существует мнение, согласно которому порядок слов во всех пиджинах, независимо от свойств исходного языка, имеет вид SVO [10, с. 123]. Наблюдения показывают, что несмотря на тяготение к такому порядку слов, он все же выдерживается не во всех без исключения случаях. В этом отношении наблюдается и определенная зависимость от свойств исходного языка.

Следует отметить, что в ходе полевых исследований чаще всего приходится сталкиваться не с собственно пиджином на его начальной стадии, а с так называемым «расширенным пиджином» [23], т. е. языком с более широкой функциональной валентностью, используемым для межэтнического общения и не родным ни для кого из говорящих на нем. Формирование «собственно пиджина» и переход его в «расширенный пиджин» на какой-то стадии могут происходить одновременно, и их следует рассматривать в динамике [10, с. 147; 24]. Строй расширенных пиджинов тяготеет к изолирующему типу и имеет тенденцию к развитию механизма сло-

восложения. В качестве примеров приведем записи, сделанные исследователями в полевых условиях.

Расширенный пиджин на основе немецкого языка, имевший хождение на некоторых островах Океании: «1) Früher ich war in Alexishafen. 2) Ich gut arbeiten. 3) Ich war noch klein. 4) Ich gehen. 5) Ich dann bleiben. 6) Dann ich grosse mädchen 7) Ich hauskuk bleiben. 8) Ich gut kochen. 9) Dann ich heiraten. 10) Dann diese kriegten kommen, und wir fortlaufen von die festland. 11) Dann wir nach unsere dorf kommen» [16, с. 64]. «1) Раньше я жила (в) Алексисхафене. 2) Я работала хорошо. 3) Я была еще маленькой. 4) Я уехала. 5) Я тогда осталась (там). 6) Потом я (стала) взрослой девушкой. 7) Я осталась дома — готовить. 8) Я хорошо готовила. 9) Потом я вышла замуж. 10) Потом началась эта война, и мы уехали с материка. 11) Потом мы приехали в нашу деревню. Порядок слов в предложениях — SVO и SOV, наблюдается словосложение (*hauskuk, festland*). Расширенный пиджин на основе русского языка, имевший хождение в районе г. Кяхты: «1) За тиби середиза буду. 2) Тута ваша манера бичи еса. 3) Одна шуба ниту, толика одина сукона халаза воротеника меха пришивай еса. 4) За ево маленки куrema поде болешана куrema понеси еса. 5) Тута переза шолека, зада холесета, шолека показывай еса. 6) Поболешане куrema адали ворота не запирай еса» [19, с. 376]. «1) Ты будешь сердиться. 2) Здесь описываются ваши обычаи. 3) Некоторые шуб не имеют, некоторые только пришивают (к) суконному халату меховой воротник. 4) Они носят маленькую поддевку под большой. 5) Там спереди шелк, сзади — холст, шелк только виднеется. 6) Большая одежда не застегивается». В этом случае местоименный субъект всегда вводится с помощью предлога «за». Словоизменение полностью элиминируется. Употребляемая в тексте форма настоящего времени образуется сочетанием словарной формы глагола (оканчивающейся на *-ху, -иза, -и*) и постпозитивного форманта «еса». Порядок слов: SVO и SOV.

Могут создаваться условия, при которых расширенные пиджины из языков межэтнического общения, не родных ни для кого из говорящих на них, превращаются в родные языки каких-либо языковых общностей, т. е. нативизируются. Такие нативизированные расширенные пиджины и определяются как креольские языки. В этом случае креолизация определяется как процесс нативизации расширенного пиджина, сопровождающийся еще большим расширением его функциональной валентности и структуры. Выделяются три типа ситуаций формирования креольских языков: 1) креольский язык формируется на основе расширенного пиджина в ходе детрибализации, т. е. образования смешанного этноса (франкокреольские аисьен на Гаити, креоль-сесельва на Сейшельских островах, англокреольский сранан-тонго в Суринаме и др.); 2) креольский язык формируется на основе расширенного пиджина при нативизации последнего без детрибализации отдельных этносов (англокреольские ток-писин в Папуа Новой Гвинее, вес-кос в Камеруне, португалокреольский криоль в Гвинее-Бисау и др.); 3) креольский язык формируется в результате смешения ранее образовавшихся на единой лексической основе креольских языков в ходе вторичного смешения уже ранее креолизованных этносов (англокреольский крио в Сьерра-Леоне) [24—26]. Таким образом, исходным в процессе креолизации всегда является пиджин.

Некоторые лингвисты высказывают мнение о возможности креолизации без предварительной пиджинизации. Такой концепции, в частности, придерживаются М. Аллейн [9, с. 137—138, 144, 219], А. Вальдман [8, с. 105—130], А. Болле [8, с. 137—149], П. Мюльхойзлер [1, с. 221] и др.

Более того, некоторые исследователи рассматривают через призму пиджинизации/креолизации формирование таких языков, как английский [27], индонезийский [7, с. 25] и др. Возникает вопрос, не определяют ли эти авторы как креолизацию любой процесс достаточно интенсивной интерференции? Конечно, креолизация не может протекать без интерференции (в отличие от пиджинизации), но интерференция вполне может протекать и без креолизации. Эти два процесса неидентичны, и их не следует смешивать [28—35].

Сформировавшись, креольские языки не имеют никаких имманентных свойств, препятствующих им выполнять полный объем функций, присущих человеческому языку. Примером тому могут быть некоторые креольские языки, которые в наши дни успешно выполняют функции межнационального языка и языка межэтнического общения в тех странах, где целенаправленно осуществляются соответствующие меры по языковому строительству (англокреольские ток-писин в Папуа Новой Гвинее, сранан-тонго в Суринаме, франкокреольские креоль-сесельва на Сейшельских островах и айсьен на Гаити, португалокреольские языки в Гвинее-Бисау и Кабо-Верде и др.). Однако при этом не следует забывать, что существенное воздействие на развитие того или иного языка и на объем выполняемых им функций могут оказывать субъективные аксиологические факторы, к которым, в частности, относится престижность языка у его носителей. Что касается креольских языков на европейской основе, то именно в этом случае наиболее остро ощущается отрицательное воздействие их «колониального» происхождения. Низкому социальному престижу этих языков в немалой степени способствовала и лингвистическая некомпетентность их первых исследователей, как правило, христианских миссионеров. Эти люди зачастую описывали креольские языки лишь как курьезное, достойное осмеяния явление. Так возникали социальные предрассудки, на основании которых считалось, что креольские языки как таковые выступают в качестве препятствия для интеллектуального развития личности [3, с. 109]. На основании именно таких предрассудков в 1953 г. было принято приговорное и практически невыполнимое решение Совета по опеке ООН, призывавшее «искоренить» язык ток-писин в Папуа Новой Гвинее ([36], ср. [37]). Можно лишь выразить удовлетворение по поводу того, что за прошедшие с того времени десятилетия отношение как к самим креольским языкам, так и к важности их изучения в значительной степени меняется.

Структурные изменения языка (точнее, его диалектов) в процессе пиджинизации/креолизации наглядно видны при сопоставлении друг с другом как отдельных креольских языков, так и этих языков с их языками-источниками. Различия между языком-источником и образовавшимся на его основе креольским языком настолько велики, пути их развития настолько несхожи, что они могут рассматриваться лишь как две различные системы, а не как система (язык-источник) и подсистема (креольский язык). Между тем именно с таким подходом приходится сталкиваться в некоторых исследованиях [24]. Сопоставление может быть адекватным только в том случае, если с креольским языком будет сопоставляться не стандартный язык-источник в его синхронном состоянии, а его территориальные и социальные диалекты, отнесенные к периоду пиджинизации и креолизации языка. Следы этих диалектов прослеживаются на многочисленных примерах. Так, например, во многих англокреольских языках имеется служебное глагольное слово *don* с перфективным значением, восходящее к английской производной словоформе *done*, которая в диалектах употреблялась самостоятельно для передачи того же значения, а во франкокре-

ольских имеется слово *тип* в значении «кто-то», восходящее к французскому *monde*, которое в диалектах употреблялось с тем же значением.

То обстоятельство, что от 80 до 95 % основного словарного состава креольского языка образовано на лексическом материале языка-источника, позволяет устанавливать между ними систематические соответствия на лексическом и фонологическом уровнях. Это дает возможность постулировать наличие между ними генетической связи (в понимании Дж. Гринберга), т. е. сходства в звучании и значении корневых и некорневых морфем, а также не считать креольские языки более «смешанными», чем все остальные некреольские.

Наблюдения показывают, что многие изменения, наблюдаемые на уровне фонологии, заложены в качестве тенденций уже в самом языке-источнике и проявляются на его периферии. В диалектах они реализуются частично, а в креольском языке находят более последовательное и полное выражение. Фонологические изменения, происходящие в процессе пиджинизации/креолизации, могут быть выражены посредством формулы: $DL_T \left\{ \frac{a > b}{p} (Ad) \right\} K_T$, которая показывает, что фонема /a/ соответствующего диалекта D языка-источника L на временном срезе T соответствует в позиции p фонеме /b/ в креольском языке K на временном срезе T_1 , т. е. в момент проведения исследования. Принимается во внимание также и возможное интерференционное воздействие со стороны языка или языков-адстратов (Ad). Практическая трудность заключается в том, что не всегда представляется возможным с достаточной степенью достоверности определять показатели D, T, Ad. В процессе пиджинизации/креолизации, несмотря на изменения, определяемые по приведенной формуле, сохраняются существенные особенности фонологической системы языка-источника. Так, например, во франко- и португалокреольских языках сохраняется фонологическая оппозиция гласных по назализованности — неназализованности, свойственная французскому и португальскому языкам. В то же время в англокреольских языках гласные назализуются лишь позиционно вследствие отсутствия подобной фонологической оппозиции в английском языке (и его диалектах), хотя подобная оппозиция имеется во многих языках-адстратах. В португалокреольских языках нашла отражение редукция безударных гласных, которая происходила наиболее интенсивно в португальском языке и его диалектах в период, относящийся к пиджинизации/креолизации; ср., например: португ. *esquecer* «забыть» — гвин. креол. *skise*; португ. *camisa* «рубашка» — гвин. креол. *kamiz*; португ. *carregar* «приносить» — гвин. креол. *karga* и т. д. В англокреольских языках, возможно, при резонансном воздействии со стороны языков-адстратов, нашла отражение тенденция к эпентезе гласных между некоторыми скоплениями согласных, характерная для ряда английских диалектов и просторечия. Например: англ. *people* [pi:pl] «народ; люди» — крио *pipul*, англ. *stone* [stoun] «камень» — вес-кос *siton* и т. д. Во французском языке в период пиджинизации/креолизации в начальной позиции существовала фонема /h/, которая впоследствии элиминировалась в стандартном языке. Это находит отражение в современном состоянии ряда креольских языков, например: франц. *hacher* «рубить», *haut* «высокий», *happer* «хватать» тринидадский *haše*, *ho*, *hape*.

Наряду с сохранением ряда фонологических свойств языка-источника в креольских языках также проявляются некоторые черты, свойственные адстратам, например: элиминирование фонологического противопоставления гласных по долготе — краткости, тенденции к сингармонизму в пре-

делах слова и фразы [28, с. 85—87], палатализации согласных [29, с. 49]. В процессе пиджинизации/креолизации остается без изменений также и фонологическая избирательность, присущая исходным языкам. Как известно, для таких языков, как португальский, английский и французский, характерно словоопознавательное и словоразличительное ударение, не свойственное языкам изолирующего типа. Несмотря на изменение строя языка при пиджинизации/креолизации, эти два типа ударения в креольских языках сохраняются без изменений. Тенденции к изменению фонологической избирательности могут проявляться лишь на периферии. В литературе имеются указания на наличие тоновых фонологических оппозиций в англокреольском языке сарамакка, распространенном на части территории Суринама [30] и на периферии англокреольских языков крио [31] и вес-кос [32]¹. Можно предположить, что в некоторых креольских языках проявляется тенденция к еще не четко выраженным изменениям в плане фонологической избирательности.

Резкий разрыв между креольскими и базовыми языками наблюдается в сфере словоизменительной морфологии. Как уже говорилось, характерной чертой механизма пиджинизации является полнейшее элиминирование словоизменения. Образование аналитических конструкций становится, таким образом, характерным свойством креольских языков. Как правило, служебные компоненты аналитических конструкций создаются на лексическом материале языков-источников, тогда как семантика выражаемых ими частных грамматических категорий подвергается существенным типологическим изменениям. В этом случае определенная роль принадлежит воздействию языков-адстратов. Так, например, в португало-, англо- и франкокреольских языках, в отличие от их языков-источников, грамматическое выражение имеет только указательная, дистрибутивная и репрезентативная множественность, в то время как нейтрализуется оппозиция «единичность — простая множественность»². Например: крио *I get boku broda*; *Asi de go, i mit in broda den* «У него есть много братьев. Когда он пошел, он встретил своих братьев (этих с нами)»; вес-кос *Na Jisos den de fo tebu, Jisos se simol tam den no luk am* «Когда Иисус (с учениками), сидел за столом, Иисус сказал, что вскоре они его не увидят»; айсьен *Ma do yo ale benyen* «Мадо (с подругами) пошла купаться»; сесельва *Li alvwar tu ban marsan* «Он обошел всех купцов (определенных по контексту)»; *Ban Rene res prekot ni* «Рене (с семьей) жил рядом с нами», и т. д. «Смешанность» креольских языков как раз и состоит в том, что некоторые значения частных грамматических категорий заимствуются из языков-адстратов. Однако вполне понятно, что смешение в этом случае носит типологический, но никак не генетический характер.

В процессе креолизации расширенного пиджина в нем возникает и развивается словообразовательная система. Как известно, наиболее продуктивным видом словообразования в языках, тяготеющих к изолирующему типу, является словосложение. При креолизации развитие системы словообразования во многом зависит от степени контактов формирующегося языка с другими, в которых такая система имеется. В рассматриваемых нами случаях франко- и португалокреольские языки находились под более сильным влиянием со стороны соответственно французского и порту-

¹ Данные, полученные автором при работе с информантами, ставят под сомнение наличие фонологических тоновых оппозиций в крио и вес-косо.

² С аналогичным явлением приходится сталкиваться в ряде западноафриканских языков и языков Океании [33; 29, с. 98—120].

гальского, чем англокреольские — со стороны английского [9, с. 63, 226]. Таким образом, словосложение более продуктивно в англокреольских языках, а деривация — в португало- и франкокреольских. В системе словосложения во всех креольских языках преобладают двукомпонентные атрибутивные модели, например: крио *wasos* «ванная комната (*was* «мыть», *os* «помещение») вес-кос *bathat* «злоба» (*bat* «быть плохим» *hat* «сердце»), ток-писин *hauspera* «учреждение» (*haus* «дом», *pera* «документ, бумага»), тринидадский *bonbuš* «лесть» (*bon* «быть хорошим», *buš* «рот»), айсьен *yefo* «жадность» (*ye* «глаз», *fo* «сила») и т. д. Широко распространена в креольских языках редупликация синтаксическая и словообразовательная, в основном используемая для усиления значения. Примеры словообразовательной редупликации: крио *bega* «просить» — *begabega* «попрошайничать», ток-писин *lukim* «смотреть» — *luklukim* «внимательно следить», айсьен *koze* «разговаривать» — *kozkoze* «болтать», вес-кос *trong* «быть сильным» — *trongtrong* «быть расшвырявшимся» и т. д.

В системе деривации аффиксы, как правило, непосредственно заимствуются из базового языка или формируются на его лексическом материале. Представляется возможным выделить три группы аффиксов:

1) аффиксы, сформированные непосредственно в креольском языке на лексическом материале языка-источника: вес-кос *tri* «три» — *tritali* «тридцать» (от англ. *tally*), ток-писин *long* «быть длинным» — *longpela* «длинный» (от англ. *follow*), *kirap* «просыпаться» — *kirapim* «будить» (от англ. *him*), сранан-того *langa* «быть длинным» — *langawan* «длина» (от англ. *one*), сейшельский *se* «сестра» — *tise* «сестричка» (от франц. *petit*) и т. д.;

2) аффиксы, заимствованные из языка-источника с расширением продуктивности: сранан-тонго *tranga* «быть сильным» — *trangameng* «насилие» (от англ. *-ment*), сейшельский *job* «работа» (от англ. *job*) — *jobe* «работать» (от франц. *-er*), крио *ej* «возраст» — *ejebul* «престарелый» (от англ. *-able*), *sak* «пьянствовать» — *saka* «пьяница» (от англ. *-er*), айсьен *swan* «быть частым» — *swanman* «частота» (от франц. *-ment*) и т. д.;

3) аффиксы, вычленяемые в заимствованных из языка-источника словах-дериватах, но продуктивно не употребляющиеся: крио *sevun* «семь» — *sevunt* «седьмой» (от англ. *-th*), франкокреольские языки: *twa* «три» — *twa-zyet* «третий» (от франц. *-sième*) и т. д.

В некоторых случаях в деривационной системе креольского языка могут образовываться лакуны, требующие заполнения. Например, во франкокреольских языках вследствие дефонологизации произошло слияние глагольного инфинитивного суффикса *-er* и именного суффикса деятеля *-eur*. В языке айсьен эта лакуна была заполнена посредством заимствования испанского суффикса деятеля *-ador*³ и английского полусуффикса *-man*: *gwog* «вино» — *gwogman* «пьяница», *bos* «повозка» — *bosman* «кучер», *bliye* «забывать» — *bliyado* «забывчивый человек», *finen* «курить» — *fimadol* «курильщик» и т. д.

Интересно отметить, что не зарегистрировано ни одного случая заимствования аффиксов из местных языков-адстратов, занимающих в данных ситуациях более низкое социальное положение, чем европейские языки. Все неодноморфемные слова из этих языков заимствуются в креольские языки как одноморфемные.

Полное элиминирование словоизменительной парадигматики, элементы которой проникли лишь в некоторые португалокреольские языки под влиянием португальского, приводит к расширению синтаксической валент-

³ Устное сообщение В. Г. Гака.

ности некоторых классов слов и размыванию четких границ между этими классами. Вследствие этого количество формально выделяемых классов слов в креольском языке и его языке-источнике может не совпадать. Например, в тех креольских языках, в которых традиционные прилагательные обладают предикативностью, нет формальных оснований для выделения их в отдельный класс. Отсутствие словоизменительной парадигматики делает возможным объединять их и глаголы в один класс слов.

В синтаксическом плане большое распространение в креольских языках имеет сериализация, приводящая к образованию так называемых «глагольных цепочек» — линейных последовательностей глаголов, образующих формально и семантически единое целое, например: крио *I ð e - w a k a g o - r o n - j o m p s o t e i r i c w a t a s a i* «Он (формант длительности)-б р е л - ш е л - б е ж а л - п р ы г а л, пока (не)) достиг реки»; айсьен *Maman twen te - vin - g r i v e - s o t l a v i l* «Моя мать (временной формант)-п р и ш л а - п р и б ы л а - у е х а л а (т. е. приехала и уехала) (из) города»; гвинейск. *Lubi r i n k a - k u r i - b i n g t e r k u L e b r i* «Гвена п р и ш л а - п р и б е ж а л а - п р и б ы л а быстро к Зайцу» и т. д. По мнению некоторых исследователей [29, с. 250—268], сериализация в креольских языках объясняется воздействием языков-адстратов. Нельзя отрицать возможность такого воздействия. Однако правомерно предположить, что сериализация (широко распространенная, в частности, во многих языках Африки и Юго-Восточной Азии) является одним из типологических свойств языков, тяготеющих к изоляции. В таком случае можно говорить о ее возникновении в креольских языках при резонансном воздействии со стороны некоторых языков-адстратов.

Единый механизм процесса пиджинизации/креолизации языков позволяет поставить вопрос: можно ли на синхронном уровне типологически выделять креольские языки в отдельную группу. На этот счет существуют противоположные точки зрения. Согласно одной из них, такая типологическая группа не может быть выделена, поскольку для этого нет достаточных оснований: различные креольские языки, даже восходящие к одному и тому же источнику, могут обладать различными свойствами [1, с. 307—308; 2, с. 393—397; 9, 11]. Различия в свойствах креольских языков объясняются следующими обстоятельствами: а) типологическими различиями исходных языков, 2) различиями в путях внутреннего развития отдельных креольских языков, 3) интерференционным воздействием со стороны типологически различных языков-адстратов [28, 29]. Данная точка зрения подтверждается многочисленными примерами при конкретном изучении отдельных креольских языков и сопоставлении их свойств. Так, если для большинства креольских языков характерно отсутствие словоизменения, то оно в ограниченном объеме имеется в португалокреольских языках Гвинеи-Бисау и Кабо-Верде (по крайней мере, в отдельных их диалектах). В англокреольских языках Карибского бассейна наблюдаются существенные различия в выражении частных грамматических категорий глагола, причем одинаковые форманты и аффиксы в разных языках имеют различное употребление и обладают различными значениями [7, с. 164]. Система деривации, продуктивная в одних креольских языках, почти полностью отсутствует в других. Нормативный порядок слов SVO характерен далеко не для всех расширенных пиджинов и креольских языков.

Согласно второй точке зрения, структура креольских языков соответствует набору специфических универсалий, который Д. Бикертон определил как «естественный семантакс» [10, с. 5]. Постулируется наличие в человеческом мозгу определенной биопрограммы, т. е. врожденных язы-

ковых универсалий [24—26]. При этом, как представляется, логические универсалии отождествляются с синтаксическими. С этой точкой зрения в известной степени созвучна и предложенная ранее так называемая моногенетическая гипотеза, согласно которой креольские языки, возникшие в бывших колониях на основе европейских языков, имеют единое происхождение, сопровождавшееся «релексификацией» [1, с. 107; 3, с. 293—296; 34, 35]. Следует отметить, что в ходе конкретных исследований отдельных креольских языков и сопоставления их друг с другом не удается однозначно подтвердить наличие постулируемых Д. Бикертоном универсалий (или хотя бы фреквенталий), на основании которых можно было бы экспериментально подтвердить наличие «биoprogramмы» [11]. Что касается более частного вопроса о моногенезе определенной группы креольских языков, то здесь, как представляется, не учитывается то, что «выбор слова невозможен безотносительно к конструкции, задающей его синтаксические характеристики», равно как и «выбор конструкции неосуществим без предварительной фиксации лексических элементов» [38]. Представляется, что ни одно из этих положений не выполнялось бы при допущении «релексификации». При рассмотрении процесса формирования креольских языков можно, по-видимому, говорить об однотипности механизма, но никак не об однотипности результата. Иными словами, отнесение конкретного языка к креольским возможно лишь при рассмотрении его в диахронии. При рассмотрении же языка в синхронии, без учета истории его формирования, вряд ли возможно выделить набор типологических свойств, который однозначно позволял бы отнести его к креольским [39, с. 180].

ЛИТЕРАТУРА

1. Mühlhäusler P. Pidgin and Creole linguistics. Oxford, 1986.
2. Typologische Aspekte der Sprachkontakte/Hrsg. von Ureland P. S. Tübingen, 1982.
3. Pidginization and creolization of languages / Ed. by Hymes D. Cambridge, 1971.
4. Pidgin and Creole linguistics / Ed. by Valdman A. Bloomington — London, 1977.
5. Theoretical orientations in Creole studies / Ed. by Valdman A., Highfield A. L., 1980.
6. Heine B. Pidgin-Sprachen in Bantu Bereich. Berlin, 1973.
7. LePage R. B., Tabouret-Keller A. Acts of identity: Creole-based approach to language and ethnicity. Cambridge, 1985.
8. Langues en contact — Pidgins-Créoles. / Ed. par Meisel J. W. Tübingen, 1977.
9. Alleyne M. C. Comparative Afro-American. Ann Arbor, 1980.
10. Issues in English Creoles / Ed. by Day R. Heidelberg, 1980.
11. Substrata versus universals in Creole genesis / Ed. Muysken P., Smith N. Amsterdam—Philadelphia, 1986.
12. Pidginization and creolization as language acquisition / Ed. by Andersen R. W. Rowley, 1983.
13. The social context of creolization / Ed. by Woolford E., Washbaugh W. Ann Arbor, 1983.
14. Developmental mechanisms of language / Ed. by Bailey C.-J. N., Harris R. Oxford, 1985.
15. Contemporary studies in Romance linguistics. Washington, 1978. P. 356.
16. Molony C., Zobl H., Stoltung W. Deutsch im Kontakt mit anderen Sprachen. Kronberg, 1977.
17. Дьячков М. В. Пиджинизация и последующая креолизация как специфическая разновидность языковых контактов / Под ред. Дешериева Ю. Д. // Социолингвистические проблемы развивающихся стран. М., 1975. С. 50.
18. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. М.—Л., 1974. С. 36.
19. Черепанов С. И. Кяхтинское китайское наречие русского языка // ИОРЯС. 1853. Т. 2. Вып. 10.
20. Bollée A. Le créole français des Seychelles. Tubingen, 1977.
21. Broch I., Hakon E. Russenorsk. Et pidginsprak i Norge. Oslo, 1981.
22. Валтин Н. Б. Некоторые особенности русско-алеутского двуязычия на Командорских островах // ВЯ. 1985. № 5.

23. *Todd L.* Pidgins and Creoles. London — Boston, 1974. P. 5.
24. *Bickerton D.* Dynamics of a Creole system. Cambridge, 1975.
25. *Bickerton D.* The roots of language. Ann Arbor, 1981.
26. *Bickerton D.* The language bioprogram hypothesis // The behavioral and brain sciences. 1984. V. 7.
27. *Poussa P.* The evolution of early standard English: The creolization hypothesis // *Studia Anglica Posnaniensia*. 1982. XIV. P. 69—95.
28. *Tinelli H.* Creole phonology. The Hague—Paris — New York, 1981.
29. *Boietzky N.* Kreolsprachen, Substrate und Sprachwandel. Wiesbaden, 1983.
30. *Hall R. A.* Pidgin and Creole Languages. Ithaca—London, 1969. P. 17.
31. *Berry J. A.* Note on Krio tones // *African language studies*. 1970. XI. P. 60—62.
32. *Gilman Ch. A.* Comparison of Jamaican Creole and Cameroonian Pidgin English // *English Studies*. 1978. V. 59. № 1.
33. *Goodman M. F.* A comparative study of Creole French dialects. The Hague, 1964. P. 46.
34. *Hesseling D.* Het Afrikaans. Leiden, 1923.
35. *Whinnom K.* // The origin of the European-based Creoles and Pidgins // *Orbis*. 1965. 14.
36. *Дьячков М. В., Леонтьев А. А., Торсуева Е. И.* Язык ток-писин. М., 1981. С. 13.
37. *Алексеев М. П.* Русский язык в мировом культурном обиходе // *ВЯ*. 1984 № 2. С. 7.
38. Общее языковедение. Внутренняя структура языка. М., 1972. С. 290.
39. Теоретические основы классификации языков мира / Под ред. Ярцевой В. Н. М., 1980. С. 180.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ПЛУНГЯН В. А.

О РАБОТАХ ГРУППЫ ФОРМАЛЬНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
ПАРИЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА-VII

Предметом настоящего обзора будут некоторые теоретические и практические результаты, полученные одной небольшой и пока еще малоизвестной группой сотрудников Лаборатории формальной лингвистики (руководимой А. Кюльоли) при Парижском университете-VII. Наш анализ не претендует на полноту и касается в основном публикаций 1986—1987 годов. Мы считали бы цель настоящей работы достигнутой, если бы у читателя сформировалось хотя бы самое общее представление о характере работ Группы и возникло желание познакомиться с ними более детально.

Лингвистическая продукция Группы может быть условно разделена на две части: теоретическую и конкретно-языковую. Теоретическое направление (которому, без сомнения, принадлежит ведущая роль) включает, главным образом, работы, касающиеся способов представления смысла высказывания и соотношения языка и действительности. Конкретно-языковое направление в последние годы сосредоточено на анализе преимущественно двух классов языковых единиц — так называемых фразовых частей (главным образом, на материале русского языка [1, 2]) и глагольных показателей с аспектуальным и/или модальным значением (на материале типологически разнородных языков Азии, Африки и Европы [3])¹. Указанное разделение является условным потому, что любая работа, посвященная исследованию конкретного материала, является в той или иной степени теоретической (и это следует считать бесспорным достоинством данного направления); в то же время и чисто теоретические работы (каковыми являются, например, работы А. Кюльоли) опираются на конкретный языковой материал.

Обзор работ Группы было бы, вероятно, удобно и целесообразно начать с последовательного изложения ее теоретической концепции. К сожалению, сделать это не представляется возможным, поскольку та теория, о которой идет речь, пока еще не получила полного и детального раскрытия; отдельные, очень важные статьи (как, например [6—9]) не составляют тем не менее единого целого и, кроме того, именно в силу их более отвлеченного характера весьма непросты как для понимания, так и для пересказа. Можно было бы, с другой стороны, начать непосредственно с изложения практических результатов, однако и этот путь не вполне приемлем в силу отмечавшейся выше спаянности теоретического и практического при дан-

¹ Здесь не рассматривается цикл исследований Сетее раннего периода, связанный с описанием категории детерминации в разных языках [4, 5].

ном подходе, когда всякое конкретное наблюдение призвано «работать» на теорию и оценивается в первую очередь в зависимости от того, насколько удачно оно может проиллюстрировать то или иное положение.

Указанные трудности побуждают нас избрать компромиссный путь. Мы начнем с изложения тех теоретических положений, которые представляются нам принципиальными, но опираться при этом будем не столько на теоретические, сколько на дескриптивные работы. Тем самым, строго говоря, мы предлагаем читателю не столько простое изложение работ, сколько определенную реконструкцию стоящих за ними взглядов, возможно, прямо и не нашедших выражения. Если можно себе позволить такое сравнение, то данная операция с лингвистическими текстами больше всего напоминает работу с информантом — в обоих случаях исследователь по внешним данным реконструирует некоторую абстрактную модель, в обоих случаях субъективные свидетельства авторов текста на являются для него единственным источником.

Итак, основные теоретические усилия Группы направлены на формальное моделирование смысла высказываний на естественном языке. Оригинальным в рассматриваемой концепции является прежде всего представление о природе единиц семантического уровня: предполагается, что, апеллируя к семантике, исследователь должен иметь дело только с двумя элементарными сущностями — с в о й с т в а м и и о п е р а ц и я м и. При этом (поверхностные) лингвистические единицы — элементы текста — объявляются «следами операций» или, иначе говоря, з н а ч е н и е лингвистической единицы приравнивается к о п е р а ц и и того или иного рода.

Заметим, что тезис, согласно которому значениям языковых единиц определенного типа могут соответствовать операции, само по себе не нов; источником его, по-видимому, можно считать известную статью Р. Якобсона [10], где указанное свойство приписывается так называемым «шифтерам»; в дальнейшем это свойство часто приписывалось служебным словам в целом (ср. [11] и в особенности [12]) в отличие от «самостоятельных» слов. Однако в рассматриваемой здесь теории утверждение об операционной природе значения распространяется на все языковые единицы, хотя в действительности анализируются все же исключительно служебные слова (частицы и некот. др.) и грамматические показатели. Тем самым авторы теории могут вызвать упрек в некоторой односторонности подхода, обусловленной преобладанием определенного типа исследуемого материала. С другой стороны, распространение понятия операции на все классы значений открывает перед исследователем некоторые интересные возможности.

Элементарными единицами семантического уровня являются, с одной стороны, две операции (к в а л и ф и к а т и в н а я и к в а н т и т а т и в н а я) и, с другой стороны, характеристики ситуации, сводящиеся к у ч а с т н и к а м речевого акта (хотя понятие речевого акта в рассматриваемой теории отвергается) и т е м п о р а л ь н ы м к о о р д и н а т а м с и т у а ц и и (пространственные координаты считаются производными, т. е. могут быть получены в результате операции темпоральной локализации участников речевого акта). Остановимся на этих понятиях — центральных в теории — подробнее.

1) Два типа операций и понятие домена. Как отмечалось выше, исходные единицы семантического уровня (т. е. те, из которых строятся более сложные семантические сущности) относятся к свойствам²; единицы дру-

² Совокупность свойств, связанных определенными отношениями, образует некоторое структурированное множество, называемое сетью культурно-физических свойств (*propriétés physico-culturelles*) и относящееся к п о н я т и й н о м у у р о в н ю пред-

гого типа не вводятся. Как известно, подавляющее большинство других современных семантических теорий различает предикаты и термы, считая их одинаково элементарными сущностями. В рассматриваемой теории термы объявляются производной сущностью, получаемой с помощью к в а н т и т а т и в н о й о п е р а ц и и. Эта операция, собственно, и сводится к построению некоторого терма — носителя данного свойства или, иначе говоря, его квантитативной реализации, имеющей обязательную пространственно-временную локализацию. Однако, по мысли авторов теории, которая представляется мне чрезвычайно глубокой (несмотря на то — а может быть, и благодаря тому — что она плохо вписывается в рамки других известных мне подходов), между свойством и его квантитативной реализацией возникают сложные отношения, не сводимые к простому порождению «эталонного носителя» свойства по некоторому образцу. Действительно, реальные носители свойства, например, «быть собакой» (т. е. те реальные объекты, которые могут претендовать на то, чтобы их называли собаками) воплощают свою принадлежность к классу собак в весьма различной степени, причем этот факт хорошо осознается носителями языка и может быть предметом специальных оценок, ср.: *Собака как собака, Настоящая собака, Это не собака, а прямо-таки тигр, Что это за собака!* и мн. др. (ср. [13, с. 174]). Таким образом, возникает вопрос о с о о т в е т с т в и и построенного терма — квантитативной реализации свойства — самому свойству, так сказать, вопрос о качестве построения. Это качественное определение и осуществляется с помощью второй из элементарных операций — кваликативной. В результате кваликативной операции терм оказывается определенным образом локализованным в пространстве всех других термов, являющихся носителями данного свойства: он может быть признан обладающим данным свойством в полной мере, обладающим им частично или (в предельном случае) вовсе не обладающим им. Класс термов, «подозреваемых» на наличие определенного свойства, образует особый объект, называемый д о м е н о м. Домен является структурированным объектом: в нем различается прежде всего внутренняя зона (термы, обладающие свойством в полной мере — «настоящие X-ы»), пограничная зона (термы, обладающие свойством не в полной мере — «не совсем X-ы») и внешняя зона (термы, не обладающие свойством — «не X-ы»). Таким образом, понятие домена весьма сложно соотносится с более традиционным понятием лексемы, моделируя более широкий и более подвижный класс объектов, чем тот, который соответствует лексеме (в частности, домен включает и такие объекты, к которым, строго говоря, не может быть применима номинация с помощью данной лексемы).

Вскрытие механизмов противоречивой языковой игры — движение от свойства к носителю (квантификация) и от носителя к свойству (квалификация) — представляется мне одной из самых сильных сторон обсуждаемой теории. По-видимому, понятие домена может заполнить весьма существенную лауну в теории номинации и облегчить формулировку многих положений³.

ставления текста (plan notionnel); кроме него, различаются еще по крайней мере два уровня — синтаксический и уровень актуального членения (plan énonciatif).

³ Представляет интерес, в частности, попытка семантической классификации предикатов (Д. Пайар), осуществляемая с помощью того же понятийного аппарата и приводящая к результатам, отчасти сходным с полученными другими способами (обзор этих последних см., например, в [14]). Здесь, однако, мы эту классификацию рассматривать не будем, т. к. она пока еще находится в стадии разработки.

2) Координаты ситуации и понятие локализации. Другую важную область теории, разрабатываемой Группой, составляет совокупность представлений о референциальных механизмах языка. И в этой области предлагается пересмотреть многие положения, считавшиеся общепринятыми.

Для каждого термина существует система координат, локализующих его в некотором абстрактном пространстве: это, как уже отмечалось, говорящий и слушающий, а также темпоральная координата; совокупность координат образует так называемую «ситуацию»⁴.

Наиболее важным в этом комплексе является понятие (абстрактной) л о к а л и з а ц и и (герégage). Локализация — универсальная операция, обеспечивающая референцию термина. Элементы, с помощью которых объект соотносится с действительностью («локализуется»), называются л о к а л и з а т о р а м и (герége, букв. «отметка, ориентир»). Определение локализатора (Y есть локализатор X-а) как «элемента Y, указывающего на такой контекст/ситуацию, которые могут обеспечить идентификацию X-а» [15] или «источника определенности для X-а» [9, с. 29] дает лишь самое общее представление об этом понятии и не вполне раскрывает его сущность. Анализируя особенности употребления этого термина, убеждаешься в его поистине универсальном характере. Действительно, локализаторами оказываются не только говорящий и слушающий, не только фрагменты текста, обеспечивающие пространственно-временную фиксацию ситуации, но и, например, слово *стакан* для слова *вода* в сочетании *стакан воды* (стакан «локализует» воду, саму по себе не имеющую пространственных границ). По замыслу авторов, операция локализации является наиболее элементарной, базовой операцией, к которой могут быть сведены многие другие, более сложные операции, обеспечивающие построение и понимание текста: в частности, топикализация, анафора, дейксис, эмфаза и др. [16].

В подобном подходе, может быть, особенно отчетливо проявляется присущее рассматриваемой теории стремление к универсализации концептуального аппарата, к объяснению всего многообразия наблюдаемых данных с помощью нескольких базовых понятий. Однако, с моей точки зрения, понятие абстрактной локализации демонстрирует не столько позитивные, сколько негативные стороны данного подхода. Оставаясь на уровне непосредственного наблюдения, трудно без некоторого насилия принять объединение всех названных здесь (и многих других) сущностей в рамках единого понятия. Может быть, у всех этих сущностей действительно есть нечто общее. Однако трудно избавиться от ощущения, что поиски общего в этом случае ведутся по законам какой-то иной логики, какого-то иного, недоступного способа мыслить и, ergo, способа обобщать. Как бы то ни было, авторы теории, по-видимому, вполне свободно себя чувствуют в мире нечетких, подвижных понятий и всеобъемлющих аналогий. С этой склонностью к дерзкому обобщению наперекор всем возможным препятствиям нам еще предстоит встретиться ниже, при рассмотрении концепции инвариантного значения.

Завершая эту — по необходимости, очень беглую — характеристику понятий, связанных с ситуацией, нельзя не упомянуть и своеобразную теорию «чужого» (фран. *altérité*). Согласно этой теории (подробно обсужда-

⁴ Тем самым термин «ситуация» используется не вполне стандартно — по крайней мере, для русской традиции, где он обозначает, как правило, не абстрактную «систему координат», а денотат предикатного выражения (ср., например, [14]; для этого последнего значения в работах Группы употребляется термин «процесс»).

емой в [9]), в системе локализаторов важнейшую роль играет оппозиция «свой» — «чужой» (*même — autre*), реализующаяся в двух аспектах: «говорящий» — «неговорящий» и «истинное» — «ложное» («не-говорящий» и «ложное» относятся к «чужому»). При этом авторы, опираясь на теорию шифтеров Р. Якобсона и концепцию лингвистического субъективизма Э. Бенвениста [17], приходят к принципиально отличному заключению о том, что именно «чужое» в некоторых своих свойствах следует считать первичным, исходным понятием, тогда как «свое» всегда можно представить как результат какой-либо операции, применяемой к этим свойствам (например, операции «гомогенизации»). Не анализируя подробно теорию «чужого» (мы, вероятно, еще станем свидетелями ее дальнейших модификаций), хотелось бы отметить существование в современной лингвистике точки зрения, радикально противоречащей известной концепции «эгоцентричности» языка.

Таков, вкратце, основной теоретический аппарат, используемый в работах Группы формальной лингвистики. С помощью этого, достаточно ограниченного набора сущностей исследователи с поразительной виртуозностью ухитряются описывать значения самых разнообразных языковых элементов — от русских частиц *же, ведь, то* и др. (работы Д. Пайара, Кр. Бонно и др.) до глагольных показателей китайского и хауса [3]. При этом в основу семантического описания языковых единиц кладется один общий принцип, который можно было бы назвать принципом взаимно-однозначного соответствия формы и значения. Считается, что некоторому показателю всегда можно приписать некоторое е д и н о е (и н в а р и а н т н о е) з н а ч е н и е, которое является общим для всех контекстов его употребления. Такое единое значение (представляющее собой, напомним, операцию) имеет по необходимости абстрактный характер: действительно, может ли быть не абстрактным, например, инвариант для единицы *mai*, которая в кантонском диалекте китайского языка имеет значения: 1) глагол «заваривать; хоронить»; 2) локализатор, выражающий тесную близость, контакт; 3) глагольный суффикс со значением а) сопутствующего обстоятельства и б) завершения действия [18]?

Таким образом, задача описания лингвистической единицы считается выполненной, если: 1) выявлены основные контексты ее употребления и установлено ее конкретное значение в каждом из контекстов⁵; 2) установлено инвариантное значение единицы, охватывающее все контексты, и 3) это значение сформулировано в терминах операции над некоторыми свойствами. Так, например, значение упомянутой выше единицы *mai* определяется как «операция ограничения, выполняемая над классом определенных термов, заполняющих одну из валентностей предикатного отношения: если имеются два локализатора, R_i и R_j , то по отношению к R_i класс воспринимается состоящим из двух качественно различных подклассов, а по отношению к R_j класс воспринимается как единое целое» [18, с. 21]. Я специально

⁵ Эту стадию можно назвать дескриптивной в отличие от последующей стадии интерпретации. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению интерпретации, необходимо сказать несколько слов собственно об описании. Многие работы членов Группы поражают высокой культурой отбора материала, тонким анализом отдельных примеров, безупречным знанием языка. Достаточно сказать, что, например, в работах Д. Пайара и Кр. Бонно, посвященных такой труднейшей теме, как русские частицы, нет ни одной фактической ошибки или даже неточности, тончайшие смысловые противопоставления (с трудом доступные и посетителю языка) анализируются точно и уверенно. То же в сущности можно сказать и о статьях других членов Группы: их эмпирическая часть если и не всегда полна, то почти всегда безупречна. Что касается интерпретационной части, то здесь, естественно, возникают более сложные проблемы.

привожу такую длинную цитату, чтобы читатель мог получить представление о том, как выглядят подобные «единые значения». С другой стороны, значение русской частицы *же* во многих (практически во всех) ее употреблениях описывается Д. Пайаром как «операция невыхода из домена», отражающая «невозможность построить терм *y*, качественно отличный от первоначального термина *x*» [13, с. 223]. Напротив, показатель результата в африканском языке волоф (-*na*) описывается в статье С. Робар как выражающий «операцию преодоления границы домена», сопровождающуюся «переходом из внутренней зоны во внешнюю» [19].

Если сопоставить этот способ описания служебных слов с другими (в первую очередь мы имеем в виду подход Московской семантической школы, имеющий уже достаточно длительную традицию [20, 21]), то бросаются в глаза следующие его особенности (помимо, разумеется, использования понятия операции и соответствующего аппарата): 1) отказ от признания многозначности служебных слов; 2) отказ от фиксированного семантического представления с определенным метаязыком, структурированным толкованием и т. п. и в связи с этим 3) отказ от подробного описания контекстных ограничений на употребление служебных слов.

Что можно сказать по поводу этих характеристик? Установление инварианта «любой ценой» [ср. (1)] может показаться спорным и открывающим путь к значительному исследовательскому субъективизму, но все же не лишенный определенного смысла; жертва строгости [ср. (2)] может быть частично оправдана содержательными приобретениями, невозможными в рамках более ортодоксальных подходов. Однако невнимание к контексту употребления служебных слов [ср. (3)] представляется более серьезным недостатком. Дело в том, что именно для служебных слов описание сочетаемостных ограничений часто оказывается не менее, а может быть, и более важным, чем описание собственно «значения» (в каких бы терминах его при этом ни представлять). Именно в этом пункте «проигрыш в точности» (вообще говоря, неизбежный для всякого вновь утверждающего себя содержательного подхода) ощущается особенно болезненно, так как отсутствие информации о свойствах контекста при одновременном нетерминологичном, «метафорическом» характере самого описания значений делает практически невозможным построение правил употребления соответствующих служебных слов на основе данного метода. Семантическая теория Группы «работает на анализ» несравненно более эффективно, чем на синтез, т. к. несмотря на присутствие слова «формальный» в названии Группы, формализация языка описания в том смысле, как она понимается, например, в традиции Московской семантической школы, здесь практически не представлена. Тому, по-видимому, есть свое объяснение. В подходе к наблюдаемым фактам, как известно, в лингвистике не раз сталкивались противоположные тенденции. В одних случаях преобладало стремление к комплексному охвату явлений, к широким обобщениям, подчиненным поискам универсальных механизмов функционирования языка. В других случаях предпочтение отдавалось строгому анализу отдельных фактов, атомизации языкового материала, особое внимание обращалось на метаязык.

Как правило, направления первого рода возникают в начале существования какой-либо научной теории, когда у ее сторонников преобладает, так сказать, «поэтический» взгляд на вещи, при котором главной ценностью является ощущение единства мира, поиски общего в различном. По мере развития такого направления в нем, как правило, появляется больше элементов «научного» взгляда, при котором эмпирическая точность

анализа, расчленение и классификация начинают цениться больше всеохватывающих обобщений. Может быть, для семантической теории, являющейся предметом настоящего обзора, было бы полезно некоторое продвижение по этому пути. Во всяком случае, бесспорно, что рассматриваемая теория, находясь еще в начальной стадии развития, выдвинула ряд положений и результатов, заслуживающих самого пристального внимания лингвистического сообщества.

ЛИТЕРАТУРА

1. Les particules énonciatives en russe contemporain. P., 1986.
2. Les particules énonciatives en russe contemporain. V. 2. P., 1987.
3. Aspects, modalité. Problèmes de catégorisation grammaticale. P., 1986.
4. Opérations de détermination. Théorie et description. V. 1, 2. P., 1980, 1983.
5. Paillard D. Énonciation et détermination en russe contemporain. P., 1984.
6. Culioli A. Valeurs modales et opérations énonciatives // Le français moderne. 1978. V. 46.
7. Culioli A. Le concept de notion // Bulletin de linguistique générale et appliquée. 1981. № 8.
8. Culioli A. Formes schématiques et domaine // Bulletin de linguistique générale et appliquée. 1986—1987. № 13.
9. Paillard D., De Vogüé S. Modes de présence de l'autre // Les particules énonciatives en russe contemporain. V. 2. P., 1987.
10. Яковсон Р. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы гипологического анализа языков различного строя. М., 1972.
11. Гладкий А. В., Дрейзин Ф. А. К семантике русского отрицания // Wiener slavistischer Almanach. 1983. Bd. XI.
12. Крейдлин Г. Е., Поливанова А. К. О лексикографическом описании служебных слов русского языка // ВЯ. 1987. № 1.
13. Paillard D. *Že* ou la sortie impossible // Les particules énonciatives en russe contemporain. V. 2. P., 1987.
14. Падучева Е. В. Высказывание и его соотносительность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений). М., 1985.
15. Formalisation des relations prédicatives. P., 1987. P. 99.
16. Culioli A. Rôle des représentations métalinguistiques en syntaxe. P., 1982. P. 4—5.
17. Бенвенист Э. О субъективности в языке // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
18. Tse K.-K. Le suffixe verbal *mai* en cantonais // Aspects, modalité: Problèmes de catégorisation grammaticale. P., 1986.
19. Robert S. État résultant: aspects et modalité dans le paradigme dit «énonciatif» en wolof // Aspects, modalité: Problèmes de catégorisation grammaticale. P., 1986.
20. Крейдлин Г. Е. Служебные слова в русском языке: семантические и синтаксические аспекты: Дис. ... канд. филол. наук. М., 1979.
21. Богуславский И. М. Исследования по синтаксической семантике: Сферы действия логических слов. М., 1985.

РЕЦЕНЗИИ

Lehmann W. P. A Gothic etymological dictionary. Based on the third edition of Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache by Sigmund Feist. Leiden: E. F. Brill, 1986. 712 p.

Издательство Э. Брилль в Лейдене выпустило фундаментальный этимологический словарь готского языка В. П. Лемана. Словарь этот, как отмечается в подзаголовке, в сущности представляет собой переработку (resp. четвертое издание) известного этимологического словаря готского языка З. Файста, который уже давно стал библиографической редкостью. Как известно, словарь З. Файста являлся основной работой его жизни (докторская диссертация З. Файста, защищенная им в возрасте 23 лет, была озаглавлена «Grundriß der gotischen Etymologie», а третье издание словаря вышло в 1939 г., когда автору было 74 года — за четыре года до его смерти). Словарь З. Файста известен исключительной тщательностью исполнения, полнотой охвата и критическим осмыслением огромного фактического материала и специальной литературы. В своей заметке, приложенной к рецензируемому словарю, дочь З. Файста — Э. Файст-Хирш — указывает, что ее отец завещал переиздавать составленный им этимологический словарь каждые 15 лет. К сожалению, четвертое издание словаря З. Файста опубликовано лишь через 47 лет после третьего.

При пересмотре третьего издания словаря З. Файста весь корпус фактического материала был обработан с помощью ЭВМ. При этом сохранено основное строение словарных статей. В первом параграфе словарной статьи приводится материал готского языка. В частности, указывается на аффиксальные и суффиксальные производные соответствующего готского слова, дается греческое слово или словосочетание, которым соответствуют рассматриваемые готские слова, а также приводится несколько мест готской библии, где встречается данное слово. (Как справедливо указывает В. П. Леман, в настоящее время нахождение в готском тексте той или иной формы в значительной мере облегчается в связи с выпуском в издательстве Э. Брилль интересной и полезной книги Ф. де Толленаре и Р. Т. Джоунза [1]. По этому словарю можно не только легко найти

любую готскую форму в тексте библии, но также и эмендированные формы. В книге Толленаре содержится обратный словарь готского языка, а также анализируется частотность готских слов и их относительная длина.) Во втором параграфе словарной статьи даются соответствия рассматриваемому слову в родственных германских языках (рунические формы, древнесеверный, древнеанглийский, древнефризский, древнефранкский, древнесаксонский, древневерхне-немецкий). В третьем параграфе словарной статьи даются негерманские (в частности, индоевропейские) соответствия готского слова, которые обычно начинаются с реконструируемого и.-е. корня (по словарю Ю. Покорного, но с несколько иной нотацией, в частности, учитывающей ларингалы). В четвертом параграфе словарной статьи разбираются спорные слова, требующие филологического анализа. В конце каждой словарной статьи кратко указывается соответствующая литература вопроса, введенная вплоть до последнего времени.

К словарю В. П. Лемана приложен исчерпывающий и очень полезный список специальной литературы по готской и индоевропейской этимологии за последние 45 лет (учитываются и более ранние работы). Список составлен Х.-Джо Дж. Хьюитт с сотрудниками. К сожалению, из соображений объема в словаре В. П. Лемана опущено обсуждение представленных в специальной литературе различных этимологий готских слов, которое в словаре З. Файста дается в этом при каждой словарной статье. Правда, литература, приводимая З. Файстом, в этой части словаря хронологически, естественно, не выходит за пределы 1939 г., причем З. Файст обычно отрицательно относится к этимологическим решениям, содержащимся в этом разделе словаря. Однако, как показывают исследования самого последнего времени, многие этимологии, отвергнутые З. Файстом, при ближайшем рассмотрении оказываются наиболее приемлемыми из всех существующих. Так, З. Файст не был

согласен с предложенной Х. Педерсеном в начале века связью гот. *qibus* «живот» и кельт. *bitu* «мир, вселенная» (собственно «жизнь» < **g^u-eia-* «жить»). Том не менее В. Майд в специальной статье, опубликованной в 1985 г., убедительно показал оправданность такой этимологии [2]. В своем словаре В. П. Леман приводит эту этимологию В. Майда (с. 278).

Успехи в этимологических штудиях связаны главным образом с исследованиями в области материальной культуры носителей и.-е. языков и археологии [ср. 3, 4]. Так, готское слово *ga-leiþan* «идти» в словаре З. Файста (и соответственно В. П. Лемана) но имеет надежной этимологии («keine sichere Etymologie»). При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что изучаемое слово входит в обширное этимологическое гнездо, состоящее из слов, которые обозначают отдельные элементы первобытного культа. В частности, гот. *galeiþan* соотносится с русск. *летать* («быстро двигаться при совершении сакрального действия»), а это последнее значение соотносится с значением «огонь, гореть, греться» [ср. блр. *слейць* «согреть», нем. *lodern* «пылать», англ. диал. *flat* «горячий уголь» (с преформантом), русск. *лед*]. Вместе с тем к тому же корню относятся: русск. *след*, *наследник* и англ. диал. *led* «лишний, запасной», *lad* «парень» (типологически ср. нем. *Erbe* «наследство» и русск. *ребенок*); англ. *lath* «щопка, обрубок дерева» и гот. *laþon* «приглашать» (типологически ср. лат. *vitis* «побег растения, ветка», но *in-vitare* «приглашать»), а также др.-англ. *læd* «участок земли» (типологически ср. русск. *ветка*, но лтш. *vietà* «место», букв. «пространство, огороженное ветками»). Далее с рассматриваемым корнем соотносятся: др.-англ. *lêod* «Lied, Gesang» (сакральное пение, возгласы). Последнее значение связано с др.-англ. *lidian* «резать». Ср. также англ. *load* «груз» (типологически ср. греч. *βαρὸς* «тяжелый», но и и.-е. **ker-* «резать»), а также англ. *loathe* «ненавидеть» (типологически ср.: русск. *грязь* — *грязь* — *грязь*, серб.-хорв. *грести* «идти»; осет. *sigun* «быстро двигаться; гнать», но русск. *сop*). К изучаемому корню относятся и др.-англ. *lîð* «Apfelwein» (ритуальное возлияние: значение «жидкость» непосредственно соотносится со значением «резать, мозжить, превращать в жидкую массу»). Наконец, следует учесть др.-англ. *lêod* «Volk» (типологически ср.: греч. *δῆμος* «народ», но арм. *tam-uk* «мокрый»). Ср. также русск. *кладу* и англ. *lead* «свинец» (в древности металл для закаливания кледи в землю). К тому же корню относится др.-русск. *уклад* «сталь». Типологически ср. осет. *ændon*

«сталь», но и.-е. **dhē-* «класть»; серб.-хорв. *nado* «сталь», но и.-е. **dhē-* «класть». К рассматриваемому корню относятся также: лат. *letum* «смерть» (в древности считалось, что души мертвых переправляются в потусторонний мир по воде) [5—7].

Значительные успехи достигнуты сейчас в изучении таких языков, как анатолийский, микенский греческий, иллирийский. С большой степенью вероятности выяснена первоначальная родина индоевропейцев (район Каспийского моря, а не Центральная Европа), что дает возможность более здраво судить о дальнейших этнических контактах и взаимовлиянии языков. Разработка ларингальной и глоттальной теорий (они используются В. П. Леманом) внесла ряд поправок в чисто фонетическую сторону индоевропейской реконструкции, что естественно не могло быть учтено З. Файстом. Значительный прогресс наблюдается в последнее время и в систематизации библиографии по готскому языку [8]. Очень важны также издаваемые ныне Жюкуа и Девламинком дополнения к словарям готского языка (в основном к словарям З. Файста и Ф. Хольхаузена) [9]. Были усовершенствованы методы этимологического последования (ср. работы Я. Малькиеля, О. Н. Трубачева, В. Н. Топорова и др.). Наконец, следует отметить, что в последнее время созданы серьезные этимологические словари практически для всех ветвей и.-е. языков.

Отдельные словарные статьи в рецензируемом словаре В. П. Лемана дают полное представление о линиях исследований соответствующего слова в специальной литературе вплоть до 1985 г.: приводятся различные точки зрения, расценены по отдельным лингвистическим изданиям и журналам, причем указания на ту или иную этимологическую концепцию нередко сопровождаются краткими критическими замечаниями В. П. Лемана. В большом количестве словарных статей, однако, сохраняются этимологические связи, установленные еще З. Файстом. Собственных этимологических решений В. П. Лемана в словаре, как правило, не содержится. Нет в словаре и разработки семасиологических переходов, как это отражено, например, в двухтомной работе П. Перссона, в словарях Цейтмайера, Бака, Шрёффера [10—14]. И хотя в предисловии к словарю В. П. Лемана указывается на важность данных материальной культуры и, в частности, археологии для этимологии, их практическое использование автором трудно найти в его словаре.

Словарь З. Файста в свое время был единодушно признан рецензентами образцовым. Образцовым следует признать и

словарь В. Лемана. Это не исключает, однако, определенных критических замечаний, которые, разумеется, ни в какой мере не снижают исключительно высокой оценки этого словаря. Речь идет прежде всего о том, что в словаре Лемана рассматриваются в основном этимологические решения, нашедшие отражение в специальной литературе, но не делается попыток найти более адекватные альтернативные решения. В этой связи следует отметить, что в словарь В. Лемана, к сожалению, не включен свежий материал, который можно было бы найти в многочисленных изданных в последнее время словарях и исследованиях [15—16]. Наконец, в словаре Лемана никак не учитываются такие явления, как подвижные формативы (не только *s-mobile*, но и другие формативы), мена гласных и согласных в слове в различных позициях. Отметим, что в ряде случаев слова с «ясной» этимологией (пометы: «keine Etymologie», «Etymologie dunkel» у Файста, «etymology uncertain» — у Лемана), которых очень много в рецензируемом словаре (как и в словаре Файста), допускают совершенно однозначную интерпретацию. Гот. *straua* «Leichenschmaus» (?), встречаемое у Иордана (124, 20), сопоставляется как у Файста, так и у Лемана с гот. *straujan* «ausbreiten». Следует, однако, учесть и.е. **treu-* «gedeihen» [ср. др.-в.-нем. *triuuit* «excellent, pollet, floret», *trouwen* (<**þraujan*) «pubescere, crescere», др.-в.-нем. *ufgedrouwen* «aufgewachsen, erwachsen», др.-сев. *þrōask* «zunehmen, gediehen», нем. диал. *drūhen, truhen, truehen* «gedeihen, zunehmen», др.-сев. *þroski* «Stärke»].

Этимологически «темное» гот. *aīþei* «мать» З. Файст считает заимствованием из клирийского в отличие от Хермана, который сопоставляет это слово с авест. *aeta-* «gebührender Teil» и переводит «Erbtochtermann» (многие исследователи сопоставляют с этим словом др.-англ. *adum* «Eidam, Schwiegersohn», которое возводится обычно к гот. *aīþs* «Eid»). Все эти сближения не представляются нам убедительными. Можно полагать, что рассматриваемое слово состоит из двух частей, первая из которых соотносится с и.е. **aid-* «brennen» > «nähren» (типологически ср. др.-англ. *ælan* «brennen», но лат. *alere* «nähren») > «gebären» (типологически ср. англ. *to feed* «кормить», но швед. *fōda* «рожать»). Возможно, сюда же следует отнести и арм. *haj* «человек» (в ностратическом плане ср. семитский корень **haja* «жить; жизнь») ¹. Вторая часть рассматриваемого слова от-

носится к известному и.е. корню **dhē(t)* «Mutterbrust», «säugend», «trächtig», «Milch» (Pokorny, с. 241—242). С другой стороны, возможно, следует учесть др.-англ. *ides* «Jungfrau, Weib, Frau» или ср.-н.-нем. *ader* (pl.) «Eingeweide», греч. *ἄτρον* «Bauch».

Гот. *kiusan* «grüßen» у Файста и у Лемана возводится к и.е. **geus* «genießen, kosten». Следует, однако, также учесть осет. *kusyn* «работать, трудиться» [т.е. готское слово буквально значит «проверить в действии (об оружии)»] (<**kes-* «резать»).

Как у З. Файста, и у В. Лемана не получает удовлетворительного объяснения гот. *unskaus* «sober», которое различными исследователями сопоставляется с др.-англ. *scēawian*, др.-в.-нем. *scowion* «видеть, понимать» (неясно, каким образом значение «непонимающий» могло перейти в значение «резвый»). Можно, однако, допустить связь с и.е. **keu-* «biegen» (ср. типологически англ. сленг *bent* «drunk») > и.е. **keu-* «trocken» (типологически англ. сленг *dry* «sober»), **keu-* «brennen» > «kalt» (типологически англ. сленг *cold* «sober»). Частица *un-* в этом слове могла не выражать отрицания, а играть усилительную роль (типологически ср. русск. *что, но нечто что-то, какая-то вещь*).

Гот. *driusan* «падать» ни в словаре Файста, ни в словаре Лемана не получает удовлетворительной этимологии. С этим словом можно сопоставить целое гнездо слов в и.е. языках. Значение «падать» может соотноситься со значением «резать, гнуть»: ср. литов. *drožti* «резать», ср. греч. *θράσσεια* «обломок»; типологически ср. др.-инд. *phallāti* «лопаться, разрываться пополам», но англ. *to fall* «падать»; лат. *tundere* «бить, колотить», гот. *stautan* тж., но ири. *du-tuit* «падает». Ср. с *driusan* англ. диал. *ross* «узел» (<«гнуть»). В этой связи интересно принять во внимание: исл. *drasinn* «faul» (ср. типологически др.-англ. *lipian* «schneiden», но литов. *letas* «indolent, slow», ср. лат. *lentus*; нем. *schlagen*, но др.-англ. *slaec* «schlaff, matt», англ. *slow*; и.е. **kes-* «schneiden», но серб.-хорв. *kusan* «late»; русск. *cmpyry*, но гот. *trigo* «reluctance», др.-в.-нем. *tragi* «slow, lazy»), *drosla* «langsam und schleppend gehen»; *drasill*, *drasull* «träges Pferd», а также «Bürde», *dros* «ruhige Frau» (из значения «быстро двигаться»: типологически ср. осет. *suryn* «sich schnell bewegen», но и.е. **sor-* «Frau»); др.-англ. *drusan* «langsam werden»; н.-нем. *drusein* «im Halbschlaf liegen», англ. *drowse*; швед. *rusa* «davon-eilen», норв. диал. *ruse* «Junge werfen», норв. *rusull* «nachlässig». Ср. также: норв. диал. *traesa* «rastlos hinundhergehen», швед. диал. *trasa* «schwer arbeiten», норв. диал. *trosa* «zerbrechen», исл. *trassa* «versäunen,

¹ Ср., с другой стороны, лув. *aja-* «machen» (возможно, из значения «гнуть») [17].

vernachlässigen». К тому же корню, видимо, относятся и русск. *трезвый* (типологически ср. англ. диал. *to noch* «to fire, to exhaust», по нем. *nüchtern* «трезвый»). Отметим, что значение «резать» может переходить в значение «правда, истина», «правдивый» (типологически ср. русск. *тесать*, по лтш. *līsa* «правда»; и.-е. **uet-* «aufreißen», по лат. *verus*), в связи с чем необходимо принять во внимание русск. *резать*, по русск. диал. *ресной* «истинный», *реснома* «правда», словен. *rês* «истина». Ср. еще следующие слова, относящиеся к рассматриваемому корню: исл. *hress* «bei voller Kraft oder Gesundheit», англ. диал. *to dross* «to overreach in a bargain, to win all a playmate's marbles», *to be drossed up* «to be broken», *drousson* «a portlage made from bran and dregs of ale». Ср. исл. *þros* «Pfeil», др.-англ. *hris* «Zweig». др.-в.-нем. *risan* «fallen», англ. *to rise* «подниматься», др.-англ. *rysel* «Felt; Harz», нем. *Druse* «руды» *Drüse* «железая»; др.-англ. *hruse* «Erde, Grund».

В словарях Файста и Лемана гот. *hugjan* «думать» не находит удовлетворительного объяснения. Между тем это слово соотносится непосредственно с др.-сев. *høggva* «schneiden»² (типологически ср. лат. *putare* «schneiden», по *putāre* «denken»).

Готское слово *boka* «книга» первоначально имело культовый характер: по своему корню это слово непосредственно соотносится с русск. *бок* (букв. «нечто изогнутое, ребра»). Значение же «гнуть» могло переходить в значение «чудо, загадка, нечто непонятное» (типологически ср. англ. *side* «бок», по др.-сев. *seid* «колдовство»). Ср. еще: англ. диал. *boke* «to bend»; «to offer». Сюда же относятся и (с метатонией, возможно, обусловленной табу) ст.-слав. *кобъ* «гадание, предсказание, колдовство», болг. *коб* «дурное предчувствие»; русск. диал. *кобиться* «вести себя беспокойно» (при совершении культового акта), арм. *сurr* «волнение», литов. *kabėti* «висеть» (жертвенное животное подвешивалось на дереве). Ср. также ср.-в.-пом. *boken* «Zeichen, Zauberzeichen». Подобным же образом др.-инд. *pustak* «книга» связано с нем. *Faust* «сжатые пальцы», и.-е. **pustos* «выгнутый» [ср. с этим последним русск. *пустой* (выгнутый спаружи и пустой внутри); типологически ср. **emizo* «взятые» (сжимание пальцев) и англ. *empty* «пустой»]. Ср.: и.-е. **bhok-* «flammen, brennen», по нем. *Bock* «козел» (жертвенное животное), ср. франц. арг. *bucher* «travailer»; литов. *būkis* «сеть», «плетенка» (следует иметь

в виду, что значение «огонь», как и значение «вода», соотносится со значением «гнуть»). Ср. еще: англ. диал. *to butcher* «to slaughter»; англ. *spook*, нем. *Spuk* «привидение»; англ. диал. *buck* «a smart blow on the head»; англ. сленг. *buck* «шарень» (ср. типологически нем. *Knecht*, др.-англ. *sniht*, по русск. *книга*); осет. *bīs*, *bōs* «нежный, лелеемый, дорогой»; бѣз «благодарность»; инд.-арийск. (по Тёрнеру) **bhokka-* «to pierce, to stab»; **bukka-* «a handful», «hand with fingers extended to hold grain», «to eat by throwing handfuls into the mouth»; арм. *bufc* «food». Типологически ср. лат. *codex* «книга», по греч. *κόδος* «чудо» (ср. русск. *кудесник*), русск. диал. *куд* «злой дух»; *кодло* «род, племя», *кодла* «толстая веревка, канат», русск. *скудный*, англ. *cod* «стручок», англ. диал. *cod* «подушка»; исл. *kodda* «vernichten, töten»; норв. диал. *koda* «kleine Arbeit tun»; *кодна* «abmagern»; *kaudi* «verächtlicher Mensch»; *кодри* «Hodensack»; инд.-арийск. **khed-* «play, sport, dance»; «drive, pursue»; *khudati* «coire»; **khutta-* «peg, post»; лат. *caudex* «хвост, отросток» (ср. языческое почитание столбов), арм. *kut* «wealth». Ср. еще лтш. *kodīt* «кусать», *kuđit* «награвливать на к.-л., подстрекать»; англ. диал. *cod* «the middle-part of the blade of a reaping or hedging hook or sickle»; *cod* «impose upon, lie; hoax»; *cod* «a man who has charge of a set of men at any particular job, but who is himself under a foreman»; *cod* «a stick, a cud» «pretty, good-looking»; др.-инд. *kuđāmi* «play, dally»; англ. диал. *scud* «to rain slightly; to drink in copious draughts; to spill, to shed»; англ. *to skid* «to stop»; русск. *кудаты*; англ. диал. *kid* «a bundle of sticks for firewood», «a rod, a husk».

Гот. *mimz* «мясо» соотносится с корнем **men-* «zusammendrücken». Семасиологическое развитие: «резать, гнуть» > «сила» > «мускулы, плоть». Интересно, что слова со значением «мясо» («пища») могут соотноситься со значением «место, оставаться на месте» (ср. **men-* «bleiben»: имеется в виду стойбище рода как место добывания пищи). Типологически ср. **kukis* «flesh, muscle» (ср. **kukzō* «to bend»), по лат. *cunctare* «to delay»; ср. **keku-* «шест, палка» (место, обнесенное ветками, жилище): типологически ср. лтш. *vieta* «место», по русск. *ветка, ветка*); лат. *magmentum* «Opferfleisch», нем. *Magen* «Bauch», по др.-ирл. *mag* «place»; др. англ. *rysel* «fat, flesh», по лат. *rus* «местность, место»; англ. *cot* «дом» (ср. нем. диал. *Chutt* «толпа, род»), по швед. *kött* «мясо»; ср.-ирл. *fal* «Zaun», кимр. *gwawl* «murus, vallum», др.-ирл. *fillid* «biegt», брет. *goalenn* «virga, biegsame Rute», по ирл. *feoil* «Fleisch» (ср. др.-сев. *vilja* «Eingeweide»). С другой стороны,

² Интересно готское слово *hugs* «Landgut» (букв. «вырубленное место»). Ср. типологически [14, с. 97—98].

Слова со значением «мясо» могли соотноситься со словами, имевшими значение «быстро двигаться, преследовать (зверя), догонять»: ср. лат. *carō* «мясо», но др.-англ. *cierran* «быстро двигаться»; и.-е. **kel-* «быстро двигаться, гнать», но др.-сев. *hold* «мясо»; русск. *плоть*, но гот. *ga-leiþan* «двигаться»: др.-англ. *lira* «мясо, плоть», но *liran* «идти, двигаться». Относительно знантиосемия «быстро двигаться — остановиться» ср.: англ. диал. *to hint* «идти», но англ. *to hinder*; гот. *ga-leiþan* «идти», но англ. диал. *to let* «остановить»; и.-е. **kel-* «быстро двигаться» — «остановиться».

Большие трудности в словарях Файста и Лемана связаны с этимологией гот. *swein* «свинья». Слово это, безусловно, соотносится с и.-е. **uen-* «lieben, befriedigt sein, sich nähren, erstreben»; ср. брет. *guenn* «Rasse», др.-ирл. *fine* «Stamm, Familie», тох. А *wafi*, В *wina* «gefallen», гот. *winja* «Weide, Futter», хет. *uen-* «futüere», ср. исл. *sveinn*, англ. *swain* «Knabe, Jüngling» (типологически ср. серб.-хорв. *krme* «свинья», но русск. *корм*); ср. англ. диал. *sween* «a dish made by steeping the husks of oatmeal in water»³.

С другой стороны, указанные значения связаны с **uen-* «schlagen, töten» (о жертвенном животном или в значении «кастрированный»). Ср. англ. диал. *to swin* «to cut aslant»; кимрк. *gweint* «durchbohrte» (ср. также: др.-англ. *wenn* «Geschwulst» > «Haufe» > «Scheiterhaufe»). Подобным же образом англ. *hog* «боров» соотносится с др.-сев. *högga* «schneiden». лат. *porcus* «свинья» — с и.-е. **prǵǵō* «touch, hit», **perk-* «split, breach»; **porǵ-* «strike, touch; kill» (ср. **porǵ-* «surrounding edge»; **porǵos* «fishing-net»). Ср., с другой стороны, ср.-в. нем. *hoger* «холм» (типологически ср. др.-англ. *beorg* «swine», но *berg* «mountain, hill»; нем. диал. *Muger* «свинья» и «холм»). Ср. также др.-в.-нем. *hegedrou* «testicle», нем. диал. *Hagen* «бык-производитель» (ср. нем. *Behagen* «удовольствие»). Некоторые названия свиньи связаны с названием дерева и леса (жертвенных животных подвешивали на деревьях в лесу)⁴: ср. и.-е.

**perk^u-* «дуб» (ср. гот. *fairguni* «гора»: следует учитывать переход «гора — лес»), но лат. *porcus* «свинья», тох. А *pärk-* «se lever», ср. тох. А *prak-* «просить, молить, приносить в жертву» [сюда же: англ. *spark* «искра» — свинья как жертвенное животное; нем. диал. *Rochel* «Haufe» > «Scheiterhaufe», кельт. *reiko* «zerreisse» [16, с. 228], тох. А *pruccamo* «excellent» (типологически ср. др.-англ. *brycan* «brauchen», но англ. *brick* «excellent»)]; ср. еще: др.-англ. *fraec* «похотливость», лат. *porcus* «vulva»; ср. англ. диал. *procklein* «old brown earthenware» > «vulva», ср. англ. *pig* «свинья», но англ. диал. *pig* «an earthen jug». Название свиньи, как отмечает Леман, может соотноситься с и.-е. **seu-* «gebären» (ср. англ. *sow*, а также гот. *sunus* «сын»; ср. и.-е. **suei*, **seu-* «biegen» > «geniessen»; «gebären»; «brennen»). Значение «рожать, питать» соотносится со значением «гореть» (с тем же значением соотносится и значение «гора»): типологически ср. др.-англ. *Ælan* «гореть», но лат. *alere* «кормить». Кроме того, значение «жечь» могло относиться к свинье как к жертвенному животному: ср. лат. *sūs* «свинья», но и.-е. **sais-* «trocken» (ср. также русск. *сосна*); нем. диал. *Muger* «свинья», но русск. *смуглый*, др.-англ. *smōcan* «дымить», англ. *smoke*, греч. *σιῦω* «варю, жарю на медленном огне»; ср. еще: др.-инд. *sukaras*, «pig, boar», швед., норв. диал. *sugga*, др.-англ. *sugi* «swine», но осет. *сӕзун* «жечь»; лат. *porcus* «свинья», но и.-е. **porǵos* «bright, clean, pure», **prǵ-* «spot, speckle» (очищение огнем). Интересно, что слова, означающие жертвенных животных, могут выступать также в значении «любовь», «правда», «истина», «ум»: ср. нем. *wahr* «правдивый», но лат. *verres* «баран», слав. **prau-* (ср. русск. *правда*), но англ. диал. *pur* «ятенок» (ср. хет. *purilla* «светлый, ясный»); гот. *sunja* «истина», но *sweins* «свинья»; брет. *тун*, ирл. *menn* «козленок», но др.-инд. *mani-sa* «Weisheit», др.-англ. *myne* «Liebe» (ср. выше).

Готское слово *hailags* «святой» у Лемана и Файста соотносится с гот. *hails* «здоровый» (ср. кимр. *coilou*, «auguriis», *coel* «Vorzeichen», русск. *целый* и др.). Все эти значения, однако, являются производными от и.-е. **kel-* «stechen» > **kel-* «Opfer, Blut» (ср. др.-англ. *heolfor*, *helabr* «Blut», др.-в.-нем. *huliwa* «Schmutz», др.-инд. *kalana-* «Schmutz, Fleck»). Возможна и другая линия развития: **kel-* «stechen» > **kel-* «schreien» > «Opfer» > «heilig» (ср. литов. *girti* «loben», но русск. *жертва*). Типологически ср.: и.-е. **sakros*, **saknos* «revered», но **sakros* «dirt, filth; wound, pain» [15, col. 1308]. Ср. **sequō* «utter, say» (15, col.

³ Подобным же образом ср. франц. *truie* «свинья» но и.-е. **treu-* «gedeihen».

⁴ Интересно сопоставить франц. *cochon* «свинья», но лтш. *kūšks* «дерево». Ср., с другой стороны, тох. В *kuk-* «prendre naissance» (ср. др.-сев. *skogr* «лес»). К тому же корню относятся и англ. *chicken* «цыпленок»: названия многих птиц связаны с названием детородных органов (ср. лтш. *vista* «курица», но литов. *veisti* «рождать»; русск. *курица*, но осет. *kuryn*, *gyryn* «рождать»). Возможны также соотношения: др.-инд. *vana-* «tree, forest», но гот. *swein*; ср.-нидерл. *bagge* «свинья», но др.-инд. *bhaga-* «vulva».

1130]. Ср. также умбр. *esono* «sacer», но оскск. *asustus* «sacrificiis», лтш. *asins* «Blut». Ср. **er*- «trennen», **or*-, **er*- «reden, rufen». Ср. еще: гот. *weihs* «святой», англ. диал. *week, whack* «to cut, to beat», но авест. *vohunā* «blood». Ср. также англ. диал. *weak* «to cry», лат. *vox* «Stimme». К тому же корню относится русск. *свежий* (<**deks-* «bend») > «new»: типологически ср. англ. *fresh* <**resg-*, **resg-* «twist, bend», ср. др.-в.-нем. *friseing* «victima»; **uer-* «biegen», но тох. А *wir* «nouveau»). Ср. др.-англ. *wah* «trabs», русск. *веха* (языческое поклонение столбам), др.-англ. *wah* «good» (типологически ср. англ. *blood* — *bless*).

Очень важно было бы максимально часто приводить в рецензируемом словаре семасиологические параллели, что способствовало бы убедительности того или иного семасиологического развития, отстаиваемого автором. Так, гот. *wair* «человек» сопоставляется с лат. *vir* «человек», которое в свою очередь возводится к и.-е. **uer-* «гнуть» > «сила». В этой связи уместно было бы привести следующий материал: а) греч. *καλός* «хороший», но др.-англ. *haeleþ* «человек, мужчина, герой»; б) др.-англ. *ginc* «человек», но др.-англ. *ganc* «умный, смелый, благородный, сильный»; в) брет. *kaer* «хороший», но др.-англ. *ceorl* «человек»; г) и.-е. **lat-* «благоприятный; счастливый», но **lat-* «человек, герой», д) лат. *homo* «человек», но алб. *kūmet* «расти, выгибаться, набираться сил», ирл. *сит* «тепло, очертания, форма»; ср. англ. сленг *come* «прилив сил; семья», с другой стороны, ср. англ. *scum* «пена, накипь; отбросы»; е) и.-е. **nāh-* «получить, достигнуть, быть достаточным, процветать», но тох. А *oñk* «человек»; ср. тох. А *eñk* «схватить» (типологически ср. греч. *λαμβάνειν* «хватить», но литов. *labas* «хороший»); ж) тох. А *atāl* «человек», но веролиф.-хет. *hatarā* «сила», хет. *hātulas* «здоровый», нем. *edel* «благородный», др.-сев. *edli, odli* «широта, происхождение»⁵; з) др.-сев. *ljonar* «народ, люд», но др.-инд. *lunati* «резать» (> «сила»); ср. русск. *лунка* «ямка» (англ. *clean* «чистый»), кельт. *louno* «жир» (> «сила, жизнь»), литов. *launė* «нога, лямка» (в древности считалось, что нога является символом мужской силы, средоточием мужского семени); русск. *клонить, при-клонить* < «гнуть». С гот. *wair* (**uer-* «biegen», **uer-* «brennen»); ср. еще: тох. А *wir* «jeune, nouveau»; лтш. *veris* «лес» (лес как место культового действия и как результат этого — приобретение магической силы) < **uer-* «гнуть». Ср. также: осет. *waryn/arun* «рожать», ср. **ues-* «sich näh-

gen», **ues-* «Vogel» [типологически ср.: **rug-* «jab, stab, beat», но нидерл. *vosken* «breed», нем. диал. *Fucke* «pullet» (ср. выше примеч. 4); нем. *Funke* «sprakē»]. Интересна связь значений «пространство» — «время» — «небо»; «солнце» — «рожать» — «умирать». Ср. др.-инд. *variman* «широта, пространство» — русск. *время* (<**uer-men*) — и.-е. **uer-* «гореть, жечь» — **ar-* «рожать» (ср. осет. *arun* «рожать») — **er-* «умирать» (ср. авест. *arista* «мертвый»), **er-* «утихать, находиться в покое». Типологически ср.: и.-е. **tek-* «спростираться» — **teng-* «промежуток времени» — литов. *dangūs* «небо», *dėgti* «гореть», др.-сев. *deuja* «умирать» (и.-е. **dheg-* «гореть», букв. «тот, кого сжигают, мертвый» — имеется в виду обычай сжигать мертвых); ср., наконец, др.-англ. *degn* «парень» (букв. «рожденный»: ср. переход «гореть» — «кормить» — «родить»). Ср. также гот. *deigan* «бить», греч. *τεχνῶω* «рожать».

Словарь крупнейшего индоевропейца нашего времени В. П. Лемама вполне отвечает требованиям, выдвинутым бурным развитием этимологической науки в последние десятилетия: перед нами исчерпывающий критический обзор различных точек зрения на этимологию готских слов, рассматриваемых не только в рамках системы германских языков, но и индоевропейской языковой семьи (учтена литература вплоть до 1985 г.). Именно такое построение словаря дает возможность читателю творчески подойти к решению сложных этимологических задач, к выбору стратегии и тактики анализа, особенно в плане множественной этимологии (с опорой на мифопоэтическую символику [18]).

Маковский М. М.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Tollenaere F. de, Jones R. L.* Word-indices and word-lists to the Gothic Bible and minor fragments. Leiden, 1976.
2. *Meid W.* Got *qīþus* und **qīþr* // Sprachwissenschaftliche Forschungen. Festschrift für J. Knobloch. Innsbruck, 1985.
3. *Леман В. П.* Индоевропейстика сегодня // ВЯ. 1987. № 2.
4. *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. 1—2. Тбилиси, 1984.
5. *Thass-Thienemann Th.* The interpretation of language. I: Understanding the symbolic meaning of language. N.Y., 1973.
6. *Onians R. B.* The origins of European thought about the body, the mind, the soul, the world, the time and fate. Cambridge, 1954.
7. *Chevalier J., Gheerbrant A.* Dictionnaire des symboles. P., 1979.

⁵ Не исключено, что к тому же корню относится и баскск. *odal* «кровь».

8. *Mossé F.* *Bibliographia Gothica // Medieval studies.* 1950. XII.
9. *Devlamminck B., Jucqois G.* *Complément aux dictionnaires étymologiques du gotique.* Louvain, 1977.
10. *Persson P.* *Beiträge zur indogermanischen Wortforschung.* 1—2. Uppsala, 1942.
11. *Zehetmayer S.* *Analogisch-vergleichendes Wörterbuch über das Gesamtgebiet der indogermanischen Sprachen.* Leipzig, 1879.
12. *Buck C. D.* *A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages.* Chicago, 1949.
13. *Schröpfer J.* *Wörterbuch der vergleichenden Bezeichnungslehre.* 1—2. Heidelberg., 1979; 3—4. Heidelberg, 1981.
14. *Маковский М. М.* *Английская этимология.* М., 1980.
15. *Mann S.* *An Indo-European comparative dictionary.* Hamburg, 1974—1987.
16. *Fowkes R. A.* *Gothic etymological studies.* N.Y. 1949 (Columbia University thesis).
17. *Gusmani R.* *Lydisches Wörterbuch,* Heidelberg, 1964. S. 138.
18. *Puhvel J.* *Comparative mythology.* Baltimore — London, 1987.

Журавлев В. К. *Диахроническая фонология.* М.: Наука, 1986. 227 с.

Рецензируемая книга представляет собою важное событие в советской лингвистике. Автор стремится к подведению итогов всего развития диахронической фонологии, сведению воедино достижений диахронической и общей фонологии. Книга была объявлена к изданию еще двадцать лет назад и была посвящена групповому сингармонизму в праславянском. Теперешний заголовок книги в 60-е годы был в подзаголовке. Ряд блестящих идей В. К. Журавлева тех лет остался за пределами данного издания. Видимо, это закономерно: они уже сыграли свою роль. Будем надеяться, что автор вернется в следующей работе к проблематике просодики слога и динамике дифференциальных признаков в слоге.

«Системосозидание» — трудная задача, но в целом она удалась автору. Этому способствовала очень глубокая проработка историко-лингвистической проблематики возникновения фонологии, точная и нелицеприятная оценка вкладов Р. Якобсона, Н. Ф. Яковлева, Московской и Ленинградской фонологических школ, современных исследований звучащего текста. Основной фигурой в истории фонологии для автора по праву является Н. С. Трубецкой. Несмотря на сложность трактуемых вопросов, изложение в книге ясное, слог прозрачный, иногда с разговорной озорной интонацией, за которой скрывается очень много нового и притом основанного на собственном исследовательском материале, нового даже для тех, кто постоянно следит за публикациями автора. Хотелось бы отметить эти «моменты» в книге. В историографической части В. К. Журавлев, рассматривая не столько возникновение фонологии, сколько становление фонологического мышления, приходит к пара-

доксальной, но, видимо, верной мысли об исключительной роли Ф. Ф. Фортунатова и А. А. Шахматова в истории фонологической мысли, хотя Ф. Ф. Фортунатов не писал работ специально по фонологии, а относящиеся сюда труды А. А. Шахматова обычно рассматривались в русле младограмматической исторической фонетики. Теория морфологических противопоставлений Фортунатова предшествует по крайней мере в фонологии и может считаться ее источником.

В трактовке «фонетических законов», которая дана в книге, необходимо отметить положения о «пуске» фонетического изменения в результате нейтрализации и его «выключении» при морфонологизации. Здесь можно было бы указать, что оба процесса нарушают анизотропность варьирования и автоматизм действия позиции.

Центральное место в книге занимает теория нейтрализации. В. К. Журавлев показал поразительное (ранее не привлекавшее внимания) противоречие между синхронной и исторической фонологией в классической пражской концепции. Если «краеугольным камнем» первой (Н. С. Трубецкой) является нейтрализация, позиционное снятие противопоставлений в синтагматике, то во второй (Р. Якобсон) нейтрализации нет, она сугубо парадигматична. А. Мартине и последующие ученые сохранили парадигматичность исторической фонологии. Выдающиеся успехи младограмматиков обусловлены призывом искать причины звуковых изменений в фонетическом окружении, в синтагматике. «Достроить» парадигму диахронической фонологии, по мнению В. К. Журавлева, означает снять это противоречие, введя в полной мере

в диахроническую фонологию фундаментальные понятия позиции и нейтрализации.

Обычно в обобщающих работах по исторической фонологии центральное место занимала типология корреляций, обсуждение инвентаря дифференциальных признаков. В рецензируемой книге такую роль играет типология нейтрализации. Тем самым, считает автор, «хаос аккомодаций и коартикуляций превращается в космос» строгих закономерностей, детерминируемых самой системой данного языка. Приведенный автором материал подтверждает эту гипотезу, с ней связано предположение, что «конвергенция и дивергенция обязательно проходят через стадию нейтрализации». Доказать или опровергнуть такой подход трудно, требуется очень полный анализ причин фонологических изменений. При несколько расширенной трактовке нейтрализации это положение может стать одной из важнейших гипотез компаративистики. К близким выводам на германском языковом материале в свое время пришел Ж. Фурие (от нейтрализации к нейтрализации оппозиция исчезает полностью), а также Е. Курилович (нейтрализация взрывных после *s* — первопричина германских передвижений согласных).

В рецензируемой книге высказано много интересных положений общетеоретического характера (способы снятия антиномий, переход количественных изменений в качественные, интегрирующие свойства системы и системообразующие факторы и др.), но для компаративистики особый интерес представляют замечания о месте типологических данных в системе доказательств. Часто вслед за Р. Якобсоном в качестве подтверждения истинности реконструкции как типологическое доказательство при-одят сходный факт или процесс из другого языка. Для Журавлева типология — не набор примеров из несвязанных языков, а совокупность отношений между взаимодействующими элементами фонологических процессов (фонемы, аллофоны, позиции и т. п.), выраженных в фундаментальных формулах

фонетического закона, конвергенции и дивергенции, нейтрализации, силы оппозиции, мутации и т. п. в рамках единой системы языков. Нам представляется, что в этом случае объяснительной, доказательной и диагностической силой обладают прежде всего данные родственных языков.

Модели вновь созданных единиц, сохраняющиеся в лингвистическом времени, — это гораздо более важная характеристика лингвистического родства, чем сохранение дискретных единиц от одного «среза» к другому в рамках полихронии. Если в одном из срезов при реконструкции восстанавливается явление типологически редкое, то вероятнее всего это объясняется противоречием статичного описания и динамики процесса. Все более распространяется мнение, что при противоречии корпуса типологических данных результатам реконструкции последние не опровергаются, а наоборот, корпус этот должен быть расширен.

Основной «герой» книги В. К. Журавлева — нейтрализация. Это, видимо, не случайно. Как считает автор, нейтрализация — это основная «единица» противоречивости системы. Вместе с тем в нейтрализации соединяются отношения синтагматики и парадигматики, сегментной фонологии и просодической системы, фонологии и других уровней и, главное, плана выражения и содержания. Отрицание классической фонологии в порождающей модели привело к преимущественному вниманию к теории признаков. В этой области важнейшим итогом стал вывод о необходимости «челючного» движения от звучания к значению и наоборот и невозможности распознавания речи вне системных и смысловых связей. Соотношение с этой проблемой теории нейтрализации не заметить невозможно. Не окажется ли изучение фонологической нейтрализации основанием для еще больших обобщений в области наук о звуковой форме общения?

Клячков Г. С.

Ган В. Г. Введение во французскую филологию. М.: Просвещение, 1986. 183 с.

Рецензируемая книга представляет собой комплексное описание одного языка на фоне основных историко-культурных и социальных событий, определивших его возникновение, становление его норм, его контакты с другими языками, вариантность и структурную специфику.

Книга состоит из пяти разделов, характеризующих французский язык с точки зрения его пространственного распространения, его социального и географического варьирования, происхождения, функциональных разновидностей и структурных особенностей на фонетическом,

морфологическом и лексическом уровнях. Каждый раздел книги имеет свою специфику и заслуживает отдельного рассмотрения.

1. Положении французского языка среди других языков в современном мире определяется автором, исходя из генетических, географических, структурно-типологических и социофункциональных критериев. Определяются формы существования и социальные функции языка, описываются возможные языковые ситуации, рассматриваются случаи билингвизма и диглоссии, дается схема (с. 12) вертикальных и горизонтальных расслоений французского языка.

Ареалы распространения французского языка представлены в динамике, показан исторический процесс их формирования. При этом подчеркивается зыбкость языковых границ как во времени, так и в пространстве, а также зависимость языковых сдвигов от исторических, культурных и социальных явлений. Выделяются важнейшие вехи в истории Франции, начиная с момента образования французского государства, прослеживаются этапы его централизации и его политической экспансии, которые оказались определяющими для изменения языковых состояний в самой Франции и для возникновения вариантов французского языка за ее пределами. Особенно ценным оказывается при этом сочетание общих теоретических положений с историческими, этнографическими, лингвистическими деталями.

2. В а р ь и р о в а н и е ф р а н ц у з с к о г о я з ы к а рассматривается в книге на основе устанавливаемых автором общих типов и причин языковой вариативности (ослабление политической и экономической связи между носителями одного языка, специфика местных реалий, влияние субстратов, адстратов, суперстратов). Наконец, большой интерес представляет характеристика креольских языков, образованных на основе французского языка.

3. Раздел о происхождении и развитии французского языка открывается краткой характеристикой французского языка на фоне других романских языков. На примере тринадцати латинских слов и их соответствий в основных романских языках иллюстрируются «фонетические законы», позволяющие охарактеризовать группу родственных языков и каждый язык внутри этой группы на основании фонетических различительных признаков, предсказать развитие звуковой формы слова в каждом из языков, а также определить «народный» или «ученый» источник слова. Далее в общих чертах намечены также сходство и различия между романскими

языками в области морфологии и лексики. Сопоставление французского с другими романскими языками служит автору объективной основой для классификации романских языков в зависимости от степени их структурной близости. При этом термины «непрерывная Романия» и «прерывистая Романия», введенные в свое время Амадо Алонсо, получают в рецензируемой работе свое дальнейшее уточнение. Так, на схеме (с. 60) показано, что французский и ретороманский языки в большей степени связаны с «непрерывной Романией», чем румынский и сардинский, — факт, лишний раз подтверждающий зависимость структурной изоляции языка от утраты (или ослабления) экономических и культурных контактов между странами, некогда составлявшими единое политическое целое. Роль этих контактов (т. е. циркуляции населения), к сожалению, не была учтена автором на схеме (с. 63), отражающей основные причины расхождения между романскими языками (роль субстрата, суперстрата и начало романизации).

Периодизация истории французского языка и его социолингвистическая история, изложенные в книге, содержат необходимый минимум историко-культурных сведений, без которых не может обойтись ни один специалист, занимающийся Францией и ее языком. Здесь читатель найдет не только перечень дат и фактов, приведших к образованию французской нации, французской литературы и нормированного французского языка, но и раскрытие причинно-следственных связей между сменой социально-экономических формаций и изменениями языковой ситуации в стране — от диглоссии «кельтский/латынь» к региональному варианту латинского языка и от монолингвизма романизованных галлов к новой диглоссии «германский язык франков/местная устная и письменная латынь». Далее, как известно, следуют романизация франков, оставивших свой след в виде германизмов (многочисленных имен собственных и некоторых имен нарицательных), и возникновение из народной разговорной латыни сначала бесписьменных, а потом и письменных французских диалектов, среди которых к XIII в. выдвигается диалект Иль-де-Франса. Возникает плюрилингвизм типа «местный разговорный диалект/наддиалектная скрипта/письменная межнациональная латынь». Постепенная экспансия диалекта Иль-де-Франса за счет других французских диалектов и латинского языка, создание его литературной нормы, его сознательное обогащение путем заимствований из латыни, его проникновение в сферу научной прозы — все эти процессы прослеживаются вплоть до конца XVII в.

Далее автор дает краткую характеристику структурных изменений, которые привели к образованию французского языка из латинского. Наиболее подробно рассматриваются фонетические процессы (с. 78—81), отчасти уже известные читателю из сказанного на с. 57—61.

Показано расхождение в фонетическом развитии слов «народного» и «ученого» происхождения и вытекающее из него наличие двух типов чередования в звуковой форме однокоренных слов: исконного и привнесенного в результате заимствования слов из классической латыни. Грамматические процессы здесь рекомпонованы в таблице на с. 83—84, дающей ясное представление, во-первых, о количестве грамматических категорий во французском языке по сравнению с латинским, во-вторых, о формах их выражения в обоих языках и, в-третьих, о типах сдвигов в отношениях «означающее/означаемое» в процессе превращения латинского языка во французский. Перечисляя далее части речи и их категории, автор выделяет общую тенденцию их развития: от синтетических форм к аналитическим, от морфологического способа выражения грамматических отношений к синтаксическому (описательному), связанному с увеличением частотности употребления служебных слов, с десемантизацией автономных лексических единиц, со стяжением синтаксических групп и фиксацией порядка слов.

Развитие лексического состава в этом разделе рассматривается автором одновременно с уточнением целого ряда лингвистических понятий и теорий. Так, опровергается тезис о «бедности» лексики старофранцузского языка по сравнению с современной; объясняется понятие и само явление дублетности фонетических форм лексем и морфем; выясняются причины изменения значений слов и самих типов семантических сдвигов в их связи с логическими отношениями между понятиями; указываются основные критерии для описания заимствований — хронологический, тематический, географический; указываются мотивы заимствований — появление новых предметов или понятий вместе с их наименованиями из другого этнолингвистического коллектива, в котором эти предметы и понятия были уже известны и имели название (так называемые заимствования по необходимости), воздействие моды, престижности иностранного языка, имеющего более широкую сферу применения (государственный язык, язык межнационального общения).

Много ценных сведений получит читатель из кратких, но насыщенных параграфов, посвященных франко-русским языковым связям. В частности,

важно знать, что (с. 97) «при ассимиляции заимствований (французских в русский) им нередко придавалась латинизированная форма вопреки французскому произношению», что (с. 97) слово *cosmos* во французском языке стало обозначать «внешнее пространство» под влиянием русского языка и т. п.

4. Языковая ситуация во Франции описана в синхронном плане с учетом исторической перспективы и в известной мере является органическим продолжением второй главы и отчасти четвертого параграфа третьей главы. Здесь читатель получает важнейшие сведения о положении языков национальных меньшинств, об эволюции их отношений с государственным французским языком, о тесной связи языковых проблем с социальными (ср., например, явление «языкового отчуждения» или утраты родного языка), а также о некоторых структурных особенностях этих языков и диалектов. Особенно важны и интересны данные о бретонском и окситанском.

Далее следует характеристика диалектов, региональных вариантов французского языка и его социально-функциональных модификаций с иллюстрациями всех этих разновидностей французской речи. Автор показывает трудности отнесения слова к тому или иному стилю и связанный с этим разницей в словарных пометах. Описание фонетических, грамматических и лексических особенностей французской разговорной речи, просторечья и арго сопровождается, как и в предыдущих главах, постановкой общеязыковедческих проблем, которые побуждают у читателя исследовательскую мысль. Особенно интересны в этом отношении параграфы, посвященные проблеме нормы. Так, последования форм претенциозной речи, возникающие в результате внутриязыковых заимствований из канцелярского письменного стиля в обычный разговорный, типов и условий изменения стилистической окраски слов и морфем, а также эффектов, возникающих при межстилевых заимствованиях, при заменах стилистических регистров, получают, несомненно, дальнейшее развитие благодаря рецензируемой работе. Кроме того, автор обращает внимание на изменение самого понятия нормы французского языка в работах современных французских лингвистов и в сознании самих носителей языка, которые отдают себе отчет в множественности «норм», складывающейся из разных стилистических регистров, переплетающихся между собой. Автор убедительно показывает, что современный французский язык находится в состоянии интенсивного изменения.

5. Заключительная глава, посвящен-

ная структурным особенностям современного французского языка, открывается общетеоретическими параграфами, посвященными понятию уровневой структуры языка и границам разных уровней — фонетического, морфологического, синтаксического, лексического. Далее следует характеристика звукового строя, где наиболее интересен параграф об *e-muet*, содержащий много новых наблюдений (ср., например, установление связи между этим звуком и спецификой стиха у поэтов-импрессионистов), а также параграф об омоимии, где показана связь между степенью автономности слова, темпом речи и количеством омоимов в языке.

Параграфы, содержащие описание морфологии и синтаксиса, как бы продолжают в более развернутом виде то, что уже было намечено в третьей главе. То же «возвращение вспять» можно заметить и в описании лексических процессов (ср., например, с. 171 и 89). Подобное повторение оказывается необходимым, только потому, что органически связан-

ные между собой факты излагаются в разных, не следующих друг за другом главах. При переиздании книги этот разрыв было бы целесообразно устранить путем изменения порядка глав и объединения в одной главе сведений о структурных сдвигах в диахронии и об особенностях структуры современного французского языка. Одновременно можно было бы исправить отдельные неточности и опечатки. Кроме того, следовало бы расширить объем книги, чтобы включить еще одну главу, посвященную истории изучения французского языка и истории французской филологии, а также аннотированный библиографический указатель.

В заключение хочется подчеркнуть, что эта небольшая книга, сочетающая серьезность проблематики с простой и занимательностью изложения, дает ясное и достаточно полное представление о французском языке в пространстве и во времени, в его структуре и функционировании.

Алисова Т. В.

Вомперский В. П. Словари XVIII века/Отв. ред. Толстой Н. И. М.: Наука, 1986. 136 с.

Выход в свет любого библиографического издания специалисты, научная общественность всегда встречают с большим интересом и с благодарностью его составителям за большой и необходимый труд.

Книга В. П. Вомперского — первое в истории русской науки библиографическое описание словарей весьма важного периода формирования русского литературного языка на национальной основе, русской культуры, многих отраслей знаний — оставляет большое впечатление как добротное, полное описание не только солидных, многотомных трудов, известных специалистам соответствующих отраслей знаний, но и изданий, еще не вошедших в научный оборот. Вместе с такими известными словарями описываемого периода, как Словарь Академии Российской 1789—1794 гг., Вейсманнов лексикон 1731 г., Лексикон Целлария 1746 г., Лексикон Волчкова 1755—1764 гг. и многими другими, в библиографии В. П. Вомперского указан, например, малоизвестный «*Dictionnaire russe et français*» в трех томах, составленный в 1737 г. В сравнении с более поздними русско-французскими словарями он имеет очень большой объем (1 379 листов) (словарь хранится в настоящее время в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им.

В. И. Ленина) (с. 65). Словарь должен войти в научный оборот как новый источник не только для изучения лексики русского языка, но и для установления новых фактов, свидетельствующих о русско-французских языковых контактах в первой половине XVIII в. Число таких примеров можно было бы увеличить.

При чтении рецензируемой работы обращает на себя внимание богатство и разнообразие специальных словарей XVIII в. по различным отраслям знаний. Среди них — ботанические, минералогические, анатомо-физиологические, медицинские, архитектурные, технические, географические, коммерческие, поэтические и многие другие словари. Большое число специальных словарей свидетельствует не только об интенсивном развитии науки, техники, искусства, общественной жизни, но и о том, как оперативно и быстро отражался в лексикографии прогресс в жизни России XVIII в.

Среди описанных в рецензируемой книге словарей XVIII в. поражает обилие *два-, трех-* и многоязычных словарей, и это говорит о живых контактах русского языка с другими языками, как западноевропейскими, так и с языками иных семей (турецким, японским и другими). Богато представлена также учеб-

ная двуязычная лексикография, отражающая внимание русского общества XVIII в. к иностранным языкам.

Библиографическая работа В. П. Вомперского приобретает особую ценность благодаря тому, что в ней учтены не только словари как самостоятельные издания, но и прикнижные словари и словарики, содержащие много сведений о лексике русского языка, о специальной терминологии и не всегда легко доступные. Требуется специальное тщательное исследование большого массива источников, чтобы их выявить. Укажем, например, на «Словарь астрономических терминов, переведенных из „Энциклопедии“ Дидро и Даламбера» в книге «Статьи о времени и разных числениих, из Энциклопедии» (Пер. В. Тузов, СПб., 1771) (№ 79, с. 44), «Словарь терминов, в фортификации употребляемых, изъяснивших и расположенных по алфавиту», помещенный в книге Д. С. Аничкова «Начальные основания фортификации» (М., 1787) (№ 152, с. 71) и др.

Составляя описание библиографических изданий XVIII в., автор дает ссылки на соответствующее описание в «Сводном каталоге русской книги гражданской печати XVIII века. 1725—1800» (М., 1962—1967, т. I—V), в «Описании изданий гражданской печати. 1708 — январь 1725 г.» (М.—Л., 1955), в «Описании изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725 г.» (М.—Л., 1958).

Однако только по названным выше источникам читатель не получил бы такого полного представления о лексикографии XVIII в. В. П. Вомперским был предпринят большой труд по выявлению словарей, по разным причинам не попавшим в них. Прежде всего, это лексикографические труды, опубликованные после XVIII в., а их немало. Пазовым, например, Рукописный лексикон первой половины XVIII века (Подготовка к печати и вступительная статья А. П. Аверьяновой. Отв. редактор Б. А. Ларин (№ 38), Лексикон Сиречь словесник славенский Имеющ в себе, Слова персе Славенския, Азбучныя, посемже Польския. (1722 г.) (№ 20), Словарь областных слов, употребляемых в г. Устюге Великом (по записям 1757 г.), изданный П. К. Симоном в сб. «Живая старина», 1898 г., вып. III, IV (№ 52). См. также лексикографические труды, описанные В. П. Вомперским под №№ 1, 2, 3, 10, 20, 54, 85, 128, 158, 173, 267 и др.

Чрезвычайно обогащает рецензируемый труд включение в него собраний пословиц и поговорок, которые дают уникальный материал по исторической фразеологии русского языка; учтены также справочные пособия по домоводству, сельскому хозяйству, различным промыслам

(приведенные материалы даются в алфавитном порядке).

Чтение библиографии словарей XVIII в. дает повод сделать заключение о том, что русская лексикография вступила в это время в пору интенсивного развития.

В небольшой рецензии невозможно назвать все направления, по которым развивалось словарное дело в России XVIII в. В качестве примера можно указать лексикографические труды, посвященные ботанике, — науке, которая формировалась в XVIII веке. В это время выходят в свет ботанические словари К. А. Кондратовича (1780 г.), А. К. Мейера (1781—1783 гг.), Н. М. Максимовича-Амбодика (1795 г.); сведения о растительном мире, «в азбучном порядке расположенные», содержатся в многотомных изданиях Н. Иванова (№ 218), В. А. Левшина (№ 245), Н. П. Осипова (№ 215), О. Л. Миллена (№ 277) и др.

К числу достоинств рецензируемого труда следует отнести аннотации к описываемым словарям. Они содержат не только сведения о том, где впервые описан тот или иной словарь или где хранится рукописный экземпляр неопубликованного словаря, но и приводится литература, посвященная им. Так, после описания важнейшего лексикографического труда XVIII в. — Словаря Академии Российской. СПб., 1789—1794 гг. — приводится исчерпывающе подробная библиография работ, посвященных его исследованию (№ 188, с. 83). Ценные сведения об истории Словаря А. И. Богданова — первого толкового словаря русского языка, дошедшего до нас в виде корректурного отиска (№ 64, с. 38), содержатся в аннотации к его описанию. Немало сведений найдет читатель и о других словарях.

Расположение описываемых лексикографических трудов в книге хронологическое. Это дает повод судить о том, как стремительно развивалась отечественная лексикография: если, например, под 1717 г. описано всего три словаря, то в 1791 г. их вышло уже около полутора десятков. Для удобства пользования книгой в конце помещены алфавитный Указатель заглавий и Указатель имен.

Как уже отмечалось, В. П. Вомперский поставил перед собой трудную задачу описания не только собственно лексикографических изданий, но и алфавитных словоуказателей и прикнижных словариков. Ставя такую задачу, сам автор признает возможность пропусков. При огромном количестве книжной продукции XVIII в., особенно его второй половины, практически вряд ли возможно исчерпывающе полное описание словарей и словариков, помещенных внутри или в конце книг. Из замеченных нами «про-

пусков» назовем, например, Реестр анатомических терминов [в кн. Лаврентия Гейстера. . . Сокращенная анатомия все дело анатомическое кратко в себе заключающая (Реестр 2). Спб., 1757], Реестр медицинских и анатомических терминов (в кн. И. З. Платнера «Основательные наставления хирургические медлческие и рукопроизводные», Спб., 1761), Запись сибирских слов И. Яхонтова (в кн.: Gmelin J. G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1733 bis 1743, t. I. Göttingen, 1751). Обратим внимание также на досадную

опечатку на с. 35 в фамилии автора словаря Литхена.

Русская лексикография XVIII в. до последнего времени не была объектом столь подробного библиографического описания.

Труд В. П. Вомперского, выполненный на высоком научном уровне, явится новым стимулом к всестороннему изучению словарного дела в России XVIII в., к объективной оценке его роли в развитии отечественной науки и культуры.

Петрова З. М.

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987. 263 с.

Проблема «человек и язык» приобретает в последнее время все большую остроту и актуальность в связи с решением значительного числа теоретических и прикладных задач. К первым относятся задачи методологии лингвистического исследования, соотношения общелингвистических категории и категорий мышления, выявление общих и частных закономерностей реализации языком своих потенций в актуальном акте речевой коммуникации. Прикладные задачи определены вторжением в гуманитарные науки электронной техники и необходимостью общения с ЭВМ на естественном языке. Все остальные — общие и частные — задачи являются производными от них.

Всем этим проблемам и посвящена рецензируемая книга. Ю. Н. Караулов не ставит в ней глобальных вопросов. Его задача — показать языковые аспекты в «точке пересечения» гуманитарных наук — человеку, личности. Упрекнув своих предшественников в некоторой схематизации предмета изучения (с. 5 и сл.), автор строит исследование на конкретном материале русского языка и тем самым ограничивает рамки анализа конкретным культурным фоном.

Автор исходит из двух постулатов: адекватное исследование языка возможно только при условии выхода за его «пределы», при обращении к человеку — носителю и творцу языка; анализ возможен только на конкретном национально-языковом материале.

Ю. Н. Караулов убедительно показал, что последовательное развитие этих двух идей дает возможность продуктивно решить поставленные в книге конкретные вопросы. Одним из важных среди них является вопрос о предмете анализа. Совершенно прав Ю. Н. Караулов, введя понятие «языковая личность» в метафорическом значении, как синоним понятия

«человек, владеющий языком», что освободило его от рассмотрения сложных и запутанных, часто неоднозначных толкований понятия личности, которые дает психология. Книга Ю. Н. Караулова состоит из четырех глав, которым предпослано краткое Введение и которые завершаются эпилогом. В гл. I — «Общие представления» — обоснована закономерность включения языковой личности в круг рассматриваемых языкознанием предметов. Обоснование такого включения автор видит в сравнительно близкой истории языкознания, в частности, в трудах В. В. Виноградова. Особенность научного творчества последнего состояла в том, что он всегда ориентировался на конкретные характеристики, свойства языковой личности в ее отношениях с разными проявлениями языковой деятельности. В главе разграничены три уровня изучения языковой личности. Здесь подчеркнута связь указанного понятия с национальным характером и в специальном разделе рассматривается проблема соотношения языковой личности и художественного образа, прежде всего — вопрос о том, «какой вклад в структуру и содержание художественного образа вносит речь, тексты, принадлежащие данному персонажу» (с. 70). Заключает главу опыт общей реконструкции языковой личности на базе дискурса персонажа в художественном произведении. Эта особенность его подхода значительно перерастает лингводидактические представления о языковой личности, а в некотором смысле — и психолингвистические представления.

В гл. II — «Внутри языка (вербальный уровень)» — освещена роль лексикона в структуре языковой личности и его отличие от того, что ранее изучалось под названием «языка писателя». Здесь описываются способы реконструкции ин-

дивидуального лексикона и грамматикона, раскрывается национальная основа лексико-грамматического фонда личности на примере общерусского языкового типа. Для достижения этой последней цели приводятся наблюдения над диалектной речью, детской речью, употреблением русского языка иностранцами, а также над особенностями восприятия древнерусских текстов носителями современного русского языка.

Соответственно уровневой структуре языковой личности вводятся понятия «лексикона», «грамматикона» и «прагматикона», (с. 89), которые введены вполне закономерно и в теории, развиваемой в книге, занимают важное место. Автор прав, отмечая, что внутренняя форма названных терминов содержит представление о системной организации составляющих соответствующий уровень единиц. Вместе с тем можно думать, что рядоположение уровней, обозначенных этими терминами, несколько обедняет анализ, и то, как отношения между сферами показаны в схеме на с. 91 книги, безусловно, верно, хотя объяснительная сила «схемы» ограничена. Как раз введение понятия языковой личности и дает богатейшие возможности для построения «сетки отношений» между сферами как специальной проблемы. Разумеется нельзя упрекать автора за то, что он не рассмотрел всего, что так или иначе связано с различными аспектами анализа структуры языковой личности. Сам по себе тот факт, что рецензируемая работа побуждает к поиску перспектив исследования, безусловно является несомненным достоинством книги.

Справедливо утверждают, что открытия возможны сегодня только на стыке нескольких наук. Монография Ю. Н. Караулова — яркое тому доказательство. В ней как бы стягиваются в один узел литературоведческие и социологические, психологические и лингвистические аспекты владения языком, что не только дает возможность поставить новые проблемы, но и по-новому осветить увлекательный внутренний — языковой — мир человека. Это — открытие мира языка в человеческой личности, в индивидууме, во всей сложности и разносторонности этого мира и в то же время в его триединстве. Ведь грамматикон, лексикон и прагматикон — это только разные грани единого механизма, управляющего речевым поведением человека, его основы.

Гл. III — «Взгляд на мир (к характеристике лингвокогнитивного уровня в структуре языковой личности)», — как пишет сам автор, «охватывает вопросы роли языка в познавательной деятельности, соотношения языка и мышления, языковой семантики и знаний о мире»

(с. 9). Становится особенно очевидным, насколько книга Ю. Н. Караулова близка по своему духу и направлению тем перспективным и интересным, на наш взгляд, исследованиям в области гуманитарных наук, которые объединяются сейчас под эгидой так называемой когнитологии. Рассматривает ли автор особую новизнность текстов, анализирует ли он составляющие компоненты промежуточного мира, «защищает» ли он лингвистику, обогащенную за счет смежных дисциплин и немислиму вие изучения человеческого фактора, — он ставит и решает проблемы, относящиеся к структуре человеческого знания, к когнитивным и эмоциональным особенностям психолингвистических процессов, к моделированию того оперативного устройства, с помощью которого человек мыслит и затем излагает содержание своих мыслей. И в то же время рецензируемая работа явно выходит за пределы когнитивных наук в том виде, в каком они складываются за рубежом: широтой поднимаемых проблем и, пожалуй, что самое примечательное, привлечением к анализу литературных, художественных произведений.

Книга примечательна и в другом отношении — как дающая свой ответ на один из самых кардинальных не только для современной лингвистики, но и для науки вообще вопрос о природе человеческого творчества в сфере языка. Понятие языковой личности — это прежде всего понятие языковой творческой личности, создателя языка, раздвигающего мир другого человека, когда он расширяет пределы своего языка.

В третьей главе автор предлагает новую модель речемыслительной деятельности, реализуемой в особом — промежуточном — языке — языке мысли. Сама по себе проблема промежуточного (между языком мозга и внешней речью) языка не нова. Исследования внутренней речи, универсально-предметного кода (Н. И. Жинкин), функционального базиса речи (И. Н. Горелов) ставили эту проблему. Однако путь универсализации, «внекультурности» промежуточного языка был достаточно ограниченным, и следование по этому пути ощутимых результатов в анализируемом Ю. Н. Карауловым плане не дало. Автор предлагает свою трактовку проблемы и свою гипотезу структуры промежуточного языка: образы, схемы (в свою очередь, составленные из двигательных представлений и пропозиций), картины (совокупности образов), формулы, символы, диаграммы и, наконец, слова. Последние единицы Ю. Н. Караулов понимает, вслед за Л. С. Выготским, как «внутреннее слово» и справедливо считает, что «внутренняя речь» составляет часть, образует от-

дельные звенья общего промежуточного потока, формируемого рассмотренными . . . единицами» (с. 206). Это положение, как и другие, относящиеся к промежуточному языку, продуктивно и очень важно, помимо прочего, для понимания сущности внутренней речи.

Важность раздела состоит и в том, что он помогает поставить конкретные исследовательские задачи в области изучения способов и форм представлений знаний.

В главе IV «Место в мире (аспекты прагматики)» — объектом анализа становятся коммуникативные потребности личности, выдвигается понятие прецедентных текстов и характеризуется роль этих последних в структуре и функционировании языковой личности. Здесь проводится справедливо мысль, что сложные и противоречивые отношения знаний и значений, складывающиеся в «картине мира» языковой личности, реализуются в коммуникации. В коммуникативной деятельности (как и в любой другой деятельности человека) важнейшую роль играют мотивационные факторы. Одновременно мотивация оказывается и наименее разработанной сферой личности вообще, и языковой личности в частности. Ю. Н. Караулов пытается рассмотреть соотношение выделяемых им трех уровней организации языковой личности с тремя типами коммуникативных потребностей (контактоустанавливающей, информационной, воздейственной) и тремя сторонами общения (коммуникативной, интерактивной, перцептивной). Схема анализа может «работать» только на адекватном эмпирическом материале. В качестве такого автор избирает прецедентные тексты. По сути дела, коммуникативный опыт личности, отраженный сознанием, интерпретированный и обобщенный, оказывается частью «картины мира». Опыт, приобретенный через тексты, закреплен в тезаурусе и проявляется в ассоциативных экспериментах (ср. исследования А. Е. Супруна и А. П. Клименко, И. Г. Овчинниковой), что оказывается верным и по отношению к языковой личности, структура которой складывается из лексикона, тезауруса, прагматикона (с. 238). Анализ психолингвистических экспериментов, проведенный автором книги в четвертой главе, показал, что «введение в дискурс прецедентных текстов . . . всегда означает выход за рамки общденности. . . в использовании языка» (с. 241).

В Эпизоде «речь идет о любви каждого говорящего к своему языку» и защищает мысль о том, что любовь эта составляет «неотъемлемое свойство языковой личности» (с. 259) и заставляет обращаться к родному языку в трудных вопросах познания и объяснения мира или в реше-

нии нравственных проблем» (с. 262). Вот почему, по мнению Ю. Н. Караулова, без любви к языку «не может быть русской языковой личности» (с. 262).

Все ли одинаково удачно в этой книге? Наверное, нет.

Подводя итоги рассмотрению проблемы соотношения значений и знаний о мире, Ю. Н. Караулов отмечает, что ему кажется «привлекательной и заслуживающей дальнейшей разработки» идея раздельного существования языкового тезауруса и тезауруса мира, идея раздельного хранения значений и знаний (с. 209). Если речь идет о практических знаниях человека (умениях, навыках и т. п.), то с указанным выше положением можно согласиться. Но что, если речь идет о теоретических знаниях? О знаниях, полученных вербальным путем и, так сказать, изначально связанных с языком? И можно ли считать, что существуют на равных правах значения, связанные с жесткими десигнаторами, с одной стороны, и значения слов номинальной лексики, которые сами созданы по языковому определению?

Самого пристального внимания в рецензируемой книге заслуживает идея промежуточного языка — языка мысли. Хотелось в то же время отметить, что более строгой дифференциации требует освещение статического и динамического аспектов выдвинутого понятия. Если вопрос ставится о том, что содержится в потоке мысли, можно согласиться с тем, что мысль может формироваться и с помощью слов, но если вопрос ставится о компонентах языка мысли (в том виде, в каком они хранятся в голове человека), то считать рядоположными такие единицы, как образы, схемы и т. п., и слова представляется неправомерным. О специфике «внутреннего слова» и необходимости — при переходе к внешней речи — его замены на слово «нормальное», обычное уже писалось ранее.

Здесь же хочется подчеркнуть, что если принять предлагаемое автором сравнение промежуточного языка с листком склеенной бумаги (см. с. 186) и полагать, что на одной стороне листка записан «язык мысли», а на другой — более близкие вербальные сущности, тогда образы, схемы и т. п. останутся по одну сторону листка, а пропозиции и слова — по другую. Ясно в то же время, что известная спорность поднятых проблем — доказательство их значительной сложности.

Книга Ю. Н. Караулова, несомненно, событие в отечественном языкознании, и не только (не столько) по комплексу решенных проблем и затронутых в ней идей, сколько по перспективности исследования тех линий, которые в ней обозначены.

Кубрякова Е. С., Шахмарович А. М.

Вопросы взаимоотношений дагестанских языков с представителями других языковых семей, в частности, с арабским, тюркскими, иранскими, армянскими, грузинским, русским, всегда находились в поле зрения дагестановедов. Среди этих вопросов тюркско-дагестанские языковые контакты занимают, на наш взгляд, особое место. Во-первых, эти контакты имеют многовековую историю; во-вторых, в процесс контактирования были вовлечены, по-видимому, многие языки (в отличие от современного состояния, когда в Северном Дагестане имеем кумыкско-дагестанские и в Южном Дагестане — азербайджанско-дагестанские контакты); в-третьих, тюркские языки служили посредником и для многих арабских и персидских заимствований. Все эти факторы обусловили начало всестороннего изучения данной проблемы с 60-х годов.

В первое время исследование ограничивалось фиксацией тюркских лексических заимствований в том или ином языке, что частично нашло отражение и в материалах сборника по проблемам тюркско-дагестанских языковых контактов. См., например, статьи «Тюркские заимствования в чамалинском языке» (П. Т. Магомедова), «Наречия-тюркизмы в лакском языке» (И. Ц. Маммаева), «Кумыкские лексические элементы в салатавском диалекте аварского языка» (М. Д. Саидов), «О тюркизмах в терминах животноводства в рутульском языке» (Ф. И. Гусейнова).

В целом же рецензируемые сборники наглядно свидетельствуют о переходе дагестанского языковедения от обычной регистрации тюркизмов в дагестанских языках к более углубленному анализу результатов тюркско-дагестанских контактов.

Так, уже в первом сборнике (1982 г.), наряду с изучением заимствований на лексическом и синтаксическом уровнях, сделана попытка рассмотреть воздействие структуры азербайджанского языка на дагестанские (ср. статьи Т. П. Эфендиева «О некоторых табасаранских сложных конструкциях, возникших под влиянием азербайджанского языка», Н. Д. Сулейманова «Характеристика азербайджанских фразеологических калек в агульском языке» и др.).

Удачным представляется также опыт проследить историю тюркско-дагестанских языковых контактов хотя и на ограниченном, но все же имеющем значительный научный интерес материале XVII в. (Г. М.-Р. Оразаев «Из истории даргинско-тюркских языковых контактов»).

Наконец, в сборнике 1982 г. имеются

статьи, в которых ставятся задачи принципиального, теоретического характера. В статье Н. С. Джидалаева «К вопросу о роли показаний топонимии в практике исследования тюркско-дагестанских языковых контактов» на материале тюркско-дагестанского контактирования предлагается трактовка понятий «заимствование» и «субстратное явление», показывается сложность их взаимного разграничения на конкретном языковом материале. Авторская позиция удачно иллюстрируется топонимией селения Нижний Катрух, имеющей субстратное происхождение.

Стремление к более углубленному исследованию проблем тюркско-дагестанских языковых контактов еще рельефнее проявляется в дифференцированном подходе к целому комплексу вопросов в ряде статей сборника 1985 г. Так, на смену расплывчатой характеристике «тюркизм» в современные размышления приходит разграничение их по конкретным источникам заимствования. Методическая важность этого принципа подчеркивается в редакционной статье «Актуальные проблемы предмета тюркско-дагестанских этноязыковых контактов»: «разграничение дагестанских тюркизмов по конкретным источникам заимствования имеет принципиальное значение. Речь идет об объективном отражении как истории контактов каждого дагестанского народа с конкретным тюркоязычным народом, так и характера этих контактов» (с. 6). Эти источники, по автору, сводятся к азербайджанскому, кумыкскому и болгарскому. Для более четкого их разграничения Н. С. Джидалаев выдвигает конкретные критерии (фонетический, семантический, экстралингвистический). Примеры, иллюстрирующие действенность этих критериев, достаточно убедительны и надежны.

Один такой пример. При несомненном азербайджанском источнике подавляющего большинства тюркизмов в лезгинских языках не следует отказываться от поисков в них и кумыкизмов. Так, в частности, лезг. *тав* «свадебный музыкальный вечер в доме жениха» (ср. также лезг., таб. *тав-хана* «гостинная» с персидским элементом *-хана* «дом, комната, помещение») может быть сопоставлено с кум. *отав* «богато убранная комната, предоставляемая невесте в доме мужа». Ср. также: таб. *мав*, рут. *мав*, цах. *магъв*, арч. *май*, удип. *mal*~кум. *май* «мозг»; лезг., таб., агул. *куц*, арч. *кус*, крыз., буд. *куц*~кум. *куц* «вид, форма».

Проблема выбора непосредственного источника заимствования решается на

конкретном материале и в других статьях сборников. К интересному выводу, например, приходят Н. С. Джидалаев и Т. М. Айтберов по поводу происхождения социально-политического термина «чанка», восходящего в конечном счете к кит. *чжан* «старший по чину, начальник»: для дагестанских языков, по мнению авторов, это булгаризм, который (скорее всего через даргинский) попал в кумыкский, а оттуда в ногайский. В свою очередь в караево-балкарском языке термин «чанка» считается русизмом.

Отказ от прямолинейного, поверхностного решения вопросов влияния азербайджанского языка на лезгинский характер для статьи А. Г. Гюльмагомедова «Фонетические элементы азербайджанского языка в лезгинском языке». Как показано в статье, возникновению фонем *o*, *oʷ* в куткашских говорах последнего способствовало не только проникновение азербайджанских заимствований, но и некоторые внутриязыковые процессы, отражающиеся на качестве соседних гласных (*свах* → *сох* «коренной зуб», *mlœetl* → *mlœotl* «муха» и т. п.). Предположение А. Г. Гюльмагомедова о влиянии азербайджанского языка в случае соответствий *лI* — *кI* и т. п. требует, по нашему мнению, некоторого уточнения. Дело в том, что это соответствие затрагивает только случаи с исконными геминированными абруптивами. Таким образом, если в литературном языке признак геминированности здесь утрачен, то в говорах он сохранился, выступая в виде признака непродыхательности (преруптивности), что не присуще азербайджанскому языку.

Подобный же подход к исследуемому явлению реализован Н. С. Джидалаевым и С. З. Алихановым в статье «Генезис аварского словообразовательного элемента *-чи*». Авторам удалось показать, что вопрос, является ли авар. *-чи* исконным или заимствованным, не может быть решен однозначно, поскольку кумыкский словообразовательный суф. *-чи* в системе аварского словообразования соседствует с исконно аварским существительным *чи* «человек, мужчина», имевшим функцию, идентичную функциям тюркского суффикса (с. 51).

Вместе с тем, и задача фиксации тюркизмов в дагестанской лексике представляется нам далеко не решенной. В этом

еще раз можно убедиться, ознакомившись со статьями К. С. Кадыраджиева (1982, 1985 и др.), где отмечается тюркское происхождение целого ряда лексем, квалифицировавшихся ранее в дагестановедческих работах в качестве принадлежности исконного фонда. Ценность работ такого рода для сравнительно-исторической лексикологии дагестанских и, в частности, лезгинских языков несомненна: они позволяют более четко очертить круг лексики, унаследованной от общедагестанского состояния, и более рельефно представить динамику исторических изменений в словарном составе этих языков.

Не останавливаясь на характеристике всех статей, отметим большое теоретическое разнообразие рецензируемых книг. В этом плане сборники намечают определенную программу работ на будущее. Думается, что одной из таких перспективных задач является сопоставительное исследование тюркизмов в различных дагестанских языках, обнаруживающих как черты сходства, так и специфические особенности, что, естественно, отражает различие как в степени, так и в характере тюркско-дагестанских контактов в каждом конкретном случае. Например, в лезгинском языке имеется целый ряд тюркизмов, отсутствующих в табасаранском (*ястух* «подушка», *шалгъа* «саженец», *экле* «перец», *чумур* «лоза», *барам* «шелкопряд», *илан* «змея», *ичалат* «внутренности, потроха», *къаргъа* «лебедь», *недир* «стадо», *ульен* «болото», *тала* «большая нива» и др.). Нет сомнения в том, что подобное явление может быть обнаружено и в других языках.

Следует отметить удачно вписывающуюся в контекст второго сборника библиографию по проблемам тюркско-дагестанских контактов, составленную Г. М.-Р. Оразаевым. Важно, что библиография включает не только специальные работы, но и те исследования, в которых данная проблематика затрагивается лишь частично.

Актуальность анализируемых проблем и вовлечение в анализ большого фактического материала делают книги интересными для специалистов — как кавказоведов, так и тюркологов. Хочется надеяться, что за этими двумя публикациями последуют и дальнейшие издания аналогичных работ.

Загиров В. М.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

15 января 1987 г. в Институте русского языка АН СССР состоялись восьмнадцатые ежегодные чтения, посвященные памяти академика В. В. Виноградова. В докладах, прозвучавших на чтениях 1987 г., рассматривались проблемы грамматической семантики, а также некоторые вопросы стилистики и риторики.

В докладе Т. В. Булыгина (Москва) «Пространственно-временная локализация как суперкатегория предложения» рассматривались языковые средства различения предложений, соотносимых с миром явлений, и предложений, предназначенных для выражения суждений и их связанных с конкретными состояниями мира. То или иное значение соответствующей скрытой категории зависит от типа предиката и когнитивной характеристики именных групп (ИГ), входящих в предложение. В соответствии с этим, с одной стороны, были выделены 3 когнитивных статуса ИГ: 1) абстрактные классы (открытые множества) объектов; 2) индивидуальные объекты, взятые в отвлечении от конкретных пространственно-временных манифестаций; 3) конкретные явления или «проявления» («инстанты»), представляющие собой один временной срез, как бы «моментальный снимок» объекта. С другой стороны, Т. В. Булыгина предложила различать «эпизодические» и «гномические» (квалитативные, абитуальные) предикаты. По мнению докладчика, тесная связь между соответствующими характеристиками позволяет говорить, что когнитивный статус и пространственно-временная локализация — это проявление одной и той же «суперкатегории» предложения.

Доклад Е. В. Падучевой (Москва) «К семантической классификации временных детерминантов предложения» был посвящен проблеме построения такой семантической классификации временных детерминантов предложения в русском языке, которая могла бы служить основой для описания их сочетаемости (с временем глагола, с аспектуальными классами ситуаций и т. п.). Автор обратился к вопросу о семантических

классов временных показателей (показатели собственно времени и показатели длительности), а также к понятию аспектуального класса ситуации. В докладе приведены некоторые достаточно хорошо сформировавшиеся классы и установлены законы сочетаемости временных показателей с аспектуальными классами ситуаций.

В докладе Ю. Д. Апресяна (Москва) «Типы коммуникативной информации для толкового словаря» речь шла о коммуникативных функциях лексических единиц, т. е. об их способности маркировать в высказывании тему и рему, данное и новое. В тех случаях, когда такие функции лексикализованы — присущи данной единице во всех случаях ее употребления и при этом не выводятся из каких-либо других ее свойств, — они подлежат фиксации в толковом словаре. Все такие функции докладчик разделил на парадигматические (данная лексическая единица сама является темой или ремой высказывания) и синтагматические (данная лексическая единица маркирует внешнюю по отношению к себе часть высказывания в качестве темы или ремы, данного или нового). В результате рассмотрения классов слов и оборотов (лексикографических типов), для которых характерны те или иные парадигматические или синтагматические коммуникативные функции, Ю. Д. Апресян пришел, в частности, к выводу, что многие лексические единицы, обозначающие чрезмерное отклонение от нормы количества, интенсивности или размера, являются абсолютно рематическими.

Способы разговорной стилизации в драматургии Гоголя, основанные на увеличении объема коннотативной семантики высказывания, были проанализированы в докладе Т. Г. Винокурова (Москва) «Семантический подтекст приема стилизации в художественной речи». Согласно законам поэтики («натуралстического гротеска» (термин В. В. Виноградова) эстетически значимые коннотации ведут к информативной гипертрофии характерологических показателей в речи персонажей и, следовательно, к семантической

конденсации плана содержания, которая углубляет — в рамках высказывания — асимметрические свойства языкового знака на фоне специальной экономики плана выражения, обусловленной драматургической формой. Этот процесс, по теории Я. Мукаржовского, осуществляется благодаря способности художественного творчества преднамеренно создавать иллюзию непосредственной действительности, что сопровождается стилизацией и деформацией последней. На этих двух ступенях сопряжения художественной и нехудожественной сфер языкового употребления формируется субъективная интерпретация значения, играющая деструктивную роль, т. е. способствующая десемантизации тех элементов текста, которые несут опорную эстетическую нагрузку.

Доклад Ю. В. Рождественского о (Москва) «Учение В. В. Виноградова и новые виды словесности» был посвящен проблемам советской социалистической риторики. Отметив, что активизация человеческого фактора зависит не только от экономических условий существования населения и конкретных работников, но и от того, каким образом совершаются речевые действия, докладчик подчеркнул, что речь является основным инструментом общественного управления, а речевые действия — управляющими действиями. Отсюда вытекает, что построение социалистической риторики является одним из самых важных средств активизации человеческого фактора. Советская социалистическая риторика должна опираться на идеологию марксизма и коммунистическую этику и включать в себя три части: 1) систему коммуникаций советского социалистического общества, которая исследуется, описывается и нормируется в трех отношениях: состав родов и видов словесности, количественный баланс текстов по родам и видам словесности и речевая нагрузка человеческого общества; 2) учение о диалоге, в котором рассматриваются проб-

лемы управления, образования, культуры и культуропользования; 3) учение о монологе, в котором рассматриваются проблемы замысла и средств выражения, анализа содержания речи и стилистика. Все стороны учения о монологе, указал в заключение Ю. В. Рождественский, рассматриваются в отношении к проблеме речевых коммуникаций и проблеме диалога.

В. Б. Силина (Москва) в докладе «Развитие семантики видо-временных форм русского глагола» охарактеризовала основное направление этого развития как движение от актуализации первичного видо-временного значения процессуальности к развертыванию полного спектра видовых значений у коррелятивных глагольных основ. Это первичное значение возникло в поздне-праславянском языке на стыке семантико-грамматических категорий определенности / неопределенности и предельности / неопределенности, с одной стороны, и в недрах развитой системы времен — с другой, и первоначально выражалось только в пределах форм настоящего времени. Лишь после перестройки древнерусской системы времен каждый видовой коррелят получил полную парадигму форм времени и морфологический статус отдельной лексемы. Изменения в кругу форм прошедшего времени повлекли за собой отказ от передачи формантом времени качественных и количественных характеристик протекания действия и разрыв той связи форм времени с аспектуальным значением глагольной основы, которая существовала у древнерусских форм аориста и имперфекта.

Чтения показали, что советские лингвисты ведут активные научные исследования в тех областях грамматической семантики, стилистики и риторики, которые входили в сферу творческих интересов академика В. В. Виноградова.

*Белоусова А. С.,
Смирнова Ю. А. (Москва)*

С 19 по 23 мая 1987 г. в Москве проходили расширенный пленум Координационного совета и Вторая всесоюзная конференция по созданию Машинного фонда русского языка, организованные Институтом русского языка АН СССР, Научным советом по комплексной проблеме «Кибернетика», Научным советом по лексикологии и лексикографии АН СССР, Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова.

В работе Координационного совета и конференции приняли участие 74 представителя 63 организаций. Было заслушано 8 докладов и сообщений, проведено 2 пленарных и 8 тематических заседаний, посвященных созданию машинных фондов языков народов СССР, Иллюстрационно-текстового и Терминологического фондов, фонетического и морфемно-словообразовательного подфондов, автоматизации словарных работ, разработке процессоров русского языка.

Если Первую всесоюзную конференцию

по созданию Машинного фонда русского языка (МФ РЯ) можно назвать конференцией идей и суждений¹, то нынешняя посылка прежде всего конструктивный характер: многие доклады содержали описание разработок, являющихся составными частями МФ РЯ. Конференцию открыл директор ИРЯ АН СССР чл.-корр. АН СССР Ю. Н. Караулов докладом «Машинный фонд русского языка и лингвистическая психология». Докладчик констатировал, что Машинный фонд «сегодня становится научной и технологической реальностью», однако у него есть и серьезные противники. Ю. Н. Караулов проанализировал взгляды критиков Машинного фонда с методологических позиций и выразил уверенность в том, что «само бытие Машинного фонда служит уже теперь фактором изменения лингвистической психологии и интеллектуального ландшафта в лингвистике». А. С. Герд (Ленинград) выразил мнение, что состав и структура фондов МФ РЯ должны соответствовать логико-понятийной структуре русистики (а не составу и структуре ее источников). В докладе С. И. Фитилова (Ленинград) выдвинута идея проекта «глобальной базы данных», обеспечивающей хранение текстов на различных уровнях структурирования и предусматривающей возможность поиска, обновления и обработки этих текстов. В докладе Ю. Н. Филипповича (Москва) содержался анализ структуры МФ РЯ с позиций системологии. В заключительном пленарном докладе главный конструктор МФ РЯ В. М. Андрющенко (Москва) предложил считать основным конструктивным элементом МФ РЯ лингвистический программно-источниковый пакет. В настоящее время проектируется и создается 27 пакетов, которые в качественном и количественном отношении в основном соответствуют предполагаемому составу МФ РЯ.

Значительное число докладов было посвящено отдельным компонентам МФ РЯ. Особенно активно ведется работа в области создания МФ языков народов СССР. В докладе А. С. Асиновского, М. Д. Люблинской и Е. С. Маслова (Ленинград) раскрыта структура и функции базы данных Словаря системных соответствий языков чукотско-камчатского ареала. Словарная база данных содержит 12 тыс. единиц чукотского, корякского, ительменского и русского языков и позволяет не только автоматизировать процесс получения лингвистической продукции, но

и сделать первые шаги на пути автоматизации лингвистических исследований. Созданная в ЛО Института языкознания АН СССР, эта база послужит основой для разработки МФ чукотско-камчатских языков. Структура базового комплекса МФ иберийско-кавказских языков раскрыта в докладе В. П. Гугушвили и В. А. Мирзаевой «Комплекс полнотекстовых и словарных банков данных республиканской автоматизированной системы научной информации по общественным наукам Грузинской ССР (РАСНИОН ГССР)». О. А. Казакевич (Москва) сообщила о создаваемом в НИВЦ МГУ МФ селькупского языка, который может стать ядром МФ самодийских языков.

Второй «точкой роста» оказались диалектологические разработки в рамках МФ РЯ. Н. Н. Пшеничнова (Москва) доложила о создании диалектологической базы данных в составе МФ РЯ. Программное обеспечение этой системы, разрабатываемой в ИРЯ АН СССР, охарактеризовали докладчики Г. А. Черкасова и Н. А. Исаев. О. В. Загоровская и С. В. Лесников (Сыктывкар) сообщили об Автоматическом словаре русских говоров Коми АССР и сопредельных областей. Несколько докладов было посвящено автоматизации лингвистических работ в области истории языка. Коллектив докладчиков под руководством А. С. Герда сообщил о разработке филологического и программного обеспечения древнерусского подфонда МФ РЯ. К. К. Богатырев (Москва) рассмотрел возможности создания базы данных на материале древнерусских акцентуированных памятников. Доклад А. В. Андреевской (Москва) был посвящен историческому словарю корневых слов в составе лингвистического банка данных.

Работа над фонетическим подфондом МФ РЯ была подробно охарактеризована в докладах сотрудников кафедры фонетики ЛГУ им. А. А. Жданова. Как сообщила Л. В. Бондарко, фонетический подфонд включает 4 блока: блок акустической информации, блоки фонетических характеристик морфем и словоформ и блок автоматической транскрипции текста.

Доклад А. Я. Шайкевича (Москва) был посвящен проблемам создания Иллюстрационно-текстового фонда (способ формирования ИТФ, его организация и состав, круг задач, решаемых с помощью ИТФ). Лингвистические и технологические проблемы разработки ИТФ были рассмотрены в докладах Л. З. Аксеновой и Е. В. Вертеля (Ленинград), Р. П. Рогожниковой и

¹ Материалы этой конференции отражены в кн. [1].

Л. В. Чернышевой (Ленинград),
Г. В. Ефремовенко (Гродно).

Различные аспекты разработки Терминологического фонда были затронуты в докладах С. В. Гринёва, В. Ш. Рубашкина, В. М. Лейчика (все докладчики из Москвы). Доклады В. Н. Телия, Е. Г. Борисовой, Д. Г. Добровольского (Москва), Н. Л. Попеко (Ленинград) были посвящены месту фразеологии в составе МФ РЯ. О лингвистических проблемах создания Генерального словаря русского языка в рамках МФ РЯ рассказал Р. П. Рогожников (Ленинград).

В группе докладов был охарактеризован ряд лексикографических проектов, реализуемых с помощью ЭВМ. О подготовке данных для Украинского семантического словаря сообщили М. М. Пещак и И. В. Цымбалюк (Киев). Ю. Г. Овсянко (Москва) доложила о работе над Частотно-семантическим словарем русской разговорной речи на основе машиночитаемого корпуса разговорных текстов объемом 400 тыс. словоупотреблений. Технические аспекты той же задачи были рассмотрены в докладе Л. И. Колодяжной (Москва) в связи с созданием машинных версий некоторых филологических словарей. Программное обеспечение, разработанное Л. И. Колодяжной, используется в целом ряде лексикографических систем в составе МФ РЯ. Группа докладчиков из Москвы (Г. Г. Белоголовый и др.) познакомили собравшихся с системой автоматизации составления и лингвистической обработки словарей, с помощью которой подготовлен Политехнический машинный словарь (103 тыс. словарных статей) и ряд других машинных словарей. В совместном докладе Л. И. Колодяжной и Н. В. Павлович рассмотрен автоматический словарь поэтических образов. Доклад А. Н. Тихонова (Москва) и Д. А. Питиримова (Ташкент) был посвящен проблеме моделирования данных для машинных словарей. Л. В. Малаховский (Ленинград) познакомил собравшихся с состоянием автоматизации словарных работ в англо-американской лексикографии.

Специальное заседание было посвящено теме «Языковые процессоры». М. Г. Мальковский (Москва) охарактеризовал языковой процессор диалоговой системы искусственного интеллекта TULIPS-2, разработанной в МГУ, который является модельной версией процессора АДАМАНТ, создаваемого для МФ РЯ. АДАМАНТ обеспечивает возможность ведения диалога с входящими в состав системы проблемно-ориентированными решателями задач на естественном (русском) языке. М. И. Воронцова, Е. Г. Казакевич, Е. Н. Морозова (Москва) сообщили о модели автоматического синтаксического анализатора естественных языковых предложений, разрабатываемой в НИИЦ МГУ под руководством Ю. С. Мартымянова. А. В. Лазурский и Л. Л. Иомдин (Москва) доложили о языковом процессоре на базе системы ЭТАП-2, который создается в ИППИ АН СССР под руководством Ю. Д. Апресяна. Данный процессор должен стать универсальным средством общения, способным стыковаться с отраслевыми базами данных, базами знаний и крупными информационными системами. Моделированию речевых явлений, существенных для построения языковых процессоров, посвятили свои доклады М. В. Ломковская и Е. Э. Разлогова (Москва).

Ряд докладов был посвящен проблемам, возникающим при обработке текстов на ЭВМ, а также сложным системам с развитым лингвистическим обеспечением, опыт которых может быть использован при разработке МФ РЯ.

В заключительном слове Ю. Н. Караулов подвел итоги конференции. Конференция закончилась принятием решения, направленного на дальнейшее развертывание работ по МФ РЯ и обеспечение своевременной подготовки технических проектов его компонентов.

Кукушкина Е. Ю. (Москва)

ЛИТЕРАТУРА

1. Машинный фонд русского языка: идеи и суждения. М., 1986.

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 29.06.88

Подписано к печати 19.08.88

Формат бумаги 70×100^{1/16}

Высокая печать

Усл. печ. л. 13

Усл. кр.-отт 75,7 тыс.

Уч.-изд. л. 15,5

Бум. л. 5

Тираж 5747 экз.

Зак. 1764

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Наука»,

103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 6